

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1974

СОДЕРЖАНИЕ

Ф. П. Филин (Москва). О словаре языка В. И. Ленина	3
--	---

К 25⁻-ЛЕТИЮ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Н. Ю. Шведова (Москва). Русская научная описательная грамматика в русской Академии наук	11
Ф. П. Сороколетов (Ленинград). Русская лексикография в Академии наук	19

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

О. С. Ахманова, И. Е. Краснова (Москва). О методологии языкознания	32
О. Н. Трубачев (Москва). Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян	48
И. Р. Гальперин (Москва). О понятии «текст»	68
А. С. Львов (Москва). Варьирование средств выражения в памятниках старославянской письменности	78
Т. И. Сильман Лирический текст и вопросы актуального членения	91
Б. А. Почхуа (Тбилиси). Грузинская лексика в «Ностратическом словаре»	100

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

М. Н. Боголюбов (Ленинград). Арамейская версия лидийско-арамейской билингвы	106
В. Н. Жосан (Ленинград). О возможности систематизации фонемного инвентаря корякских согласных методом дистрибутивного анализа	113
И. А. Федосов (Ростов-на-Дону). Вариантность и функционально-стилистическая синонимия фразеологических единиц	119
Е. М. Ушакова (Ставрополь). Синтаксические функции несключаемых прилагательных в древнерусском языке	125

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Э. В. Севортян (Москва). Н. К. Дмитриев и историческая тюркология	129
---	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Ю. А. Карпенко (Одесса). «Сучасна українська літературна мова»	137
В. Г. Гак (Москва). <i>Sabor O. Nagy. Abriss einer funktionellen Semantik</i>	142
К. Х. Хагазаров (Москва). <i>А. Т. Баизев, М. И. Исеев. Язык и нация</i>	147
А. А. Брагина (Москва). <i>Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. Язык и культура</i>	150

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	155
Указатель статей, опубликованных в журнале «Вопросы языкознания» в 1974 г.	163

РЕДКОллегиА:

О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешерига,
Г. А. Клямов (отв. секретарь редакции), В. Э. Панфилов (зам. главного редактора),
В. А. Серебрянников, В. М. Солнцев (зам. главного редактора),
О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин (главный редактор), В. Н. Ярцева
Адрес редакции: 103031, Москва К-31, Кузнецкий мост, 9/10. Тел. 228-75-55

Ф. П. ФИЛИН

О СЛОВАРЕ ЯЗЫКА В. И. ЛЕНИНА

Идея создания словаря языка В. И. Ленина выдвигалась неоднократно, начиная с двадцатых годов¹, однако дальше пожеланий дело не шло. Только теперь в Институте русского языка АН СССР началось осуществление этой огромной и ответственной работы, которая, как мы надеемся, будет доведена до успешного конца. Создается картотека (она будет достаточно обширной), подготовлена инструкция для работников картотеки и проект словаря, составляются пробные статьи. Но, конечно, прежде всего требуется определить общие положения словаря, принципы его построения. Словарь должен отразить все лексико-семантическое богатство языка В. И. Ленина; в то же время составители словаря обязаны учитывать реальные возможности, чтобы создание словаря не растянулось на десятилетия, а объем его не затруднил бы его публикацию. Для кого предназначается словарь? Он будет важным пособием для специалистов гуманитарных и естественных наук, для работников идеологического фронта, лекторов и пропагандистов, для всех, кто интересуется ленинским пониманием значений слов. Словарь языка В. И. Ленина будет большим вкладом в культуру русского народа и всех народов нашей страны, в мировую культуру. Он станет необходимым пособием для переводов сочинений В. И. Ленина на все другие языки.

Язык В. И. Ленина — важнейшее явление в истории современного русского литературного языка, классический образец русской научной и публицистической речи конца XIX — первых десятилетий XX в. В нем отражаются великие достижения марксистско-ленинской науки о природе и обществе, по вопросам философии, экономики, права и государства, мирового коммунистического движения, пролетарской революции и социалистической идеологии, научного коммунизма. В то же время язык В. И. Ленина принадлежит не только истории. Его серьезное воздействие на состояние и развитие русского литературного языка продолжается и будет продолжаться, поскольку мы все изучаем сочинения В. И. Ленина, идеи которого лежат в самой основе всей нашей общественной жизни. В основу словаря кладется полное (пятое) собрание сочинений В. И. Ленина.

Каким должен быть задуманный словарь? Возможности выбора очень широки. В отечественной и мировой лексикографии создано и создается большое число словарей отдельных писателей, ученых, политических деятелей. В нашей стране опубликованы словари Пушкина, Шевченко и некоторых других писателей. Выдвинуто и выдвигается много новых проектов (словари Гоголя, Некрасова, Толстого, Горького и др.). Все они очень разного типа. Было бы полезным и поучительным дать общий критический обзор установок этих словарей.

Какой из типов словарей представляется наиболее целесообразным для языка В. И. Ленина? Разумеется, говоря о типе словаря, мы имеем в виду только самые общие его установки. Лексикографическая практи-

¹ Библиографические сведения см.: «Ленин и язык (библиография)», М., 1970 (составитель А. И. Сахаров).

ка настолько разнообразна и таит в себе столько неожиданностей, что ни один проект словаря никогда не может предусмотреть всех деталей работы, иногда весьма существенных.

Прежде всего встает вопрос, должен ли быть наш словарь общим словарем языка всех сочинений В. И. Ленина или собранием словарей его отдельных произведений. В пользу последнего предложения как будто говорит то, что по жанру произведения В. И. Ленина очень разнообразны: философские исследования, политические доклады, газетные статьи, популярные очерки и выступления, частные письма на бытовые темы и т. д. и т. п. Несомненно, тематика различных произведений накладывает заметный отпечаток на выбор слов и их значений, на особенности их употребления, на языковой стиль и весь языковой строй. Кстати, опыты создания словарей к отдельным произведениям В. И. Ленина уже имеются².

В общем словаре жанрово-стилистические особенности отдельных произведений в значительной мере будут теряться. Однако частные словари не могут заменить собою общего, сводного. Недостаток последнего искупается тем, что в нем будет представлена вся лексика и фразеология языка В. И. Ленина, а это главная цель. И ничего страшного не будет в том, что в одном словаре будут представлены такие разные слова в разных контекстах, как *материализм* и *мамочка*. Иллюстративный материал, указания на источники покажут, к какому жанру и стилю принадлежит то или иное слово. Конечно, создание общего словаря не исключает подготовку словарей языка отдельных произведений.

Будет ли этот словарь полным, т. е. словарем всех слов, фразеологизмов и терминологических сочетаний, или же дифференциальным, выборочным, в котором будут даны только термины, характерные для философской системы В. И. Ленина, для марксистско-ленинского мировоззрения? Теоретически возможны оба типа. В 1952 г. в Институте немецкого языка и литературы Немецкой Академии наук в Берлине был задуман дифференциальный словарь языка Маркса и Энгельса, в котором авторы предполагали отобрать и истолковать терминологию, созданную основателями марксизма, а также слова, характерные для стиля Маркса и Энгельса³. В него должно было войти около 25 000 слов, рассчитанных на 5 томов, причем терминологически важные слова должны были занять 0,7 объема всего словаря. Полностью исключались все обиходные слова, имеющие общелитературные значения. Естественно, из словаря исключались союзы, предлоги, частицы, междометия, все так называемые «упаковочные» слова. Преимущественное положение занимали существительные. На пути создания дифференциального словаря встали большие трудности. Во-первых, одно и то же слово может быть термином и не-термином, границы между термином и не-термином далеко не всегда можно провести с достаточной уверенностью (ср. *время*, *пространство*, *движение*, *рабочий* и т. д. и т. п.), поэтому при дифференциальном подходе при отборе слов и значений неизбежна изрядная доля субъективизма, что для научного словаря в принципе противопоказано. Во-вторых, для того чтобы определить, что создано Марксом и Энгельсом в области лексики и лексической семантики, чего не было в немецком языке до них, нужно было произвести поистине титаническую сравнительную работу, которую практически сейчас вряд ли возможно осуществить. В-третьих, осталось совершенно неясным, что такое слова, характерные для стиля Маркса и Энгельса. И в-четвертых (и это самое главное), лексика языка Маркса

² Ср.: «Словарь-каталог философских терминов в произведениях В. И. Ленина „Материализм и эмпириокритицизм“», вып. 1, Горький, 1970 (ротап rint).

³ «Marx — Engels-Wörterbuch. Grundsätze und Proben», Berlin, 1963. См.: Б. А. Абрамов, Н. Н. Семенов, О подготовке словаря К. Маркса и Ф. Энгельса, ИАН ОЛЯ, 1969, 6.

и Эпгелъса в дифференциальном словаре была бы обедненной; словарь не позволил бы судить о всем огромном лексико-семантическом богатстве языка основоположников марксизма.

Словарь языка В. И. Ленина будет полным, в него войдут все без исключения нарицательные слова во всех их значениях, как они представлены в полном собрании сочинений В. И. Ленина. Это относится и к терминологическим сочетаниям и фразеологизмам, которые будут даваться при соответствующих словах. Расположение слов алфавитное. Не будут включаться в словарь собственные имена, не приобретшие нарицательных значений, а также иностранные слова в латинском или греческом написании. Впрочем, последние могут войти в приложение к словарю, поскольку они употреблялись и употребляются в языке интеллигенции как органические включения в русскую речь.

Словарь слов или словарь слов, словосочетаний, словоупотреблений, грамматических особенностей, особенностей стиля? Особенности языка и стиля писателя, политического деятеля, журналиста, ученого проявляются во всем комплексе языковых средств, нюансы и переливы живой человеческой мысли воплощаются во всех элементах языковой системы. Все это — предмет лингвистических монографий и статей, отчасти специальных словарей. Возможности же общих полных словарей ограничены. Не случайно иногда говорят, что в словаре языка Пушкина есть слова, употребленные Пушкиным, но нет показа всей глубины и прелести пушкинской поэзии. И это верно. Однако такого показа в этом словаре и не могло быть. Мне пока неизвестны словари, главным объектом которых была бы эстетическая функция слова. Довольно ограниченные задачи имеют специальные словари сочетаемости слов. Попытка объять необъятное (сила языка в словосочетаемости неистощима и почти беспредельна) была предпринята авторами некоторых проектов словарей писателей, но она привела лишь к тому, что объем этих словарей должен был во много раз превысить объем самих сочинений писателей, а специфика языка писателей продолжала оставаться для словарей неуловимой.

Специфика языка писателя, его стилистические особенности, по которым узнается индивидуальность его «языкового почерка», воплощена в больших контекстах, границы которых не всегда можно определить. Таким контекстом может быть абзац, часть произведения или все произведение, а нередко и все его творчество, взятое в целом. Конечно, эта специфика не лежит за пределами познаваемости. Однако изучение ее, не говоря уже о том, что оно требует огромного труда, может быть осуществлено в самых разнообразных жанрах исследования (монографии, статьи и пр.), возможности же лексикографии ограничены. Мы не можем в словарных статьях давать большие контексты, давать обширные научные комментарии, необходимые для выяснения сложных особенностей специфики языка писателя, самых разнообразных аспектов звучания слова. Все же специфика эта, несомненно, будет проявляться и в словаре, но только в ограниченных размерах. Это относится и к показу весьма широких возможностей словосочетаний и словоупотреблений. Все, что относится к слову и его эквивалентам, что находится в пределах лексикографии и не требует огромных объемов лексикографического труда, будет показано. Сарказм и ирония, патетика и каламбуры, все другие средства стилистических приемов оценки слова, не требующих в словарных статьях больших контекстов, не будут игнорироваться. Оценка слова Лениным как великим публицистом, классиком русского литературного языка найдет свое отражение в словаре.

Чтобы избежать прожектерства и не старить перед собой невыполнимых задач, мы должны пойти на серьезные ограничения: словарь языка

В. И. Ленина должен быть прежде всего и главным образом словарем слов, а также терминологических словосочетаний и фразеологизмов, по своей семантике близких к отдельному слову, выражающих отдельное понятие. Что касается иных элементов языка, то они должны показываться примерно в той же форме и том же объеме, что и в обычных толковых словарях современного русского литературного языка, т. е. минимально. Это относится к грамматической характеристике слова в заголовке словарной статьи, некоторым особенностям ограниченных управлений, типичным устойчивым словосочетаниям и прочему. Сама техника показа этих языковых элементов должна максимально приближаться к формам, установившимся в современной русской лексикографии. Разумеется, все сведения словарных статей должны основываться на данных языка В. И. Ленина. Ничто не должно вноситься в словарь, чего нет в языке В. И. Ленина. Таким образом, мы не ставим перед собой задачу выяснить границы валентности каждого слова из-за ее крайней сложности. Выполнение такой задачи повлекло бы за собой чрезвычайное увеличение объема словаря и объема труда составителей, отодвинуло бы завершение работы на многие годы. Конечно, подлежит обсуждению возможность показа таких сочетаний слов и таких грамматических форм и конструкций, которые не свойственны современному литературному языку и являются особенностями русского языка конца XIX — начала XX в., или же представляют собой индивидуальные отличия языка В. И. Ленина.

В связи с вышесказанным может встать вопрос: что же собой будет представлять словарь — словарь русского литературного языка определенного периода по сочинениям В. И. Ленина или же словарь языка В. И. Ленина как отдельного писателя во всей его яркости и неповторимой индивидуальности? На этот вопрос можно ответить так: словарь будет и тем и другим, но только в ограниченных рамках, главным образом, в пределах лексики и лексической семантики, как они представлены в языке сочинений В. И. Ленина. Уже самый набор слов и состав значений, стилистическая оценка слов, которые не будут совпадать со всем гигантским лексико-семантическим океаном русского литературного языка конца XIX — первых десятилетий XX в., составляет весьма существенную специфическую особенность языка В. И. Ленина как великого общественно-политического деятеля, ученого и писателя. В то же время это будет великолепный классический русский литературный язык в тех его сторонах, которые будут описываться в словаре. Мы не собираемся противопоставлять одно другому. Правда, некоторые лингвисты утверждают, что невозможно соединить несоединимое. Однако невозможен и отрыв языка отдельного писателя от общего языка его эпохи. И что такое язык отдельного писателя во всей его индивидуально-стилистической специфике, никто себе ясно не представляет, хотя писалось на эту тему много.

Чрезвычайно важным является вопрос о способах толкования значений слов, терминологических сочетаний и фразеологизмов. На наш взгляд, нет необходимости в словаре языка В. И. Ленина копировать тип определения слов в обычных толковых словарях. Представляется целесообразным слова языка В. И. Ленина разделить на две основные категории: 1) слова, при которых не будет приводиться никаких толкований или эти толкования будут минимальными, и 2) слова с полными определениями их значений. К первым относятся все слова, значения которых совпадают со значениями тех же слов в современном литературном языке. Это прежде всего слова обиходно-бытовые и технические, нейтральные по отношению к философии, идеологии, политике, экономике, науке, к системе понятий, составляющих основу марксистско-ленинского мировоззрения

и критики чуждых марксизму-ленинизму течений. Сюда войдут как существительные, прилагательные, глаголы, местоимения, числительные, так и все служебные слова. Однозначные слова этого рода не будут иметь толкований (ср. *наконецник*, *накожный*, *накрепчать*, *накладно*, *ты*, *восемь*, *и*, *к*, *ли* и т. п.). Краткие определения-различители придется применять в многозначных знаменательных словах, так как важно установить, какие значения многозначных слов употребляются в языке В. И. Ленина (ср. *наклонность*). Вместо многословных определений в толковых словарях достаточно будет (чтобы читателю было понятно, о чем идет речь) указать: *Наклонность*, *и*, *ж.* 1. Склонность и 2. Свойство характера. Сказанное относится ко всем прямым и переносным значениям этой категории слов, а также их устоявшимся образным употреблением.

Особую группу составят слова, значения которых не совпадают в языке В. И. Ленина со значениями тех же слов в современном русском литературном языке или имеют отсутствующие теперь оттенки значений. В таких случаях слова получают полные толкования. Например, в слове *собака* с его прямым и переносным значениями, совпадающими с семантикой этого слова в литературном языке, в т. 46, стр. 258, имеется фраза: «насчет переписки, собак etc. ответит секретарь ниже». Здесь имеются в виду члены конспиративной бакинской группы газеты «Искра». Конечно, ни в одном толковом словаре русского языка такого значения (или употребления) слова *собака* нет — это слово партийного жаргона, необходимо в общении в условиях подполья. Данное значение, как и иные ему подобные, будет в словаре раскрываться полностью. И, разумеется, полные толкования получат слова, вовсе отсутствующие в современном русском языке (нет, например, в современных словарях слов *грюлманец* «представитель политики национальной буржуазии в Швейцарии», *гомруль* «автономия для Ирландии» и др.). Из сказанного вытекает, что словарь языка В. И. Ленина, кроме других его назначений, будет справочным пособием для чтения и правильного понимания ленинских текстов.

Другая категория лексики — слова, обозначающие систему понятий марксизма-ленинизма, марксистско-ленинское мировоззрение. Эти слова составляют важнейшую, наиболее существенную особенность языка В. И. Ленина. Они подлежат полному толкованию. Каким должен быть тип полного толкования? В основном будут объясняться значения слов, а не весь объем понятий, стоящих за этими значениями. Авторы проекта словаря Маркса и Энгельса пошли по другому пути, пытались давать широкие энциклопедические объяснения слов, что и привело к неудаче их предприятия, которое было законсервировано. Например, схема статьи (без цитат) слова *свобода* (die Freiheit) превратилась в небольшую монографию, в которой сообщается, что Маркс до середины 1843 г. понимал свободу идеалистически, как осуществление всеобщего разума, и только под влиянием Фейербаха стал осмысливать свободу не как воплощение абстрактной идеи, а как проявление человеческого разума. Далее идет изложение истории преодоления Марксом и Энгельсом пережитков гегельянства, говорится о том, как они пришли к выводу, что подлинную свободу обществу может дать не буржуазия, а только пролетариат, какова будет свобода в эпоху диктатуры пролетариата и развитого коммунистического общества и т. д. и т. п. Если бы эта статья была дополнена всем богатейшим иллюстративным материалом (что и предполагалось сделать), она превратилась бы в объемистую монографию.

Однако дело тут не только и не столько в объеме. Современные лингвисты-лексикографы не являются энциклопедистами и не могут квалифицированно исследовать и объяснять всю гигантскую и необычайно сложную систему мировоззрения классиков марксизма-ленинизма. Лингвисты-

лексикографы могут давать лишь филологические определения. Разумеется, между филологическим и энциклопедическим толкованиями нет пропасти, границы между ними не всегда четки. Главное в том, чтобы определения значений не противоречили самим понятиям, не искажали их. Составителям словаря В. И. Ленина придется обращаться за помощью не только к толковым филологическим словарям, но и к словарям филологическим, экономическим, политическим и другим, к энциклопедиям, а также иметь должные контакты с соответствующими институтами, прежде всего, Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, и с отдельными специалистами во избежание возможных ошибок. Исходными данными для определения значений послужат тексты В. И. Ленина. В отдельных случаях сжатые формулировки В. И. Ленина будут сами по себе являться определениями значений слов (ср., например, его определение слова *империализм*).

Сказанным выше далеко не исчерпывается проблема дифференцированного определения значений слов. Не так просто будет делить значения на нейтральные, не подлежащие определению или при которых будут даваться (когда слово полисеманлично) минимальные определения (своего рода определения-намёки), и идейно значимые, с полными толкованиями. Трудность будет тут заключаться не только в самой классификации значений отдельно взятых слов, но и в разграничении значения слова, реализующегося всегда в контексте, и значений самого контекста. Ведь нейтральные сами по себе слова в их сочетаниях в контексте могут приобретать идейное содержание. Эта проблема далеко еще не решена в языкознании, в частности, и в практической ее реализации при составлении словарей. Ориентироваться мы здесь будем на значение отдельного слова, как это и практикуется обычно в словарях, причем во многих случаях придется идти эмпирическим путем, оценивая каждый конкретный случай. Так же придется поступать при отграничении терминологических сочетаний от нетерминологических, фразеологизмов от нефразеологических сочетаний и т. д. Написано по этим проблемам очень много, но должной ясности еще нет. Мы не можем ждать, когда все подобного рода сложные дискуссионные вопросы будут разрешены.

Далее, мы должны определить наше отношение к проблеме нормативности. Современные толковые словари русского языка являются нормативными, т. е. в них различаются слова нейтральные, употребляющиеся во всех сферах общения и обязательные для всех, и стилистически отмеченные, выполняющие различные стилистические функции (разговорные, просторечные, книжные, областные и пр.). Критерием для стилистической оценки слова в словарях являются традиции литературного языка в сочетании с общественным осознанием слова (или формы) наиболее образованной частью общества в настоящее время. При изучении языка отдельного лица дело обстоит иначе. Индивидуальная речевая деятельность даже самого образованного человека не всегда совпадает с общепринятыми нормами, нередко оказывающимися идеальными. Особенно затруднительно судить о стилистических оценках слов и форм у деятеля, жизнь которого прекратилась несколько десятилетий тому назад. Тем более это относится к великому Ленину, которому мы не вправе приписывать собственные мнения и оценки.

В связи со сказанным предполагается, что в проектируемом словаре совсем не будет стилистических в собственном смысле слова помет. Будут даваться экспрессивно-эмоциональные оценки слов (ироническое, шутовское, пренебрежительное, презрительное, в кавычках и др.), когда текст будет свидетельствовать о них с достаточной ясностью. Будут также отмечаться переносные значения и образные употребления. Стилисти-

ческие пометы не будут ставиться в тех случаях, когда и в языке В. И. Ленина, и в общелитературном языке слово оказывается устаревшим, областным, специальным и пр. Вероятно, следует подумать над выделением редко встречающихся слов. Когда будет создана картотека и в нашем распоряжении будут все нужные сведения о слове, по-видимому, нужно будет указывать для малоупотребительных, редких в языке В. И. Ленина слов или значений, что они употреблены один или несколько раз. В таких случаях, как правило, примеры на подобное слово или значение должны быть приведены исчерпывающе.

Очень существенной является проблема источников словаря и иллюстраций значений слов. Источником словаря будут тексты произведений В. И. Ленина, включенные в Полное собрание сочинений, в том числе и подготовительные материалы. Исключаются многочисленные и нередко длинные цитаты из других авторов, которые приводятся В. И. Лениным, тексты редакционных комментариев, дневниковые записи и письма, не принадлежащие Ленину, рисунки, чертежи, схемы, таблицы с цифровыми данными и некоторые другие материалы: из них не извлекаются слова, которые помещаются в словарь. Однако при составлении словаря эти материалы не игнорируются, так как нередко они дают ключ к полному пониманию слов, употребленных самим В. И. Лениным (ср. придуманное махистами словечко *эмпириокритицизм*, часто встречающееся в цитатах из махистских сочинений, истинное значение которого так замечательно раскрывает В. И. Ленин). Картотека словаря будет более обширной, чем материалы самого словаря. Особенно это относится к цитатам-иллюстрациям.

Мы еще не знаем, сколько слов будет в словаре (это будет известно после составления словника). Однако нам уже известно приблизительное число карточек-цитат в картотеке. Их будет около пяти с половиной миллионов (создание картотеки уже началось). Некоторые слова часто употребляются в текстах В. И. Ленина. Для сравнения укажем, что в начавшей составляться картотеке словаря Маркса и Энгельса было подготовлено всего полмиллиона карточек, из которых на слово *рабочий* (*der Arbeiter*) пришлось около 7000 примеров. Естественно, что в словаре В. И. Ленина будет представлена лишь небольшая часть иллюстраций. Иллюстрации должны быть яркими, хорошо показывающими употребление слова, дополняющими определение его значения. Чтобы чрезмерно не увеличивать объем словаря (в нем должно быть приблизительно 500 авторских листов), иллюстрации должны быть немногочисленными, делаться со строгим отбором. Все остальное останется в картотеке, которая в дальнейшем может послужить базой для новых словарей (частотного, тематических, фразеологического и других) и монографических исследований. Она сама по себе будет представлять огромную культурную и общественно-политическую ценность.

Итак, словарь языка В. И. Ленина предполагается создать как общий алфавитный словарь всех его собственных текстов вне зависимости от жанрово-стилистической направленности его произведений (жанрово-стилистические особенности употребления слов, терминологических словосочетаний и фразеологизмов будут отражены в словарных статьях лишь посредством указаний на источники иллюстраций), как словарь полный, включающий в себя все лексико-семантическое богатство языка В. И. Ленина, как в известной мере словарь стиля В. И. Ленина, лепившей оценки слова (в пределах лексикографических возможностей). Цель показать все фактически имеющиеся словосочетания, границы грамматической валежности слов не ставится, в этом отношении словарь не будет отличаться ничем существенным от обычных современных толковых словарей.

В отличие от толковых словарей в словаре языка В. И. Ленина будет два основных типа показа значений слов: 1) значения слов вовсе не определяются или определяются при полисемантизме очень кратко ввиду самоочевидности для читателя этих значений (поддержкой этой самоочевидности будут иллюстрации), 2) слова, связанные с отражением марксистско-ленинского мировоззрения, будут иметь полные толкования, в необходимых случаях с элементами энциклопедизма. Стилистических помет в словаре не будет. В случаях ясности текста будут даваться экспрессивно-эмоциональные пометы. Грамматическая характеристика слов будет представлена так же, как и в толковых словарях (разумеется, в пределах данных языка В. И. Ленина). Иллюстративный материал предполагается давать скупо, с большим отбором.

Конечно, сказанное — это только первичные исходные положения, подлежащие дальнейшему обсуждению и уточнению. Такое огромное и ответственное лексикографическое предприятие приобретет свою плоть и кровь лишь после создания картотеки и накопления навыков составления словаря. Но с чего-то надо начинать.

К 250-летию Академии наук СССР

Н. Ю. ШВЕДОВА

РУССКАЯ НАУЧНАЯ ОПИСАТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА В РУССКОЙ АКАДЕМИИ НАУК *

1. Для русской грамматической традиции разграничение академической и неакадемической науки о строе русского языка можно считать в значительной степени условным. С одной стороны, несомненным и сильным было влияние ученых-академиков на развитие грамматической мысли вообще; лингвисты, создававшие свои труды вне стен Академии, в той или иной мере всегда работали в русле академической науки; яркий пример тому — Пешковский, внешне никак не связанный с академической деятельностью, но находившийся под сильным влиянием двух крупнейших наших академиков — Фортунатова и Шахматова. С другой стороны, Академия наук постоянно держала в поле своего зрения всех творчески работающих языковедов и избирала их в свой состав. Поэтому в историю академической науки органически входят и Потебня, и Буслаев. Можно утверждать, что начиная с Ломоносова и Востокова наша грамматическая мысль во всех своих важнейших направлениях развивалась в русле академической науки и под эгидой этой науки.

История русской академической грамматической науки богата славными именами. Перечислять их нет необходимости. Скажем только, что крупнейших русских грамматистов, представлявших самые разные школы и направления, роднят такие драгоценные качества, как широта научных интересов, отсутствие замкнутости, узости, непредвзятость и самобытность научных решений, отношение к языку как к огромной самостоятельной ценности.

Академия наук видела в своих стенах лингвистов разного склада, разных направлений. И огромная ее заслуга — в том, что ее авторитетом были освящены не только труды блестящих ученых-теоретиков, нередко опережавших европейскую мысль своего времени, но и труды ученых, пришедших в большую науку из практики. Таков, например, был замечательный языковед В. И. Чернышев, посвятивший себя решению нормализаторских задач на основе скрупулезного изучения фактов в духе ломоносовского «рассудительного употребления».

Русская грамматическая наука имеет свои собственные характерные черты, определившие и определяющие ее большую роль в развитии грамматической науки в целом.

2. Не будет преувеличением сказать, что история грамматической науки в России есть история идей. Их перечень занял бы многие и многие страницы. Напомним здесь лишь некоторые яркие и новые идеи, надолго определившие у нас пути развития грамматической мысли и время от времени дающие все новые и новые ростки. Такова, например, присутствующая уже у Ломоносова идея о том, что грамматические единицы языка существуют в системе, что они сложно связаны друг с другом целой сетью

* Доклад, прочитанный на совместном заседании ученых советов Института языкознания и Института русского языка АН СССР, посвященном 250-летию Академии наук СССР, 25 IV 1974 г.

принадлежащих языку функционально-смысловых соотношений. Под разным углом зрения и под разными названиями эти принадлежащие языку соотношения вот уже более двух столетий так или иначе анализируются и описываются грамматистами.

Такова, далее, основополагающая идея о неоднородности и неоднозначности грамматической формы. Истоки ставшего аксиомой современной лингвистики положения об асимметрическом дуализме языкового знака нужно искать в трудах русских грамматистов, питавших теоретическую мысль Карцевского, который впервые сформулировал этот блестящий тезис. Достаточно вспомнить учение Потебни о категориях глагола, учение Фортунатова о залогах или шахматовское учение о грамматических категориях, чтобы убедиться, что именно здесь лежат истоки учения о неоднозначности формы. Тезис Фортунатова о заложенной в слове и в словосочетании способности выражать «психологическое суждение» есть не что иное, как тезис о потенциальной многозначности языкового знака, — пусть эта его мысль развивалась и с психологических позиций, и в облачении соответствующих психологических терминов.

Еще одна, более частная иллюстрация — оригинальная теория синтагм, восходящая к мыслям Востокова о «произодическом периоде», которые были творчески развиты Щербой и Виноградовым. Понимание синтагмы как интонационно-смыслового единства, вычленяемого из предложения, имеет все преимущества перед достаточно внешним определением синтагмы как бинарной организации.

Говоря о русской грамматике как грамматике идей, нельзя обойти молчанием яркие и плодотворные идеи Винокура в области словообразования, идеи Виноградова в области словообразования и особенно синтаксиса, послужившие стимулом для появившихся после трудов этих ученых многочисленных размышлений в данных сферах грамматического знания.

3. В процессе более чем двухвекового развития наша грамматическая наука выработала, определила для себя и утвердила во многих фундаментальных трудах такие концептуальные положения и такие проверенные целыми поколениями лингвистов методологические принципы, которые характеризуют ее как науку, опирающуюся на свою собственную лингвистическую теорию.

Вот некоторые из этих важнейших положений.

1) У разных ученых по-разному, но во всех наших отечественных классических грамматических трудах присутствует понимание языкового строя как неоднородной системы, внутри которой постоянно и разнообразно осуществляются межуровневые, внутрисистемные связи и взаимодействия. Эти связи действуют как в синхронии, так и в диахронии, причем процессы эти сложно перекрещиваются. Таким образом, язык, его грамматический строй понимается не как линейная, плоскостная организация, а как «система систем», и этим пониманием не только естественно обуславливаются, но и неизбежно порождаются такие методы изучения языковых категорий, которые способны отразить эту сложную организацию, специфику категорий каждого отдельного уровня и специфику внутрисистемных отношений, одновременную «врощенность» тех или иных категорий в разные участки грамматической системы языка. Достаточно здесь напомнить хотя бы курсы Фортунатова, в которых он показывал, что основные и формальные принадлежности в слове выделяются на базе живых соотношений, существующих в данном языке в данную эпоху, что форма слова представляет собою результат этих соотношений и узнается по этим соотношениям.

2) Грамматическая категория всеми русскими языковедами понималась и понимается как неразрывное единство внешнего строения, внутрен-

него содержания и функционального назначения. Со времен Потебни этот тезис остается неизменным. С таким пониманием грамматического объекта в нашей традиции связано его многоаспектное изучение, вылившееся в разные формы — от строгих и систематических характеристик у ученых восточного толка до увлекательных «лингвистических раздумий» Щербы. К этому следует прибавить еще постоянное внимание к стилистической природе грамматического явления, к его месту в функционально-стилевой системе.

3) В нашей лингвистической традиции прочно установилось понимание грамматики как науки, оперирующей своими собственными, только ей присущими категориями. В борьбе с экспансией механицизма и поверхностности грамматических построений Греча, в спорах со сторонниками сугубо традиционных, по западноевропейским образцам построенных приемов анализа, подменявших собственно грамматические изучения всяческими подстановками и «восстановлениями» иллюзорных «опущений», русская грамматическая наука отстояла и утвердила тезис о самостоятельности и специфичности собственно грамматических категорий. В статье «Потебня — лингвист» («Уч. зап. [МГУ]», 107, 1946, стр. 47) об этом хорошо писал Л. А. Булаховский: «В важных методологических точках зрения Потебни решительно освобождается от продиктованных традиционными школьными приемами ошибок, которым еще приносит свою дань в „Опыте исторической грамматики русского языка“ Бусласв. Одна из важнейших — истолкование ряда конструкций не в сопоставлении с реальными фактами языка, а с отвлеченно взятыми оборотами, воображаемыми или привлеченными из других языков, но выдаваемыми за соответствующие природе „мысли“ самой по себе. Наиболее тяжелый методологический грех Бусласева в этом отношении — неосторожное, упрости-тельное оперирование различными „подразумеваемыми“ и тем самым навязывание языку чуждых ему мысли. Ряд таких ошибок Бусласева вскрыт был уже самим Потебнею».

Потебня противопоставил этому направлению углубленное толкование грамматических категорий, опирающееся на языковые факты, без обращения к категориям логики и психологии. Продолжая в этом смысле линию Востокова, устранившего логические категории из синтаксиса, он утверждал, что язык есть тоже форма мысли, но такая, которая ни в чем, кроме языка, не встречается.

К нашему времени положение о самостоятельности грамматических категорий можно считать окончательно утвердившимся. Однако «посягательства» на эту самостоятельность еще не изжиты окончательно. Интересно вспомнить в связи с этим, как лет десять тому назад, в период увлечения математической лингвистикой, В. В. Виноградов в одной из своих газетных статей писал о том, что грамматике следует вести себя благоразумно и не бросаться легкомысленно из одних объятий в другие: из объятий логики и психологии в объятия математики.

4) В традицию русских грамматических исследований прочно вошло положение о связи грамматических и «вещественных» значений, об ограничениях, накладываемых на грамматику лексической семантикой слов, о тесных связях этих двух сторон языкового знака. Уже целое столетие сохраняет свою актуальность потебнианский тезис о взаимных связях грамматики, словаря и лексической семантики. Сейчас нельзя представить себе грамматическое исследование, в котором в той или иной форме не учитывалась бы эта сторона языковой действительности.

Таким образом, русская грамматическая наука опирается на целый ряд важных общелингвистических теоретических положений, выработанных в процессе развития этой науки. У нее есть свои истоки, свои богатые

традиция, своя национальная специфика. Удивительно поэтому бывает читать книги, авторы которых с непонятной легкостью перечеркивают эти традиции и всю эту науку и в поисках теоретических эталонов отсылают нас к заведомо односторонней и умозрительной американской теории, после шумного взлета быстро доказавшей свою неспособность стать основой для всестороннего изучения конкретного языка во всей сложности его внутренней организации.

Конечно, никто не проповедует лингвистической узости и нигилизма: всегда есть чему поучиться у других, в работах ученых разных школ и направлений всегда есть над чем подумать. Но это вовсе не значит, что свои источники исчерпаны и что нужно перечеркивать все то, что было сделано классиками нашей грамматической мысли и что успешно развивается сейчас в работах многих наших языковедов.

Следовало бы помнить также о том большом влиянии, которое оказала русская грамматическая мысль на развитие лингвистики в других странах — прежде всего, конечно, в странах славянских. Известна, например, огромная роль идей Фортунатова, к которому приезжали учиться такие лингвисты, как О. Брок, Х. Педерсен, П. Буайе, Й. Пóливка, А. Белич и др.; особо следует напомнить о сильном его влиянии на труды А. Мазона. Известно также прямое и непосредственное воздействие шахматовского учения на синтаксическую концепцию Фр. Травничка и на всех ученых его школы. Разнообразные и тесные связи и взаимное понимание существуют сейчас между разными русскими и чехословацкими, русскими и польскими грамматическими школами. В свете всего этого странно и непонятно, как могут некоторые наши языковеды утверждать, что в природе вообще не существует такого явления, как русская лингвистическая теория, русские грамматические школы.

4. История развития русской грамматической мысли характеризуется повторяющимися сменами преимущественного внимания и интереса то к формальному, то к функциональному аспекту в изучении грамматических форм и категорий. Время от времени происходит как бы пересмотр научного метода, самого подхода к выделению и описанию грамматического объекта, собственно предмета грамматики. Исключительное внимание к формам и к системам форм, к самой материи грамматики и к формальной организации тех или иных единиц в какие-то моменты сменяется усиленным интересом к тем внутренним смыслам и смысловым оттенкам, которые в этих единицах заложены и, в аспекте синонимии, существуют как бы над ними. Соответственно избираются то строго формальные, то смысловые обоснования для группировки и классификации грамматического материала. Эти периодические смены сопровождаются горячими спорами о том, «что лучше», где лежит истина. Сторонники функционального аспекта аргументируют правильность и целесообразность «смыслового» подхода тем неоспоримым фактом, что язык есть практическое сознание людей; грамматисты, начинающие с формальных изучений и кладущие в основу описания форму, исходят из того, также бесспорного тезиса, что грамматика имеет свои собственные материальные единицы и что начинать изучение этих единиц нужно исходя из их собственного устройства. Время от времени активизируется то один, то другой подход.

Идеальным представляется такое состояние, при котором изучаются все стороны грамматической единицы и не упускаются никакие необходимые — по обязательности ее собственные — характеристики. При этом можно считать доказанным, что строгим оказывается только изучение, идущее от формы, от самого строения грамматической единицы — к ее внутренней смысловой стороне. Верно, что при таком описании смысловые характеристики могут оказаться крайне обобщенными, что могут остаться

в тени многие важные явления, связанные с лексическим наполнением формы и т. д. Однако возможность устранения этого недостатка, т. е. возможность углубления в смысловой анализ (корректируемый строгим методом), при формальном подходе всегда остается легко реализуемой реальностью. Напротив, при описании «от смыслов» нередко оказывается потерянным самый объект грамматического изучения, упускается из виду необходимость в грамматике строгой и целостной, систематической организации материала и, что особенно опасно, открывается простор для сознательного неразграничения грамматических и неграмматических значений. Ярким примером здесь может служить опыт Шербы с выделением из системы русских частей речи так называемой «категории состояния». Этот опыт был интересным потому, что он был осуществлен таким лингвистом, как Шерба, — с его знаниями, с его лингвистическим кругозором, чутьем и уважением к языку. Но этот опыт в целом нельзя считать удавшимся, потому что формальные границы «категории состояния» Шербой устанавливались как принципиально размытые; языковеды, увлеченные этой идеей, в дальнейшем соревновались в пополнении вновь открытой «категории» все новыми и новыми единицами, «переводимыми» в этот разряд из других классов слов на основе только функциональных признаков, понимаемых, к тому же, неоправданно широко. И не случаен тот факт, что позднее из этой категории в грамматических описаниях утвердились только так называемые «предикативы», т. е. слова, объединенные своими собственными формальными характеристиками.

Иными словами, в рамках категорий, выделенных по формальным основаниям, всегда есть возможность идти вглубь, в грамматическую семантику, локализуя значения в границах их формального выражения. В рамках категорий смысловых, выделяемых часто субъективно и, по-видимому, с принципиальным исключением установки на полноту (мы не знаем ни одной работы, автор которой ответственно заявил бы своим читателям, что он дал хотя бы относительно полный перечень семантических категорий в грамматике, в частности, например, в синтаксисе), возможность установления строгих формальных границ практически исключается, так как отсутствуют сколько-нибудь определенные критерии выделения самих этих категорий.

Русская грамматическая мысль так или иначе всегда была направлена на разумное совмещение двух рассмотренных выше аспектов, и задачей ныне работающих грамматистов нужно считать сохранение и утверждение этого принципа.

5. За долгие годы своего существования наша грамматическая традиция выработала свой тип научной академической грамматики. Первой была «Российская грамматика» Ломоносова. Уже в ней определились такие характерные черты будущих лучших описаний грамматического строя русского языка, которые обеспечили их неустареваемость. Это теоретичность, системность и полнота, гибкое, не пуристическое отношение к норме, внимание к лексике, к взаимодействию слова и формы, присутствие стилистического аспекта. Остановимся кратко на некоторых из этих характерных черт наших грамматических описаний.

Лишь очень немногие из русских описательных грамматик не отмечены собственной теоретической концепцией их автора (ср., например, личную исследовательскую индивидуальность грамматику 1802 г. или «Опыт общесравнительной грамматики русского языка» 1852 г.). Обычно же со страниц такой грамматики с нами говорит исследователь, излагающий результаты своих собственных научных разысканий. В академических грамматиках, в написанных в разное время грамматических курсах читатель не просто черпает необходимые для него сведения: со страниц

книги ему звучит голос Ломоносова, Востокова, Буслаева, Грота, Шахматова, Виноградова. Это обеспечивает нашим грамматикам их глубоко научный и в то же время индивидуальный характер: они отражают состояние исследовательской мысли своего времени.

Для классиков нашей грамматической науки характерно понимание национального языка как индивидуальной и неповторимой системы; им чуждо стремление к универсализации грамматических категорий. Замечательны в этом смысле слова Фортунатова о том, что формальные классы, существующие в одном языке, не должно предполагать непременно существующими в другом языке. Такой подход обеспечил лучшим предшественникам нашей лингвистической мысли исключительную тщательность и глубину языкового анализа, внимание к особенностям и самобытным сторонам грамматического строя своего языка. Здесь были исключения. Известно, например, какой след наложила на грамматику Буслаева тенденция к унификации с грамматиками других языков, к следованию общеевропейским традициям и логическим схемам. Но показательно, что материалы буслаевской грамматики оказались сильнее этих тенденций и обеспечили ей долгую научную жизнь. С другой стороны, не совпадающая с национальными традициями теоретическая направленность этой грамматики косвенно содействовала рожденному в спорах упрочению и развитию этих традиций.

Авторов наших грамматических описаний всегда отличало стремление к максимальной полноте охвата материалов: изложение тех или иных выводов, правил опирается у них на обильные, нередко исчерпывающие языковые свидетельства, на отличающуюся тонким вкусом цитацию классиков литературы. Многие наши грамматиканы поэтому выполняли в свое время не только научно-систематизирующие, но и просветительские задачи. Полнота материалов совмещается с систематичностью их организации. Достаточно вспомнить, например, шахматовское описание категорий имени и глагола в «Очерке современного русского литературного языка» или его же классификацию предложений в «Синтаксисе русского языка».

Исследовательский подход привел крупнейших наших грамматистов к такому отношению к нормализаторской деятельности, при котором норма понимается как явление динамическое, показывается как категория варьируемая, ни в коей мере не давящая или принудительная. Изучая наши лучшие грамматиканы, стоит обратить специальное внимание на характер запретов: они даются с осторожностью, всегда объясняются, широко допускающиеся варианты тщательно распределяются по стилистическим и функциональным сферам.

Грамматическое описание в нашей отечественной традиции всегда было тесно связано с лексикологическими и лексико-семантическими характеристиками. Начиная с Ломоносова, который вместе с Кондратовичем трудился над «сочинением российского лексикона», почти все наши крупнейшие грамматисты были и лексикологами, и лексикографами. Это наложило свой отпечаток на всю русскую грамматическую науку, убергло ее от схематизма, определило включение в грамматику существенных для нее лексико-семантических аспектов (см., например, у Потехина почти исчерпывающие перечни слов, способных в определенных морфологических формах выполнять ту или иную синтаксическую функцию).

Все эти и многие другие связанные с ними характерные черты русских академических грамматических описаний определили их важную роль в развитии грамматической науки в целом.

6. В советскую эпоху в Академии наук были созданы две описательные грамматиканы русского языка — «Грамматика» 1952—54 гг. и «Грамма-

тика» 1970 г. Сейчас составляется большая «Русская грамматика», авторская работа над которой должна быть закончена в 1975 г.

Определяющаяся современной стадией развития науки особенность этих грамматик — в том, что они пишутся авторскими коллективами: сейчас ни один ученый не может сам, один написать полную академическую грамматику. А с этим связано многое. В коллективной работе соединяются несколько исследователей. Встает острая и трудная задача координации решений — часто совершенно конкретных. Полностью эта задача не была решена ни в «Грамматике» 1952—54 гг., ни в «Грамматике» 1970 г. Между тем читатель вправе ждать и требовать от научной описательной грамматики абсолютной непротиворечивости, целостности и последовательности. Языковеды предъявляют к этой книге свои требования: ее главы должны объединять единая лингвистическая концепция.

Здесь нет ни необходимости, ни возможности перечислять удаchi и неудачи двух названных выше грамматик. Эти книги широко обсуждались. Достаточно напомнить, что «Грамматика» 1970 г. получила более 30 рецензий, был проведен специальный симпозиум, посвященный ее обсуждению, прошла дискуссия в печати.

Итак, на протяжении двух с половиной — трех десятилетий из стен Института русского языка Академии наук выйдет три научные описательные грамматики современного русского литературного языка. Этот факт может быть расценен как свидетельство неустойчивости решений, нежелательной легкости в их принятии и пересмотре. Я думаю, что на самом деле это не так. «Грамматика» 1952—54 гг., за исключением своего теоретического введения, подводила итоги. Ее главы, так, как они написаны, могли бы быть написаны и в 40-х, и даже в 30-х годах. Но введение, предпосланное этим главам В. В. Виноградовым, нацеливало на коренной пересмотр тех сложившихся представлений и характеристик, которые изложены в конкретных разделах этой книги; оно указывало и пути, по которым следует идти. «Грамматика» 1970 г. в той степени, в которой это было возможно, попыталась в некоторых направлениях пойти по этим путям. Но это не была грамматика, адресованная к широкому читателю (хотя информативная часть ее — богаче, чем в «Грамматике» 1952—54 гг.). Не все в ней одинаково удалось, главы ее неравноценны. В ходе обсуждения этой книги было высказано много пожеланий в духе расширения, дополнительной аргументации, а в ряде случаев и пересмотра тех или других положений. Многие могут сделать совсем иначе (см. главы о фонологии, об акцентологии, композицию морфологического раздела, многое в синтаксисе).

Готовящаяся «Грамматика» не будет расширенным повторением «Грамматики» 1970 г.: это будет совсем другая книга, адресованная к другому читателю, гораздо более полная, по возможности просто написанная, богато иллюстрированная. Свои цели и задачи авторы изложили в опубликованном в 1972 г. проспекте, который обсуждался и получил одобрение.

Коллектив, работающий сейчас над большой «Русской грамматикой», понимает всю ответственность, которую он на себя взял и которую накладывают на него наши академические традиции. Эти традиции нужно хранить, развивать и приумножать, не увлекаясь ни кратковременной и неверной модой, ни броскими, но не всегда достаточно глубоко продуманными идеями.

В то же время нужно помнить о том, что наука не стоит на месте, что в последние десятилетия мы обогатились новыми материалами и новой их трактовкой, что самые методы лингвистической работы постоянно совершенствуются. Нужно помнить и о том, что само понятие «установив-

шегося в науке» есть понятие относительное: ведь то, что сейчас для нас в грамматической теории кажется сугубо традиционным, в свое время было и новым, и смелым, и необычным, и далеко не всеми принималось. Так же относительно и достаточно неопределенно понятие «широкий читатель»: люди разного образования, разного возраста ищут в грамматике ответы на разные вопросы, по-разному относятся к тем или другим ее решениям. Есть читатели, которые полагают, что академическая грамматика во всем должна совпадать с грамматикой школьной; другие хотели бы, чтобы по содержанию она не отступала от утвержденных программ вузовских курсов. Одни хотели бы видеть в ней только свод правил, другие — ответы на актуальные вопросы теории.

Несомненно одно: в своей работе, в выборе решений мы должны помнить о тех лучших характерных чертах научных грамматических описаний, которые выработали и определили для них классики русской грамматической мысли.

Ф. П. СОРОКОЛЕТОВ

РУССКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ В АКАДЕМИИ НАУК

Начало академической лексикографии обычно связывают со «Словарем Академии Российской» (1789—1794), который современники относили «к числу тех феноменов, коими Россия удивляет внимательных иностранцев»¹. Однако созданию этого поистине великодушного труда предшествовала длительная работа над словарями других типов.

В конце XVII — начале XVIII в. усилия русских словарников были сосредоточены в основном на составлении двуязычных и многоязычных словарей, что вызывалось практическими нуждами государства: расширением международных связей, развитием переводческого дела, распространением школьного образования и изучением иностранных языков². Таким образом, словарная работа теснейшим образом связывалась и переплеталась со всеми сторонами общественной жизни, с успехами в развитии науки, культуры, образования.

Среди относительно большого количества двуязычных и многоязычных словарей того времени выделяются такие, как лексиконы Е. Славинского³, трехязычный лексикон Ф. П. Поликарпова-Орлова⁴, «Немецко-латинский и русский лексикон» (1731) и др. Само появление этих словарей предполагает наличие в России вполне сложившейся научной лексикологической и лексикографической традиции. Наряду с этими лексиконами определенное влияние на словарную работу в XVIII в. оказывали различные сборники иностранных слов и терминов, исследования по истории и этимологии русских слов (работы В. К. Тредьяковского, М. В. Ломоносова, В. Н. Татищева, Н. П. Сумарокова, И. Н. Болтина и др.).

Однако эти лексикографические и историко-этимологические опыты не удовлетворяли потребности общества в толковом словаре живого русского языка, в словаре нормативного характера, достаточно полно охватывающем лексику живого языка и стоящем на уровне развития филологической науки своего времени.

Общий подъем русского национального самосознания, значительный рост науки, культуры, обогащение и развитие русского языка в петровскую эпоху — все это требовало изучения его грамматики и словарного состава. Процесс демократизации русского литературного языка сопровождался перемещением интереса с церковно-книжного языка на устную разговорную речь, на «простое» и «посредственное» наречия литературного языка. С этим были связаны попытки теоретического и практического разграничения основных стилей литературного выражения,

¹ Н. М. Крамзин, Речь, произнесенная в торжественном собрании императорской Российской Академии, 5 дек. 1818 г., Соч., IX, М., 1835, стр. 268.

² С. К. Булич, Очерк истории языкознания в России, СПб., 1904, стр. 189—203.

³ «Лексикон латинский з калепина преложенный на словенски лета от создания мира 7150»; «Книга лексикон греко-славено-латинский» (оба рукописные).

⁴ «Лексикон трехязычный, сиречь речений славенских, еллиногреческих и латинских сокровище, на различных древних и новых книг собранное и по славенскому алфавиту в чин расположенное» (1704).

с этим было связано появление теории стилей М. В. Ломоносова и исследование им грамматической системы русского языка. Назрела насущная необходимость привести в известность активный и пассивный (исторический) фонд литературной лексики. Эту задачу мог выполнить только словарь живого русского языка.

Потребность в толковом словаре русского литературного языка пачинает остро ощущаться уже в начале XVIII в. Не случайно основанная в 1724 г. Петербургская Академия наук считает создание такого словаря одной из важнейших своих задач. В речи при открытии Российского собрания при Академии наук в 1735 г. о назревшей необходимости приступить к составлению словаря русского языка («лексикона полного и довольного») говорил В. К. Тредьяковский⁵. Об этом говорил и писал М. В. Ломоносов и другие деятели науки и культуры XVIII в. В это же время предпринимаются практические шаги к составлению словаря. «Бывшим при Академии наук Российским собранием, — сообщил М. В. Ломоносов, — споможением Андрея Богданова собрано и по алфавиту расположено 60 000 российских чистых речений, которых много уже протолковано и переведено на другие языки»⁶. Собранный А. И. Богдановым материал составил 14 «волюминов» (томов). Важно отметить, что подготовлявшийся словарь содержал многие элементы, характерные для последующих толковых словарей: определение значений слова, грамматическую характеристику, стилистические пометы, иллюстрации, этимологические справки.

В 40—50-е годы XVIII в. академический переводчик К. А. Кондратович под наблюдением М. В. Ломоносова занимается «сочинением российского лексикона с латинским переводом по Целлариеву и Фаброву образцу»⁷. Лексический материал в словаре располагался по алфавиту корней, но гнездам. Таким образом, тип словопроизводного словаря в России складывается уже до составления «Словаря Академии Российской» (САР).

Ни словарь А. И. Богданова, ни лексикон К. А. Кондратовича не увидели света⁸, но опыт работы над ними был использован составителями «Словаря Академии Российской». Так, например, установлено, что основу «Аналогической росписи слова» («Аналогических таблиц») САР составили слова из словаря Богданова. САР вобрал в себя также опыт работы над «Российским целлариусом» Гелтергофа (1771) и «Церковным словарем» П. А. Алексеева (1773).

Предшествующая лексикографическая и лексикологическая работа явилась важной и необходимой ступенью в создании САР. Она благотворно сказалась на сроках подготовки словаря и обеспечила высокий научный уровень его исполнения. Словарь был делом всей Российской Академии, специально созданной для того, чтобы «сочинить российскую грамматику, российский словарь, риторику и правила стихотворения». 47 членов Академии из 60 принимало участие в его составлении, среди них были такие выдающиеся представители науки и культуры XVIII в., как Фонвизин, Княжнин, Державин, Богданович, Лепехин, Озерцовский, Козодавлев, Дашкова, Соколов, Шувалов, Мусин-Пушкин и др. Составители словаря опирались на теоретическую разработку вопросов грамматики, стилистики, лексикологии и лексикографии М. В. Ломоносовым, который

⁵ В. К. Тредьяковский, Соч., I, СПб., 1849, стр. 260.

⁶ М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., 9, М.—Л., 1955, стр. 124.

⁷ «Библиографические записки», СПб., 1858, I, № 8, стр. 229—230.

⁸ Словарь Богданова пытался издать под своим именем Тауберт. В истории лексикографии даже установилось ошибочное мнение о том, что Тауберт был составителем этого словаря (П. П. Чекарский, С. К. Булич, В. В. Виноградов и др.).

был для них непререкаемым авторитетом. Известно, что М. В. Ломоносов живо интересовался вопросами лексикографии и намеревался «положить проект, как сочинять лексикон»⁹. В его отзывах о словарях Богданова, Кондратовича, Дандоло высказаны основные требования к словарю русского языка: словарь должен отличаться полнотой словника, должен содержать толкование значения, грамматическую характеристику слов, стилистические пометы, этимологические справки и иллюстрации. Почтительное отношение составителей САР к Ломоносову распространялось и на литературно-художественную практику ученого.

САР стремился отразить лексико-семантические нормы русского литературного языка второй половины XVIII в. Нормативный характер словаря и словопроизводный принцип расположения слов отражали основные тенденции и интересы научной разработки русского литературного языка филологией XVIII в., когда особую остроту приобретает проблема отношения русского языка к другим языкам, проблема родства русского языка с другими языками мира, вопрос о первичных корнях русского языка и его национальных основах. САР «ярко обнаруживает движение к единой общенациональной языковой норме, поиски которой составляют основное содержание истории русского письменного языка, начиная примерно с 30-х годов XVIII в.»¹⁰.

Составлению САР предшествовало тщательное и всестороннее обсуждение его основных принципов. Особенно острые споры велись о включении иноязычной лексики, специальной терминологии и слов живого просторечия. Составители стояли на позициях ограничения иноязычных слов в словаре. Даже число галлицизмов, которыми пестрел язык образованного общества XVIII в., в САР незначительно. Живая народная речь, как и специальная, научно-техническая терминология, также представлена скупо. Вот почему, по справедливому замечанию В. В. Виноградова, САР все же далек от «ломоносовского демократизма»¹¹.

САР заслуженно считается одним из самых замечательных достижений русской лексикографии. Основная задача, которую ставили составители словаря, — дать определения значений слова, исходя из литературного и устно-бытового употребления, — решена ими успешно. Способы и приемы смысловой характеристики слов в словаре были восприняты и усовершенствованы в последующих толковых словарях русского языка. С САР начинается новый период в истории русской академической лексикографии.

Недостатки словопроизводного размещения материала (трудность пользования, ошибки в словопроизводстве) привели к переизданию САР с приведением «славенороссийского этимологического словаря в буквенный порядок»¹². В 1806—1822 гг. выходит в свет «Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный» (ч. I—VI).

Второе издание САР, хотя количество слов в нем увеличилось с 43 257 до 51 388, не стало новым шагом в развитии русской лексикографии. В этой новой редакции словарь не имел такого теоретического и практического значения, как первооригинал. В лексике и фразеологии русского литературного языка конца XVIII в. и начала XIX в. произошли существенные изменения. Между тем эти изменения почти не нашли отражения

⁹ М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., 7, стр. 688—689.

¹⁰ Г. О. Вилокур, К истории нормирования русского письменного языка в конце XVIII в., «Вестник МГУ», 1947, 5, стр. 47.

¹¹ В. В. Виноградов, Толковые словари русского языка, в кн.: «Язык газеты», М., 1941, стр. 366.

¹² М. И. Сухомятин, История Российской Академии, вып. восьмой, СПб., 1888, стр. 181.

в азбучном «Словаре Академии Российской». Словарь не отражал живых норм литературного языка пачала XIX в. Уже тогда стало очевидным, что переиздание словаря современного языка целесообразно лишь в том случае, если в него будут внесены изменения, отражающие соответствующие сдвиги в самом языке, если обработка лексического материала будет соответствовать уровню научных знаний о языке, а задачи, решаемые в словаре, будут соответствовать изменившимся запросам общества.

Первые академические словари дали в распоряжение языковедов богатый фактический материал, в ряде случаев подняли многие теоретические и практические вопросы лексикологии и лексикографии. Вокруг них велись оживленные споры и дискуссии, которые вливались в общий поток языковедческих проблем начала XIX в.

С начала XIX в. в условиях распространения романτικο-исторических воззрений в обществе усиливается тяга к национальному прошлому, к устной народной поэзии, к народным основам языка и общественной жизни. Историзм все шире и глубже проникает в методологию общественных наук, в том числе и в языковедение. В это время выдвигаются и оживленно обсуждаются такие проблемы, как взаимодействие и соотношение русской и церковнославянской стихий в истории литературного языка, заимствование иноязычных слов и их место в русской лексической системе, просторечие и его народно-диалектная база, разные жанры и типы литературной речи. В лексикографической работе первой половины XIX в., как в зеркале, отражались все эти тенденции и направления развития филологической науки.

Мысль о создании нового словаря русского языка зарождается еще в стенах Академии Российской. Члены Академии вели оживленные споры об основных принципах словаря: отборе лексики, месте иноязычных заимствований, семантической и грамматической характеристике слов и др. Особенно острую полемику вызывал вопрос о способах расположения материала в словаре и о месте иноязычных слов в нем.

Второе отделение Академии наук (Отделение русского языка и словесности), пришедшее в 1841 г. на смену Академии Российской, приняло основные направления, цели и принципы составления словаря, выработанные Академией Российской. Считалось, что одним из основных недостатков предшествующих академических словарей было отсутствие в них слов из древнерусских памятников. Председательствующий в Отделении П. А. Ширинский-Шихматов подчеркивал, что словарь должен с наибольшей полнотой охватывать лексику не только живого русского, но и древнерусского и церковнославянского языка. Подбор лексики для словаря основывался на убеждении, что русский язык состоит из трех стихий: «нынешнего русского», «старинного русского» и церковнославянского, неразрывно связанных между собой. Словарь сознательно обращается к прошлому состоянию языка и решительно отходит от нормативно-стилистической направленности в отборе слов, характерной для предшествующих академических словарей. Он стремится быть «сокровищницей русского языка на протяжении многих веков, от первых письменных памятников до позднейших произведений нашей словесности»¹³. Отсюда — убеждение, что словарь не есть выбор, но полное систематическое собрание слов, сохранившихся как в памятниках письменности, так и в устах народа. Надо, однако, заметить, что многие уже тогда понимали невозможность и нецелесообразность соединения в одном издании церковнославянского и русского языков (академики Давыдов, Билярский, Срез-

¹³ «Словарь церковнославянского и русского языка, сост. Вторым отд-ем имп. Акад. наук», I, СПб., 1847, Предисловие, стр. XI.

невский). Однако границы новой системы литературного языка не были отчетливыми, и разделить эти языковые стихии было чрезвычайно трудно.

«Словарь церковнославянского и русского языка», вышедший в свет в 1847 г., насчитывает 114 749 слов; это самый большой для своего времени словарь русского языка. Русская лексикография с выпуском словаря 1847 г. сделала новый крупный шаг вперед в разработке словарного состава. Словарь впитал в себя лучшие стороны академической лексикографической традиции. Особенно ценным в словаре является богатый набор слов и выражений, новые приемы толкования значений слов, установление последовательности и связи в развитии значений, а также грамматическая характеристика слова, основанная на учении А. Х. Востокова. Высокие качества этого труда обязаны во многом участию в его создании таких выдающихся ученых, как А. Х. Востоков, П. Г. Бутков, Я. И. Бередников, М. А. Коркунов¹⁴.

Однако словарь 1847 г. не является в полном смысле «сокровищницей языка на протяжении многих веков», как заявляли об этом сами составители. Для того чтобы представить лексику русского языка во всем объеме, необходимо было составление словарей областных, древнерусских, специальных.

Повышение интереса к национальному прошлому, к устной народной поэзии, к народноразговорному языку и местным говорам, развитие исторических знаний — все это отражалось на развитии и эволюции науки о русском языке: усиливается археографическая деятельность и изучение древнерусского и церковнославянского языков, укореняется и развивается сравнительно-исторический метод в языкознании. Именно в первой половине XIX в. закладываются научные основы истории древнерусского языка и диалектологии, успешно разрабатывается проблема взаимодействия русского литературного и старославянского языков. С этим связано создание А. Х. Востоковым первого научного «Церковнославянского словаря» (тт. I—II, 1858—1861), труда, сохраняющего свое значение и в наши дни.

Тогда же широко ставится проблема связи истории русского литературного языка с диалектологией, начинается интенсивное собирание материалов по областным говорам¹⁵. Создание областного словаря становится одной из насущных задач русской лексикографии.

В планах Второго отделения АН предусматривалось составление словаря областных слов. По замыслу составителей областной словарь должен был дополнять «Словарь церковнославянского и русского языка» 1847 г. Таким образом, намечалась определенная система словарей, отражающих лексику русского языка во всех ее ответвлениях. Итогом коллективной работы членов Отделения (Востокова, Коркунова, Бередникова, Буткова, Давыдова) явился том «Опыта областного великорусского словаря» (1852), в котором было собрано и объяснено 18 011 слов. Редактором словаря был А. Х. Востоков.

Так как и после выхода в свет «Опыта» в Академию наук продолжали поступать материалы для областного словаря, было решено выпустить «Дополнение к Опыту областного великорусского словаря», в котором собрано и объяснено 22 895 слов.

«Опыт» и «Дополнение» были первыми серьезными трудами в области диалектной лексикологии и лексикографии. Они сыграли важнейшую роль в дальнейшем собирании диалектных материалов, породили целый

¹⁴ Истории создания и принципам построения Словаря 1847 г. посвящена канд. диссерт. В. В. Р о з а н о в о й «Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением имп. Академии наук». (АКД, Л., 1952).

¹⁵ См. об этом: С. К. Булич, Очерк истории языкознания в России, стр. 1141.

ряд научных проблем, связанных с изучением истории и диалектологии русского языка.

В XIX в., когда историзм все глубже проникает в методологию общественных наук, зреет и укрепляется идея исторического словаря русского литературного языка. Составить «Словарь Толковый для уразумения языка летописей и других письменных памятников древней нашей словесности» призывает археограф П. М. Строев¹⁶. План П. М. Строева в то время не был осуществлен. Лишь в конце XIX — начале XX в. этот замысел частично был реализован в труде акад. И. И. Срезневского.

Еще с 40-х годов XIX в. И. И. Срезневский начал собирать материалы для будущего словаря древнерусского языка¹⁷. Срезневский понимал, что без создания исторического словаря невозможна разработка истории русского языка, а следовательно, и истории русского народа, ибо, по его мнению, история языка является существенной частью истории народа. Срезневский считал, что словарь должен «быть сокровищницей языка, памятником быта и образованности народа, вasmьколько они выражаются в языке». Этим определялся отбор слов в словарь: чтобы быть сокровищницей языка, он должен содержать по возможности весь лексико-фразеологический состав привлекаемых источников.

Срезневский не успел довести до конца свой труд. Только после его смерти (1880) были изданы «Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» (т. I, 1893, т. II, 1895, т. III, 1903, дополнения, 1912). Составленный на основе огромного количества памятников, словарь Срезневского и по сей день является самым большим и лучшим по исполнению словарем древнерусского языка XI—XIV вв. (тексты более позднего времени нашли в нем лишь частичное отражение). Словарь явился мощным толчком для целой серии исследований по древнерусской и славянской лексикологии.

Созданием этих словарей Второе отделение Академии наук стремилось осуществить свои обширные планы, намеченные в начале 40-х годов XIX в. В эти планы входило составление словарей русского языка, словарей «чужеземных» слов, сравнительного словаря славянских паречий, областного словаря, исторического словаря и т. п. Однако основой деятельности Отделения осталось составление толкового словаря русского языка.

Словарь 1847 г., несмотря на свои несомненные достоинства, не мог удовлетворить нужды читателей в справочнике по живому словоупотреблению. Делая упор на реставрацию старого языкового наследия, он отрывался от живого процесса литературно-языкового развития. Становится все более необходимым создать словарь современного языка, в котором был бы представлен именно русский язык, обособленный от церковнославянского, освобожденный от архаических пластов лексики.

В 50-е годы XIX в. обсуждение вопроса о новом словаре принимает особенно оживленный характер. Г. П. Павский, В. И. Даль, И. И. Давыдов, И. И. Греч, Ф. И. Буслаев, Я. К. Грот и другие видные ученые высказывают мысли о создании академического толкового словаря нормативного типа, отражающего лексический состав языка на новом этапе его развития. Сразу же после выхода в свет словаря 1847 г. акад. И. И. Давыдов утверждает, что «к словарю русского языка не должно примешивать ни старославянского, ни польского, ни чешского»¹⁸. Эту точку зрения поддерживали И. И. Срезневский и Я. К. Грот. Отрыв предшествующих

¹⁶ Н. И. Барсуков, Жизнь и труды П. М. Строева, СПб., 1878, стр. 99.

¹⁷ См. об этом: В. И. Срезневский, Об истории составления словаря древнерусского языка И. И. Срезневского, «Изв. АН СССР», 1933, 9.

¹⁸ Доклад акад. И. И. Давыдова на заседании Отделения русского языка и словесности («Изв. Второго отд. имп. Акад. наук», I, СПб., 1852.).

словарей от живого процесса литературного развития, от процессов, происходящих в живом словоупотреблении, вступал в противоречие с практикой крупнейших писателей XIX в., в произведениях которых легко прослеживалось стремление к сближению литературного языка с народным. Многих писателей и деятелей культуры того времени волновала идея создания словаря, в котором были бы представлены все богатства литературного и живого народного языка. К таким писателям относился В. И. Даль. Всею своей литературной деятельностью Даль стремился обновить, обогатить русскую литературную речь словами и выражениями, взятыми из «неисчерпаемого родника или рудника живого языка русского». Созданный им знаменитый «Толковый словарь живого великорусского языка» (1-е изд., 1863—1866, т. I—IV) открывал путь к этому роднику. Словарь полемически противопоставлялся всей академической лексикографии¹⁹.

Однако «Толковый словарь» Даля не мог заменить нормативный словарь русского литературного языка. Он был, по выражению В. И. Ленина, «областническим словарем»²⁰. В академических кругах его рассматривали «лишь как сборник первоклассных материалов для исследования народной речи»²¹. Отделение продолжало работу над словарем русского литературного языка, задуманного еще в 50-е годы. Этот словарь начал выходить в 90-х годах (1891—1895) под ред. акад. Я. К. Грота²². Грот сумел сделать словарь общим делом всей Академии наук, привлекая к работе над ним виднейших ученых разных специальностей²³.

Академия наук по существу впервые в истории русской лексикографии предприняла удачную попытку создать толковый словарь современного литературного языка на основе лексического богатства, отраженного в русской классической литературе. Подчеркивая отличие нового словаря от предшествующих, Я. К. Грот писал, что словарь будет словарем «собственно русского языка», он «имеет предметом собственно употребительный в России литературный и деловой язык в том виде, как он образовался со времен Ломоносова»²⁴. Основным критерием отбора слов в словаре явилась употребительность в произведениях художественной литературы от Ломоносова до последней трети XIX в.

«Словарь русского языка» под ред. Я. К. Грота отличается не только полнотой словника, но и внутренней полнотой — точностью семантического анализа слов, ясностью и достаточностью толкования значений, четким их разграничением, убедительным распределением в составе словарной статьи, четкой грамматической характеристикой слов. Достаточно широкий набор стилистических помет связан с основной задачей словаря — быть «истолкователем живого языка». Система грамматических характеристик из словаря под ред. Я. К. Грота перешла в последующие толковые словари русского языка. Все это делало словарь под ред. Я. К. Грота выдающимся явлением в культурной жизни России, одним из самых ценных начинаний второй половины XIX в. в области изучения русской литературной лексики.

Нельзя не упомянуть о заслуге Я. К. Грота в создании картотеки словарного сектора Института русского языка АН СССР. Именно Грот с небольшим штатом помощников положил начало нынешней картотеке,

¹⁹ О Словаре В. И. Даля см.: М. В. К а н к а в а, В. И. Даль как лексикограф, Тбилиси, 1958.

²⁰ В. И. Л е н и н, Полн. собр. соч., 51, стр. 121—122.

²¹ «Словарь русского языка», I, СПб., 1895, Предисловие, стр. V.

²² «Словарь русского языка», сост. Вторым отд-ем имп. Акад. наук, I (А—Д), СПб., (1891—1895).

²³ См.: Г. П. Г а л а в а н о в а, Я. К. Грот как лексикограф. АҚД, II, 1953.

²⁴ «Словарь русского языка», I, стр. V.

на основе которой созданы 17-томный, 4-томный и другие словари русского языка.

Преемником Грота на посту главного редактора словаря стал А. А. Шахматов, который, по его словам, всецело посвятил этой работе первые годы пребывания в Академии. Шахматов коренным образом меняет все направление словаря. Прежде всего отвергается точка зрения на «пределы содержания словаря»: в словарь широко открывается доступ областной лексике, церковнославянизмам, узкоспециальным терминам, окказиональным словам, архаизмам. Из словаря литературного языка нормативного типа издание превращается в словарь *thesaurus* — сокровищницу русского языка без разграничения понятий «литературное» — «областное», «современное» — «устарелое», «общеупотребительное» — «специальное». Изменились способы толкования слов и выделения значений, а также приемы грамматической характеристики. Словарь отказывается от стилистических и других оценочных помет. Нормативные указания и рекомендации вытесняются указанием источников, в которых употреблено слово. Нормативность в словаре отвергается А. А. Шахматовым принципиально. Эта точка зрения была характерной для языкознания конца XIX в.²⁵ Во взглядах Шахматова на задачи словаря и принципы его составления сказались также основные направления научной деятельности ученого — историко-диалектологическое.

После Октябрьской революции работа над словарем шахматовской редакции была возобновлена в 1922 г. специально созданной при АП Комиссией по составлению Словаря под председательством акад. В. М. Истрина; в Комиссию входили С. П. Обнорский, В. И. Чернышев, Л. В. Щерба, Е. С. Истрина, П. Л. Маштаков, И. А. Фалев. Был создан институт штатных научных сотрудников. Таким образом, лексикографическая работа в Академии наук получила объединяющий коллективный центр. Работа каждого редактора теперь коллективно обсуждалась на заседаниях Комиссии, что способствовало подъему общей теоретической мысли в области лексикографии. Однако интересный и многообещающий по замыслу «Словарь русского языка» шахматовской редакции оказался неосуществленным. Издание отдельных выпусков словаря затянулось, продолжалось до начала 30-х годов и осталось незаконченным. Вообще следует заметить, что практические достижения Словарной комиссии были незначительны. Более важной представляется теоретическая разработка вопросов, связанных с дальнейшей работой над целой серией словарей русского языка.

Подчеркивая, что словарная работа должна основываться на достижениях филологической науки, В. М. Истрин вместе с тем замечал, что при этом необходимо учитывать и конкретно-исторические условия, в которых создается каждый словарь. Выдвигается задача вести разработку материалов русского языка в двух направлениях: а) изучение народных говоров; б) изучение литературного языка в его истории и современном состоянии. Намечается продолжение издания словаря шахматовской редакции, выпуск «время от времени» добавлений к словарю, составление (два раза в столетие) словаря литературного языка строго синхронного характера, подготовка идеографического и синонимического словарей, составление словарей языка писателя²⁶. Эти планы были рассчитаны на значительный срок. Они сохраняют в определенной мере актуальность и в наше время.

²⁵ А. А. Шахматов, Несколько слов по поводу записки И. Х. Пахмана, *Сб. ОРЯС*, т. I, XVII, 1, 1899.

²⁶ См.: В. М. Истрин, Работа над Словарем русского языка в Академии наук, *Изв. АН СССР*, VI серия, 1927, 18, стр. 1663.

В истории русской академической лексикографии советский период составляет особую главу. Русская лексикография советского времени накопила значительный опыт в составлении толковых словарей. Четыре словаря: «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, «Словарь современного русского литературного языка» (в семнадцати томах), четырехтомный «Словарь русского языка» и «Словарь русского языка» С. И. Ожегова — важные вехи в изучении словарного состава русского языка, явления большого культурного значения.

У истоков русской советской лексикографии стоял В. И. Ленин, придававший огромное значение культурному строительству молодой Советской республики. В известных записках А. В. Луначарскому, М. Н. Покровскому и Е. А. Литкенсу В. И. Ленин не только высказывает мысль о необходимости создания словаря русского языка, но и в общих чертах определяет его характер и задачи: словарь «для пользования (и учения) всех», «словарь настоящего русского языка», словарь «слов, употребляемых теперь и классиками, от Пушкина до Горького»²⁷. Создание такого словаря было насущно необходимо в связи с заметными изменениями в составе литературного языка и появлением нового читателя, который стремился овладеть всеми достижениями культуры. Академический словарь шахматовской редакции был далек от учета этих обстоятельств.

В значительной мере эта ленинская идея была воплощена в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова (1935—1940). Составители словаря «старались, поскольку это было в их силах, придать словарю характер, отвечающий тем требованиям, которые предъявлял В. И. Ленин к образцовому толковому словарю современного русского литературного языка»²⁸. Словарь под ред. Д. Н. Ушакова — это первый опыт нормативного словаря русского языка советского времени. В нем представлена лексика художественной литературы от Пушкина до Горького, специальная, научная, техническая, общественно-политическая и производственная терминология, ставшая общеупотребительной. Относительно широко отражены изменения в словарном составе русского языка после Великой Октябрьской революции. В словаре впервые в русской лексикографии широко и последовательно применяется система стилистических помет, указывающих на сферу употребления слова, на его стилистическую природу, на историческую перспективу. Словарь сыграл огромную роль в упорядочении русской орфографии. Словарь под ред. Д. Н. Ушакова оказал большое влияние на всю советскую (русскую и национальную) лексикографию, он подвел итоги предшествующей длительной лексикографической работы в Академии наук; будучи созданным вне стен Академии, словарь под ред. Д. Н. Ушакова целиком лежит в русле академической лексикографической традиции.

Однако словарь под ред. Д. Н. Ушакова, готовившийся в конце 20 — начале 30-х годов и опиравшийся на сравнительно ограниченные картоточные материалы, был далеко не полным и во многих своих рекомендациях и оценках быстро устаревал. Интерпретация языковых фактов в словаре отражала нормы словоупотребления предшествующего времени. С другой стороны, в нем не нашли отражения те сдвиги и изменения норм, которые приходится на 30—50-е годы, когда борьба за культуру языка, за чистоту русской речи приобрела особенно большое значение. Это поставило перед русским языкознанием насущную задачу подготовки новых словарей, ориентированных на характеристику современного состояния словарного состава русского языка.

²⁷ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 51, стр. 192, 121-122; 52, стр. 198-199.

²⁸ «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, I, М., 1935, От редакции.

В конце 30-х годов возникает идея создания многотомного «Словаря современного русского литературного языка», а в начале 50-х годов задумывается и начинается составляться четырехтомный «Словарь русского языка» — словарь среднего типа. Семнадцатитомный «Словарь современного русского литературного языка» (Большой академический словарь) был издан в 1948—1965 гг., а в 1957—1961 гг. выходит в свет четырехтомный «Словарь русского языка» (Малый академический словарь). Создание этих словарей завершает целый этап в истории русской академической лексикографии.

О достоинствах и недостатках Большого и Малого академических словарей уже немало говорилось и писалось. Им посвящен целый ряд статей, диссертационных работ, они были предметом обсуждения ряда специально созванных конференций и симпозиумов²⁹.

Семнадцатитомный (Большой академический) словарь занимает особое место среди толковых словарей русского языка. Это самый полный словарь русского литературного языка (в нем объяснено 120 480 слов). Он создавался на основе фактического материала, извлеченного из наиболее важных литературно-художественных, публицистических, научно-популярных и научных произведений XIX—XX в. По замыслу составителей словарь охватывал «все лексическое богатство русского литературного языка от эпохи Пушкина до наших дней» (I, стр. III). Все это богатство лексико-фразеологического материала получило всестороннюю и глубокую семантическую, грамматическую и стилистическую характеристику в соответствии с уровнем лингвистической теории времени создания словаря. Особую ценность имеет показ сочетаемости слов и богатый иллюстративный материал, сопровождающий каждое значение, каждый оттенок значения и употребление слова. Это делает словарь незаменимым пособием не только для различного рода справок, но и для исследования лексических, грамматических и стилистических процессов в русском литературном языке XIX—XX вв.

Завершение работы над Большим академическим словарем русского языка явилось огромным событием для всей русской советской культуры и было воспринято обществом как важное событие национального масштаба. Словарь подводит итог исканиям и попыткам прошлого «осмыслить сокровищницу родного слова» (В. В. Виноградов) и открывает перспективу будущих исканий в этой области. Значение словаря состоит и в том, что он своим содержанием и организацией работы над ним оказывает огромное воздействие на многонациональную лексикографию страны Советов.

Труд большого коллектива словарников по созданию семнадцатитомного словаря был отмечен Ленинской премией в 1970 г. Лауреатами Ленинской премии стали С. П. Обнорский, В. И. Чернышев, Е. С. Истрина, Ф. П. Филин, С. Г. Бархударов, А. М. Бабкин.

Малый академический словарь по своему типу и назначению близок к «Толковому словарю» под ред. Д. Н. Ушакова. Он, отражая изменения в лексике русского литературного языка с 30-х годов нашего века, строже, чем Большой словарь, придерживается нормативных установок в отборе лексики и в характеристике ее семантической и стилистической сторон. Большой и Малый академические словари русского языка явились базой

²⁹ См., например: Ф. П. Ф и л и н, О новом толковом словаре русского языка, ИАН ОЛЯ, 1963, 3; Ю. С. С о р о к и н, О нормативно-стилистическом словаре современного русского языка, ВЯ, 1967, 5; А. М. Б а б к и н, Лексикографическая работа и пути ее обновления, ИАН ОЛЯ, 1965, 5; В. В. В и н о г р а д о в, Семнадцатитомный академический словарь современного русского литературного языка и его значение для советского языкознания, ВЯ, 1966, 6, и др.

для составления целой серии специальных словарей. Начиная с 50-х годов в АИ ведется лексикографическая работа в двух направлениях: с одной стороны, создаются словари, призванные быть пособиями по культуре речи, по современному литературному словоупотреблению для широких кругов читателей, а с другой — составляются лексикографические труды специального назначения, которые должны стать источниками для изучения истории языка и диалектологии, для этимологических и т. п. исследований.

В советском языкознании впервые выдвигается и теоретически обосновывается идея создания системы словарей русского языка, словарей разного типа и назначения. Эта идея постепенно претворяется в жизнь. В пятидесятые годы Институтом русского языка АН СССР были подготовлены и изданы два словаря-справочника — «Русское литературное ударение и произношение» (1955) и «Орфографический словарь русского языка» (1956). К несомненным достижениям советской лексикографии принадлежит четырехтомный «Словарь языка Пушкина» — первый в нашей стране полный словарь языка писателя. Идея создания словаря великого русского поэта — основоположника современного литературного языка — возникла еще в сотую годовщину со дня рождения Пушкина — в 1899 г. Но только в советское время она смогла осуществиться.

В 1970—1971 годах выходит в свет двухтомный «Словарь синонимов русского языка», представляющий собою первый в отечественном языкознании опыт полного описания синонимов русского языка. На основе двухтомного «Словаря синонимов» подготовлен однотомный синонимический словарь, находящийся в настоящее время в печати.

Хорошим пособием по культуре речи является вышедший в 1973 г. словарь-справочник «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка». В 1971 г. опубликован первый опыт словаря-справочника «Новые слова и значения», который содержит около 3500 новых, не вошедших в толковые словари русского языка слов и значений. Начато составление двухтомного словаря русской фразеологии, обсуждаются теоретические вопросы составления тематического («идеографического») словаря русского языка.

За последние два десятилетия в нашей стране значительно оживилась работа по собиранию и изучению диалектной лексики и по ее лексикографической обработке. Это объясняется прежде всего внутренними потребностями русского языкознания и связано с необходимостью привлечения диалектных данных в исследовании по русской и славянской лексикологии. В эти годы появляется ряд региональных словарей, а с начала 60-х годов началось составление капитального труда — «Словаря русских народных говоров», в котором обобщаются материалы по диалектной лексике и фразеологии, собранные в XIX—XX вв.

В русском языкознании давно уже ощущается острая нужда в исторических словарях. К сожалению, эта отрасль академической лексикографии продолжает оставаться наименее разработанной. В настоящее время ведется составление «Словаря древнерусского языка XI—XIV вв.», «Малого древнерусского словаря XI—XVII вв.», первый выпуск которого находится в печати, и «Словаря русского языка XVIII в.», издается Словарь-справочник к «Слову о полку Игореве». Пока же самым надежным лексикографическим пособием по древнерусской лексике остаются «Материалы для Словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского.

Особенно широкий размах русская академическая лексикография приобрела в последнее десятилетие. В Институте русского языка АН СССР в настоящее время подготавливается, публикуется или переиздается около двадцати словарей. Среди них есть и капитальные издания, рассчитан-

ные на сравнительно узкий круг читателей (три больших исторических словаря, этимологический словарь славянских языков, словарь русских народных говоров и некот. др.), и словари массового назначения (орфографический, орфоэпический, синонимический, словарь трудностей и вариантов, словарь русского языка для иностранцев, словарь русской фразеологии, справочник «Новые слова и значения», словарь языка советской поэзии и др.). Начата подготовка к созданию полного словаря языка В. И. Ленина. Этот словарь будет иметь огромное культурное и политическое значение.

Центральной проблемой русской академической лексикографии по-прежнему остается создание нормативно-стилистического словаря современного русского литературного языка. Предыдущие толковые словари советского времени не выполнили во всем объеме этой задачи. Все они «являются не только пособием, раскрывающим образцовые нормы употребления лексики русского литературного языка в ее современном состоянии, но и лексикографическим справочником, призванным помогать читателю правильно понимать произведения русской литературы, начиная со времен Пушкина»³⁰. Новый академический словарь не должен быть только вариантом одного из предыдущих словарей, так как в роли справочных пособий по лексике русского литературного языка они себя вполне оправдывают.

Идея нового нормативно-стилистического словаря, представляющего в более строгих границах современное словоупотребление, высказывается Ф. П. Филиным. Как показывает история русской лексикографии, назначение любого большого словаря, особенности его составления определялись временем, в которое он создавался, зависели от этапа развития нации, ее общественного устройства, науки, искусства, от уровня развития языкознания. Наше время выдвигает перед словарями русского литературного языка основную задачу — быть активным пособием по культуре русского языка. Эту задачу в свое время выдвинул В. И. Ленин, предложив составить словарь для учения всех³¹. Создание такого словаря связано с определенными трудностями теоретического и практического характера. Оно предполагает решение таких проблем, как хронологические границы словаря, словник, нормативность, толкование, подача фразеологии и мн. др. Оно предполагает также накопление лексических материалов, отражающих процессы, протекающие в современном языке³².

Со времени выхода в свет САР словарная работа в Академии наук продолжается непрерывно. Академическая лексикография определяла и определяет основные направления всей русской лексикографии, с нею связаны важнейшие достижения в создании русских словарей. За два века были созданы толковые, исторические, областные (диалектные) словари, каждый из которых явился событием не только в филологической науке, но и во всей культурной жизни России.

Словари появлялись как ответ на запросы общества в справочниках по современному словоупотреблению, они отражали состояние языка в данный период и уровень его научной разработки. Эта тесная связь лексикографии с повседневной жизнью продолжает быть основным условием развития словарного дела в наши дни. Ядро лексикографии, ее основу составляют толковые словари современного литературного языка. Ка-

³⁰ Ф. П. Филин, О новом толковом словаре русского языка, стр. 179.

³¹ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 51, стр. 192.

³² О проблемах и трудностях, связанных с созданием такого словаря, см.: Л. В. Щербач, Опыт общей теории лексикографии, ИАН ОЛЯ, 1940, 3; Ф. П. Филин, указ. соч.; Ю. С. Сорокин, указ. соч.; А. М. Бабкин, Проспект нового академического словаря, Л., 1971.

питательные толковые словари являются базой для многих специальных филологических разысканий. С другой стороны, их достоинства находятся в прямой зависимости от успехов разработки языкознания.

В создании больших словарей русского национального языка в прошлом принимали участие наши лучшие филологи, писатели и деятели культуры: Ломоносов, Фонвизин, Державин, Богданович, Лепехин, Востоков, Срезневский, Лобанов, Поленов, Бередников, Давыдов, Грот, Шахматов, Ушаков, Щерба, Чернышев, Обнорский, Виноградов. Ожегов, Ларин и др. Составление толковых словарей русского языка всегда было делом всей Академии наук. Так было и при создании семнадцатитомного словаря, в редакционную коллегию которого входили крупнейшие филологи 40—50-х годов, а в качестве консультантов выступали президенты АН СССР акад. В. Л. Комаров и акад. В. В. Вавилов, академики Л. С. Берг, В. И. Вернадский, Б. Д. Греков, В. И. Губкин, А. М. Деборин, И. Ю. Крачковский, И. И. Мещанинов, Д. В. Наливкин, Л. А. Орбели и др. Все это, безусловно, способствовало улучшению качества словаря и повышало его авторитет. Было бы весьма полезно возродить такую практику.

Опыт академической лексикографии свидетельствует, что и самые лучшие словари не бывают безукоризненными в своих первых изданиях. Простое переработанное переиздание словаря современного языка или переиздание его с незначительными поправками и улучшениями, как правило, не оправдывает себя, ибо второе издание в этих случаях уже не отражает состояние языка данного времени, особенно в эпоху, отличающуюся быстрым темпом языковой эволюции.

К сожалению, опыт советской лексикографии, в частности опыт работы над семнадцатитомным и четырехтомным словарями русского языка, до сих пор остается мало обобщенным и теоретически осмысленным. А между тем этот опыт включает в себе немало ценного и поучительного. Представляется существенным и необходимым создание такого критического обобщающего труда, который подвел бы итоги работы над словарями современного русского языка и вместе с тем наметил бы в более конкретном и широком плане перспективы работы над новыми типами словарей современного языка. Это тем более необходимо, что в наше время приходится встречаться с попытками недооценки достижений советской русской лексикографии.

А между тем многие теоретические вопросы составления словарей были подняты и в известной степени решены именно в нашем языкознании. Так, например, нормативно-стилистическое направление, широко и последовательно проведенное в словаре под ред. Д. Н. Ушакова, оказало влияние не только на русскую и советскую, но и на зарубежную лексикографию. Опыт широкого показа сочетаемости слов также достаточно отчетливо проявился в наших словарях, в частности в Большом академическом словаре. Теперь, как известно, идея показа различного рода сочетаемости завоевала всеобщее признание. В русском языкознании была создана целая серия «Проектов» и «Инструкций» словарей, представляющих собой ступок лексикографической и лексикологической теории.

Историю лексикографии невозможно рассматривать в отрыве от истории развития языкознания, и прежде всего таких ее отраслей, как лексикология и семасиология, стилистика и грамматика, история литературного языка, а также от конкретных исследований отдельных групп лексики; история лексикографии теснейшим образом связана с историей развития науки, культуры, образования.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

О. С. АХМАНОВА, И. Е. КРАСНОВА
О МЕТОДОЛОГИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Изучение методологических вопросов приобретает особую важность в связи с обострившейся в последнее время идеологической борьбой в общественных науках вообще и в языкознании в частности. Большое распространение получил субъективистский сциентизм, который, исходя из наукоучения Э. Гуссерля, ищет средства сделать «научными» все сферы человеческой жизни и даже пытается представить дело таким образом, будто мировоззренческие, идеологические вопросы не имеют отношения к частным, конкретным проблемам, рассматриваемым той или иной наукой, т. е. фактически лишает науку ее социально-общественной значимости. Такие попытки противопоставить «объективные» конкретно-научные исследования их философскому, «идеологическому» (и потому якобы произвольному и субъективному) осмыслению, по существу, являются завуалированным выражением борьбы против марксистско-ленинского мировоззрения. Оттого, что эта борьба принимает скрытые формы, она не становится ни менее опасной, ни менее острой. Напротив, в наши дни приобретает особое значение завет В. И. Ленина о необходимости хранить чистоту марксистской идеологии: по словам В. И. Ленина, только сознательный сторонник диалектического материализма может выдержать борьбу против натиска чуждых нам идей¹. Поэтому советские ученые, отчетливо осознавая, сколь опасными последствиями чреват попытка лишить науку философско-мировоззренческих аспектов, ведут с подобными тенденциями непримиримую борьбу. Примером такой борьбы, ведущейся с позиций диалектического и исторического материализма, могут служить выступления советских философов на XV Всемирном философском конгрессе².

Идеологическая борьба, о которой идет речь, может по-разному проявляться в различных общественных науках. В частности, в языкознании она может выражаться в попытках оторвать науку о языке от филологии как науки, изучающей духовную жизнь и культуру народа преимущественно в словесном ее выражении. Такое противопоставление языкознания

¹ См.: В. И. Ленин, О значении воинствующего материализма, Полн. собр. соч., 45, стр. 23—33. Об актуальности этого философского заветания Ленина см. № 3 журнала «Вопросы философии» за 1972 г., посвященный 50-летию работы «О значении воинствующего материализма», особенно передовую «Философские заветы В. И. Ленина и современность».

На важность идеологической борьбы с чуждыми марксистским течениями в языкознании указывая еще А. В. Луначарский в предисловии к кн. Р. О. Шор «На путях к марксистской лингвистике» (М.—Л., 1931). См. также: Е. Д. Поливанов, Проблема марксистского языкознания и языкологическая теория (тезисы доклада), в его кн.: «Статьи по общему языкознанию», М., 1968, стр. 176; В. В. Виноградов, Развивать советское языкознание на основе марксистско-ленинской теории, Пр. 6 VI. 50.

² См.: Н. П. Федосеев, Итоги XV Всемирного философского конгресса, ВФ, 1973, 12. Против попыток идеологизации науки вообще и языкознания в частности активно выступают и ведущие советские языковеды. См.: Ф. П. Филин, О некоторых философских вопросах языкознания, в кн.: «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания», М., 1970; его же, Заметки о состоянии и перспективах советского языкознания, ВЯ, 1965, 2; Р. А. Будагов, Человек и его язык. М., 1974; В. И. Абаев, Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке, ВЯ, 1965, 3; его же, Языкознание — общественная наука, «Русская речь», 1971, 5.

и филологии закономерно ведет к выхолащиванию гуманитарной, «человеческой» сущности языкознания и к исключению его из комплекса гуманитарных наук вообще.

То, что такой подход в последнее время получил довольно широкое распространение, объясняется, по нашему мнению, следующими основными причинами.

1. Поскольку каждое конкретное лингвистическое исследование в советском языкознании строится на основополагающих принципах диалектического и исторического материализма, авторы таких исследований часто ошибочно полагают, что этим и должна ограничиваться их связь с философскими и идеологическими проблемами. Между тем необходимо, чтобы результаты анализа конкретного языкового материала получали бы и философское осмысление, т. е. конкретное лингвистическое исследование затем преломлялось бы через призму марксистско-ленинской философии. Понятно, что имеется в виду не введение в работу отдельных фраз и цитат из классиков марксизма-ленинизма, а последовательное применение принципов марксистско-ленинской диалектики в языковедческих исследованиях³.

Очень жаль, что оказалась незаслуженно забытой традиция, начало которой было положено на заре советского языкознания, в 20—30-е годы, в работах В. В. Волошинова «Марксизм и философия языка» (Л., 1929), Р. О. Шор «На путях к марксистской лингвистике» (М.—Л., 1931) и особенно в книге Е. Д. Поливанова «За марксистское языкознание» (М., 1931), где была сделана попытка не только определить задачи и характер деятельности лингвистов-марксистов, но и показать, что марксистское языкознание представляет собой новый, качественно высший этап в развитии науки о языке.

Недостаточное внимание к проблемам «лингвистического мировоззрения» наглядно проявляется в том, какое место отводится вопросам общественной сущности языка и марксистскому подходу к исследованию языковых явлений в курсе введения в языкознание. В то время как в первых советских учебниках (например: Р. О. Шор и Н. С. Чемоданов, Введение в языковедение, М., 1945; Л. А. Булаховский, Введение в языкознание, М., 1953; А. С. Чикобава, Введение в языкознание, М., 1953) эти проблемы представлялись как центральные, стержневые, и на них строился весь курс, в новейших учебниках и пособиях они оказались как бы отодвинутыми на второй план, а основное внимание сосредоточено на собственно, или узко лингвистических проблемах, трактуемых вне связи с их общественной и идеологической значимостью⁴.

Такое положение вещей нуждается в коренном пересмотре. При этом пересмотр не должен быть формальным, он должен затрагивать не только чисто количественное, пропорциональное соотношение «микро-» и «макролингвистических» проблем в курсе введения в языкознание, но и предусматривать изменение всего построения курса. По-видимому,

³ Попутно следует заметить, что назрела необходимость переиздания сборников высказываний классиков марксизма-ленинизма о языке, которые давно стали библиографической редкостью. Мы имеем в виду такие работы, как: Т. Л о м т е в, Я. Л о я, Ленинская хрестоматия о языке, М.—Л., 1932; «Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин о проблемах языка и мышления», Л., 1933; Б. В. Я к о в л е в, Классики марксизма-ленинизма о языке и стиле, в кн.: «Язык газеты. Практическое руководство и справочное пособие для газетных работников», М.—Л., 1941.

⁴ См., например: Э. Б. А г а я н, Введение в языкознание, Ереван, 1959; В. Н. П е р е т р у х и н, Введение в языкознание. Курс лекций, Воронеж, 1973. Еще более показателен в этом отношении учебник «Основы языкознания» Ю. С. Степанова (М., 1966), где вопросы, связанные с социальной сущностью языка, его человеческой природой, вообще не рассматриваются.

следует не начинать с философского обобщения языковых явлений, а наоборот, идти от конкретных языковых фактов к выведению (на основе их теоретического осмысления) категорий марксистского языкознания. Иными словами, марксистское философское обобщение языковедческих проблем должно не предварять курс в виде некоторых общих положений, которые по сути дела никак не связаны с последующим, уже «чисто лингвистическим» изложением, а напротив, являться его логическим завершением, вооружающим будущих лингвистов подлинно научной, передовой методологией исследования. Именно такое построение курса в свое время отстаивал выдающийся советский лингвист Е. Д. Поливанов, создавая принципиально новый тип учебника по марксистскому языкознанию⁵.

Необходимость такой перестройки диктуется еще и особой важностью курса «Введение в языкознание», который должен служить методологическим фундаментом всех последующих лингвистических курсов⁶.

2. Слишком мало работ, специально посвященных разбору и оценке с марксистско-ленинских позиций новейших направлений и школ в современной зарубежной лингвистике. Это приводит к тому, что некоторые лингвисты, не будучи в состоянии дать правильное материалистическое истолкование того или иного направления, некритически используют методы и приемы исследования, которые по своей гносеологической сущности неприемлемы и даже открыто враждебны марксистскому языкознанию.

3. Неправильное понимание роли и задач гуманитарных наук, их участия в научно-технической революции выражается в искусственном перенесении в них методов, характерных для технических и естественнонаучных дисциплин, в стремлении развить их по образу и подобию точных наук. Это ведет к возрастанию формализации гуманитарных наук, в частности языкознания, где в связи с этим возникает реальная опасность преувеличения роли лингвистической абстракции, ложного представления о том, что сама эта абстракция есть лишь чистый продукт человеческого мышления, якобы не имеющий никакой связи с конкретной действительностью⁷. При таком подходе языкознание начинает ошибочно пониматься как чисто дедуктивная наука, и предметом его изучения в этом случае является уже не «человек и его язык», а некие гипотетические построения, якобы раскрывающие общие логические закономерности функционирования «языкового механизма».

*

Для того чтобы показать, что филологическая сущность языка, его связь с человеком — его носителем — неизменно обнаруживается во всех языковых проявлениях, мы обратились к словообразованию: имен-

⁵ См.: Е. Д. Поливанов, Введение в языкознание для востоковедных вузов. I, «Уч. зап. [Ленингр. восточного ин-та им. А. С. Енукидзе]», 31, 1928, стр. V.

⁶ См. по этому поводу: А. А. Реформатский, Курс «Введение в языкознание» на филологических факультетах университетов и на литературных факультетах педагогических институтов, ВЯ, 1952, 4; Р. А. Будагов, К постановке курса «Введение в языкознание» в высшей школе, там же; М. Н. Петерсон, Задача курса «Введение в языкознание», ВЯ, 1953, 4.

⁷ Философское обоснование этих процессов дается в книге «Диалектика познания и современная наука» (М., 1973); см. особенно: М. М. Розенталь, Теория познания и наука, их взаимодействие, стр. 4—59; а также: «Проблемы философии и методологии современного естествознания» («Труды II Всесоюзного совещания по философским вопросам современного естествознания, посвященного 100-летию со дня рождения В. И. Ленина»), М., 1973 (см. особенно доклады В. А. Амбарцумяна и В. В. Казютинского, П. В. Кошкина, Б. М. Кедрова, А. И. Берга, А. Г. Спиркина); П. В. Кошкин и н., Диалектика, логика, наука, М., 1973 (см. особенно Раздел II — Вопросы гносеологии и логики научного познания; Раздел III — Мышление и язык).

но этот раздел языкознания, как нам кажется, позволяет наиболее наглядно продемонстрировать соотношение формального и филологического подходов к явлениям языка. В последнее время получил широкое распространение взгляд, согласно которому изучение словообразовательных отношений должно состоять в чисто формальном, структурном рассмотрении той или иной словообразовательной модели. В этом случае словообразовательная продуктивность понимается как «динамический стереотип», «работающий в языке», как регулярное воспроизведение некоторой структурной модели, как механическое соединение в речи морфем согласно некоторому набору правил.

Из сказанного отнюдь не следует, что попытки структурного моделирования должны быть совсем изгнаны из языкознания. Однако нельзя считать, что им принадлежит ведущее место в словообразовательном исследовании. В этой связи нельзя не отметить, что в недавно вышедшем коллективном труде Института языкознания АН СССР «Общее языкознание. Внутренняя структура языка» словообразование рассматривается как «особая область языкового моделирования», и основной задачей лингвиста в этой области считается «изучение закономерностей и особенностей словообразовательного моделирования (конструирования вторичных образований, выражающих словообразовательное значение)»⁸.

Однако такой подход к словообразованию, фактически игнорирующий социальный фактор в языке, отбрасывающий его как ненужную обузу, не дает ответа на некоторые очень важные вопросы. Как влияет общественная, человеческая природа языка на функционирование словообразовательных единиц? Каково соотношение между абстрактной, инвариантной моделью и конкретными случаями ее реализации? Какие факторы в естественном языке могут помешать реализации в речи словообразовательной модели? Кто, в какой ситуации, с какой целью реализует модель в речи, создает окказиональные слова на ее основе?

При более детальном рассмотрении формалистические методы оказываются неприемлемыми для нашего исследования, ставящего цель взглянуть на словообразовательные факты с точки зрения человека, их использующего. Признавая всю важность структурного изучения зафиксированных в языке лексических единиц, моделирования словообразовательных гнезд, анализа организации словообразовательных рядов и т. п., мы тем не менее преследуем другую задачу: попытаться понять словообразование как процесс, как живое свойство живого человеческого языка.

Где же, в таком случае, следует искать метод исследования? Действительно, имеется ли в распоряжении советского языкознания свой метод анализа и исследования языка? И если имеется, то где, в каких работах можно найти его последовательное описание? Таким образом, проблема приобретает методологическое значение, и лингвист, занимающийся конкретными вопросами словообразования, оказывается перед необходимостью решить, какой путь избрать, чем руководствоваться при выборе метода.

Всем хорошо известно важнейшее положение В. И. Ленина о том, что объективное познание истины предполагает движение «от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него — к практике». Хотя это высказывание является теоретической и методологической установкой самого общего характера, оно имеет и конкретно-научное значение и находит практическое применение в любой науке, в том числе и в лингви-

⁸ «Общее языкознание. Внутренняя структура языка», М., 1972, стр. 350.

стике. Как показывают традиции русского и советского языкознания, при исследовании любых явлений языка начинать надо именно с «живого созерцания», с наблюдения и скрупулезного изучения реальных языковых фактов, а не с описания категорий и понятий. Напротив, сами эти категории и понятия следует оценивать, исходя из того, насколько они соответствуют фактам живого языка. Необходимость такого подхода применительно к лингвистическому исследованию неоднократно подчеркивалась Л. В. Щербой, который в частности писал: «с и е ш и о (разрядка наша. — О. А., И. К.) спрашивать: „что такое предложение?“ (в данном случае вместо „предложение“ можно поставить „словообразовательная модель“ или любое другое лингвистическое понятие. — О. А., И. К.). Надо установить прежде всего, что имеется в языковой действительности в этой области...»⁹.

Таким образом, любое теоретическое положение или учение должно исходить из языковой реальности и опираться на нее; в противном случае его следует отнести к области «лингвистической мифологии»¹⁰. На принципиальную важность именно такого направления исследования для марксистского языкознания указывал Е. Д. Поливанов: «... всякая наука, претендующая на участие в создании реалистического и, в частности, марксистского миропонимания, должна вытекать из фактического материала, а не сводиться к нескольким общим положениям, не связанным с конкретными фактами данной области явлений»¹¹.

Проведенное нами исследование английских производных слов показало, что наблюдаемые факты не укладываются в рамки привычных, известных представлений и категорий. Дело в том, что, согласно концепции Л. В. Щербы, правила сложения смыслов дают не сумму смыслов, а новые смыслы¹². Это наводит на мысль о том, что и в производных словах существует о с о б о е соотношение между основой, аффиксом и словообразовательной моделью, которое не может быть объяснено только их структурно-семантическим описанием. Если мы понимаем совокупное содержание производного слова только как сумму значений (или смыслов) аффикса и основы, то остаются нераскрытыми богатейшие возможности, тающиеся в самом процессе словообразования. А ведь каждое новое слово заставляет нас вдумываться в то, что кроется за ним, заставляет вдумываться в то, как выражается в языке человеческая мысль¹³.

Для исследователя, обладающего этим умением вдумываться, производное слово предстает как концентрированное выражение человеческой мысли, сообщающее гораздо больше, чем обнаруживается при его поверхностном восприятии. Прекрасным примером такого анализа содержания производных слов могут служить тонкие и вдумчивые замечания А. М. Пешковского по поводу слов *желток*, *белок*: «Первая принадлежность этих слов означает определенный цвет, вторая означает „предмет, обладающий этим цветом“, третья (здесь по звукам отсутствующая, так называемая

⁹ Л. В. Щ е р б а, Очередные проблемы языковедения, в его кн.: «Избр. работы по языкознанию и фонетике», I, Л., 1958, стр. 9—10.

¹⁰ См. об этом: В. А. Б о г о р о д и ц к и й, Этюды по психологии речи, в его кн.: «Очерки по языковедению и русскому языку», 4-е изд., М., 1939, стр. 147.

¹¹ Е. Д. П о л и в а н о в, Проблема марксистского языкознания и языкологическая теория (тезисы доклада), в его кн.: «Статьи по общему языкознанию», М., 1968, стр. 176.

¹² См.: Л. В. Щ е р б а, О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании, «Изв. АН СССР. Отд. обществ. наук», I, 1931, стр. 68; ср.: Б. А. Л а р и к, О разнообразиях художественной речи. Семантические этюды, сб. «Русская речь», I, Пг., 1923, стр. 68—69.

¹³ См. об этом: Л. В. Щ е р б а, Преподавание иностранных языков в средней школе. Общие вопросы методики, М.—Л., 1947, стр. 43. Ср.: И. И. С р е з а н е в с к и й, Замечания о первоначальном курсе русского языка, СПб., 1899, стр. 17—20.

„отрицательная“) — общую предметность, единичность и т. д. Но где же та принадлежность, которая обозначает „желтое (или белое) вещество яйц а“? Что у суффикса *-ож* не может быть такого специфически-„яичного“ смысла, ясно из того, что смысл всякого суффикса общий, а это значение является только в этих двух словах русского языка. В принадлежностях „желт-“, „бел-“ тоже никакого указания на яйцо нет. Очевидно, этот смысл создается только и индивидуальным соединением именно этих двух принадлежностей и не относится ни к одной из них в отдельности. Подобным же образом „сивяк“ обозначает не просто что-то синее, и даже не синий предмет, а синее пятно на коже, вызванное приливом венозной крови, „краснуха“ не просто красный предмет и даже не просто красную сыпь, а определенную болезнь, „варенуха“ не просто вареную пищу, а определенную кушанье и т. д., причем элементов этой специализации мы не найдем ни в одной из принадлежностей слова, а только в их соединении¹⁴.

Таким образом, еще А. М. Пешковский предостерегал лингвистов от соблазна избрать «путь наименьшего сопротивления», так как в этом случае анализ производных слов сводится к установлению мнимого изоморфизма между суммой значений компонентов производного слова и его общим содержанием. При этом игнорируется тот «элемент подразумеваемости», о котором говорил еще В. А. Богородицкий: «подразумеваются (остается невыраженным, предоставляется догадливости слушателя, угадывается) отношение между представлениями, обозначаемыми обоими членами сложения»¹⁵.

Приведенное рассуждение А. М. Пешковского относится к самым обычным, простым, общеупотребительным словам, которые встречаются буквально на каждом шагу в обиходной речи. Однако тот материал, который составлял основу нашего исследования, далеко не ограничивался подобными словами. Если в таких производных, как *желток* или *белок*, совокупное содержание целого было как бы дано заранее, известно каждому носителю языка, то в нашем материале нередко встречались случаи, когда, прежде чем говорить о соотношении морфем в пределах единого слова, нужно было сначала определить, какое содержание вкладывается в это производное. Это часто представляло значительные трудности. В самом деле, как, например, определить, что значат такие английские образования, как *touch-me-not-ishness* [«The young ladies were pretty, their manners winning, their dispositions unexceptionable; but there was a dignity in the air, a *touch-me-not-ishness* in the walk, a majesty in the eyes of the spinster aunt, which distinguished her from any female on whom Mr. Tupman had ever gazed» (Ch. Dickens)]; *oniony, tobaccoey* [«I do hope there will be no *oniony* and *tobaccoey* smotherings in the form of embracings all round, going on in the streets» (Ch. Dickens)]; *bughood* [«How do you know he's a big bug?» — „Precisely“, said Psmith. „On what system have you estimated the size of the gentleman's *bughood*?“» (P. G. Wodehouse)].

По-видимому, такого рода производные слова нельзя рассматривать изолированно, искусственно вырвав их из контекста (в отличие от примера со словами *желток*, *белок*, где такой подход был вполне уместен). В этих случаях в рассмотрение обязательно должен включаться контекст, причем понимаемый в широком смысле, а не просто как узкое лингвистическое окружение, или дистрибуция данной лексической единицы. Такое понимание контекста предполагает рассмотрение условий, в которых осуществ-

¹⁴ А. М. Пешковский, Методика родного языка, лингвистика, стилистика, поэтика. Сборник статей, Л.— М., 1925, стр. 12—13.

¹⁵ В. А. Богородицкий, Общий курс русской грамматики, 5-е изд. М.— Л., 1935, стр. 95.

вляется данный акт речи, с точки зрения их воздействия на содержание этого речевого акта, его детерминированности особенностями данной культурной общности. Отсюда следует, что анализ образований, подобных приведенным выше, не может быть узко-, или микролингвистическим: он должен быть филологическим в широком смысле этого слова. Иными словами, такой анализ должен опираться на метод филологического истолкования текста, т. е. добывания из текста нужных сведений, который в традиции русского и советского языкознания справедливо рассматривается как метод универсальный, сохраняющий свою силу независимо от того, какую конкретную цель преследует изучение текста — лингвистическую, историческую, литературоведческую и т. д.¹⁶

К сожалению, хотя указания на ценность и плодотворность такого подхода встречаются в работах многих выдающихся русских лингвистов, до сих пор он слишком редко использовался при исследовании словообразовательных явлений как метод словообразовательного анализа¹⁷. Однако, по-видимому, именно такой метод дает наиболее плодотворные результаты при попытке раскрыть подлинную сущность новообразований, подобных приведенным выше. В преимуществах такого подхода нас еще раз убедил блистательный по тонкости и глубине проникновения в творческий замысел художника этюд известного русского филолога и литературного критика А. Г. Горнфельда «Об одной фамилии у Льва Толстого». Несмотря на то, что автор вовсе не ставил своей целью провести специальное словообразовательное исследование, его небольшая по размерам «филологическая зарисовка» дает несравненно больше для понимания истинной сущности словообразовательных процессов, чем многие работы, посвященные «выявлению структурно-типологических особенностей словообразовательных моделей», «описанию закономерностей словообразовательного моделирования» и т. п. И сделано это на материале одного слова, которое, по словам критика, выражает «целое мировоззрение. Надо быть Львом Толстым, надо быть громадным, стихийным художником, чтобы втиснуть в одно выдуманное словечко такую массу меткости, чтобы сделать одно прозвище так бесконечно выразительным, так характерным для того, кто его бросил, для его личности и для его среды»¹⁸.

В начале своего исследования автор делает то, что, употребляя современную лингвистическую терминологию, мы вправе были бы назвать «анализом по непосредственно составляющим», — дает подробное семантико-стилистическое описание составляющих слово компонентов. Однако он не ограничивается этим: следующий его шаг — обобщенная интерпретация того образного содержания, которое вкладывается писателем в избретенное им слово. При этом такая интерпретация не сводится к чисто лингвистическому толкованию. По глубокому убеждению критика, для полного понимания сложного содержания, вложенного Толстым в при-

¹⁶ См. об. этом: Г. О. Винокур, О задачах истории языка, в его кн.: «Избр. работы по русскому языку», М., 1959.

¹⁷ Новейшие исследования в этом направлении, которые ведутся на материале русского языка (например: Н. М. Шанский, Лексикология современного русского языка, М., 1972; Е. А. Земская, Современный русский язык. Словообразование, М., 1973; А. Г. Лыков, Русское окказиональное слово. АДД, М., 1972; Эр. Хипра, Окказиональные элементы в современной речи, в кн.: «Стилистические исследования», М., 1972), успешно продолжают традицию, восходящую к известным работам: В. В. Виноградов, Русский язык, 2-е изд., М., 1972; Г. О. Винокур, Маяковский — новатор языка, М., 1943; А. И. Ефимов, Стилистика художественной речи, 2-е изд., М., 1961; А. Н. Гвоздев, Очерки по стилистике русского языка, М., 1965.

¹⁸ А. Г. Горнфельд, Об одной фамилии у Льва Толстого, в его кн.: «Муки слова», М.—Л., 1927, стр. 99.

думанное им повообразование, необходимо рассмотрение широкого с о ц и а л ь н о г о контекста, тех экстралингвистических данных, которые, по-видимому, послужили толчком к созданию данного слова.

Такой или примерно такой ф и л о л о г и ч е с к и й подход к изучаемому материалу был принят за основу в нашем исследовании. Следует заметить, что такой подход в нашем случае приобретал особое значение еще и потому, что мы имели дело с англоязычным материалом. Для английского языка в высшей степени характерно широкое и полное использование разветвленной системы словообразовательных средств, тенденция к выражению любой мысли, сколь бы сложной она ни была, в пределах одного слова, которое, по мнению носителей языка, обладает гораздо большими содержательными и экспрессивными возможностями, чем словосочетание. В основе создания очень многих производных и сложных слов английского языка лежит бессознательная убежденность говорящих в том, что сказанное многими или несколькими словами никогда не бывает столь же ярко, убедительно, «ёмко», никогда не передает так полно и глубоко всю мысль, как сказанное о д н и м с л о в о м.

Неработанность такой методики исследования производных слов потребовала введения некоторых новых категорий. Здесь необходимо вспомнить известное высказывание В. И. Ленина: «Перед человеком *сеть* явлений природы... категорий суть ступеньки выделения, т. е. познания мира, узловые пункты в сети, помогающие познавать ее и овладевать ею»¹⁹. Категории языка — тоже ступеньки выделения, узловые пункты в сети явлений; их тоже нужно не произвольно и механически взять, а вывести. Поэтому нам пришлось, отталкиваясь от имеющегося материала и опираясь на те теоретические исследования, которые уже были проведены в этой области²⁰, вывести некоторые новые категории, из которых основной оказалась категория семантико-стилистической ёмкости. Название это, конечно, в значительной степени условно и не играет большой роли. Важно то, что эта категория помогает раскрыть глубину слова, его экспрессивных возможностей, помогает понять, что слово несет в себе или «таит» такие бездонные «глубины и ёмкости», такие бесконечные возможности соединения с другими словами, что нет предела его многозначности, многомерности, метафоричности, символичности.

Категория семантико-стилистической ёмкости не поддается обнаружению при использовании структурных методов исследования, поскольку они не могут и не ставят своей задачей раскрыть многомерность, метафоричность, символичность слова. Теоретическую основу выведения этой категории составляло учение В. В. Виноградова о поэтической функции языка, которая «опирается на коммуникативную, исходит из нее, но воздвигает над ней подчиненный эстетическим, а также социально-историческим закономерностям искусства новый мир речевых смыслов и соотношений»²¹.

Приведем некоторые примеры использования словообразовательных средств в контексте словесно-художественного творчества: «...He imagined the plane to be full of glass-clinking, gentle chuckling and good-natured warmth; he wanted to leap right up on it, sure it was speeding to a rich,

¹⁹ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 85.

²⁰ См., например: Б. А. Ляри, Эстетика слова и язык писателя, Л., 1974; Л. А. Булаховский, Русский литературный язык первой половины XIX века, Киев, 1957; А. И. Ефимов, *указ. соч.*

²¹ В. В. Виноградов, *Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика*, М., 1963, стр. 155; ср.: Г. О. Винокур, *Понятие поэтического языка*, в его кн.: «Избр. работы по русскому языку», стр. 390.

green suburban *cocktaily* place where hardly anyone ever „went“ » (B. J. Friedman).

Значение слова *cocktaily* в этом отрывке никак нельзя определить по значению входящих в его состав морфем: это не „похожий на коктейль“ и не „содержащий коктейль“. То, как используется здесь прилагательное *cocktaily*, представляет собой типичное проявление метасемиотической функции речи. В отличие от семантической функции языковых единиц, когда данное содержание и данное выражение функционируют как диалектически единые, но две стороны слова, при выполнении словом метасемиотической функции его содержание и выражение вместе становятся выражением для нового содержания. В таких случаях, по словам В. В. Виноградова, «происходит семантическая метаморфоза лексемы путем выделения, создания и осознания таких оттенков ее значений, которые не входят в ее общеречевую характеристику»²².

В приведенном отрывке автор описывает переживания подростка, впечатлительного, легко ранимого, страдающего от постоянной бедности и потому завидующего людям, которые уверены в себе, которые обладают богатством и высоким социальным положением. Новообразование *cocktaily* употребляется для описания недоступного мальчику мира роскоши, комфорта, светских развлечений. По выразительности это прилагательное далеко превосходит обычное определение, приближаясь к эпитету. Оно гораздо «глубже», т. е. обладает гораздо большей семантико-стилистической ёмкостью, чем может показаться, если исходить только из значения основы и суффикса. Слово это было «изобретено» автором не только для того, чтобы с его помощью сообщить читателю некоторую информацию, но и для того, чтобы придать особую стилистическую выразительность всему отрывку.

В контексте «It is, without exception, I should say, the quaintest, most oldworld inn up the river... Its low-pitched gables and thatched roof and latticed windows give it quite a story-book appearance, while inside it is even still more *once-upon-a-timey*» (Jerome K. Jerome) окказиональное слово *once-upon-a-timey* используется Джеромом К. Джеромом при описании гостиницы, которой соломенная крыша и решетчатые окна придавали сказочный вид и от которой так и веяло стариной. Ассоциации, которые пробуждает у читателя это слово, связаны с наличием определенного фонового знания, поскольку словосочетание *once upon a time*, от которого это слово произведено, — это традиционный зачин английских народных сказок (вроде русского «жили-были»). В данном случае это словосочетание оформляется в сложное слово благодаря присоединению суффикса *-ify*, который, как правило, соединяется с основами латинского или французского происхождения, образуя глаголы со значением «производить действие, обозначенное основой» (*glorify* «прославлять», *intensify* «усиливать», *purify* «очищать», *petrify* «превращать в камень» и т. п.). Неожиданность «столкновения» в пределах одного слова как будто бы столь несходных, «несовместимых» словообразующих элементов еще усиливает семантико-стилистическую ёмкость новообразования, которое как нельзя более удачно передает ту поэтическую атмосферу старинных сказок и легенд, которой окутано здание старой гостиницы.

Рассмотренные примеры представляют собой крайнее проявление того, что было условно названо «семантико-стилистической ёмкостью», и, естественно, составляют меньшую часть исследованного материала. В большинстве случаев ёмкость производных слов оказывается значительно меньшей. Количественные различия в ёмкости анализируемых лексиче-

²² В. В. Виноградов, О художественной прозе, М.—Л., 1930, стр. 67.

ских единиц позволили нам говорить о различных ступенях ёмкости, в соответствии со сложностью совокупного содержания, передаваемого через производное слово. В нашем случае таких ступеней оказалось пять, но, по-видимому, их конкретное количество зависит от исследуемого материала.

Чтобы пояснить, как проявляются различия в семантико-стилистической ёмкости, приведем примеры функционирования на всех пяти ступенях прилагательного с суффиксом *-y* (*chiffony*), поскольку именно эта модель подверглась особенно детальному рассмотрению²³:

I ступень ёмкости: *a chiffony dress* «платье из шифона или из материала, похожего на шифон». Значение прилагательного легко выводится из значений составляющих его морфем.

II ступень ёмкости: *...her arms, seen through the thin chiffony stuff...* Выделяется один из признаков, характерных для шифона, — прозрачность, и именно на этом признаке основывается сравнение: материал, прозрачный, как шифон.

III ступень ёмкости: *the chiffony look of her dress...* Прилагательное в данном контексте значит «легкий, воздушный (как шифон)» и выражает оценку.

IV ступень ёмкости: *a chiffony lady*. Здесь содержание прилагательного усложняется: это может быть и «женщина, одетая в шифон», и «женщина, одетая в легкое, воздушное платье». При этом оценка приобретает метасемiotический характер, и *chiffony* по выразительности приближается к эпитету, давая образную картину-характеристику предмета.

V ступень ёмкости: *It was one of those dressy, chiffony garden-parties*. Описание здесь отличается крайней степенью выразительности прежде всего за счет увеличения ёмкости производного прилагательного. *A chiffony garden-party* — это прием, на который женщины должны были являться в нарядных летних платьях, и поскольку нарядные летние платья обычно шьются из легкого шелка типа шифона, прилагательное *chiffony* очень удачно передает атмосферу праздничности, парадности, которой характеризовался данный прием. Признак, который в этом случае избирается для образного описания предмета, выделяется на явно ощущаемой социолингвистической основе.

Поскольку категории, обнаруженные в нашем материале, оказались очень разноплановыми, мы условно подразделяем их на «горизонтальные» и «вертикальные», имея в виду то, что они как бы пересекаются, накладываются друг на друга, образуя своего рода переплетение или сетку.

«Горизонтальный» план категоризации материала представлен категорией семантико-стилистической ёмкости. Она оказывается ведущей, так как дает возможность уловить те изменения, которые происходят при переводе лексической единицы, функционирующей на семантическом уровне, на уровень метасемiotический. Однако понимание сложного содержания, выражаемого производным словом, в большой степени зависит и от системы «вертикальных» категорий. К ним относятся: 1) категория принадлежности основы к определенной части речи; 2) категория принадлежности к тематической группе; 3) категория устойчивости — свободы; 4) категория перенесенного — неперенесенного эпитета; 5) категория мелиоративной — пейоративной оценки²⁴; 6) категория социолингвистической обусловленности. На последней следует остановиться подробнее:

²³ Более подробный материал приводится в кн.: «Patterns and productivity», ed. by Olga Akhmanova, M., 1973 (ротапринт), стр. 9—48, особенно стр. 32—35.

²⁴ Подробно и на большом фактическом материале эти категории разбираются в работе: И. Е. Кр а с н о в а, Производные прилагательные со значением оценочной характеристики предмета через его признак. КД, М. 1973.

хотя эта категория часто неправомерно игнорируется исследователями, она, по-видимому, имеет большое значение и в той или иной форме проявляется при создании любых производных слов, независимо от конкретной модели. Дело в том, что в целом ряде случаев социалингвистическая обусловленность производных слов как бы выступает на первый план. Например, в следующем предложении: «... At the very bottom of his soul he was an outsider, and anti-social, and he accepted the fact inwardly, no matter how *Bond-Streety* he was on the outside» (D. H. Lawrence) — окказиональное слово *Bond-Streety* не может быть понято без обращения к экстралингвистической действительности. Для его понимания необходимо знать, что *Bond Street* является одной из центральных, самых оживленных улиц Лондона, на которой расположено много магазинов, в частности, знаменитые магазины мужского платья. Другими словами, необходимо совершенно ясно представлять себе, что отличает *Bond Street* от других лондонских улиц и почему автор может рассчитывать на филологически и социалингвистически точное восприятие окказионального прилагательного *Bond-Streety*.

Приведенный перечень выделенных нами категорий может создать неверное впечатление, будто они существуют отдельно друг от друга, изолированно, «в чистом виде». На самом деле это, конечно, не так. В одном и том же производном слове может проявляться несколько категорий одновременно, причем одна из них может быть наиболее отчетливо выражена, в то время как другие оказываются ей подчинены.

Казалось бы, такое употребление производных слов, о котором шла речь и к которому приложима категория «ёмкости», должно связываться (как это обычно и делается в исследованиях по стилистике и литературоведению) с высшими формами речи (в частности, с поэзией) и рассматриваться на примере творчества признанных художников слова. Однако подобное использование словообразовательных средств далеко не ограничивается только высшими формами речи, а находит применение и в повседневных ситуациях человеческого общения. Ведь, по известному определению В. И. Ленина, язык есть важнейшее средство человеческого общения, и связь языка и общества, которое его использует, проявляется на всех языковых уровнях. Хотя словообразование традиционно считается одним из наиболее формализованных аспектов языкознания, ни в одной другой области лингвистики не прослеживается так явно влияние социальных факторов на функционирование языковых единиц. Изучая словообразование, которое по определению оказывается связанным с созданием новых слов, лингвист не может обойтись без обращения к экстралингвистическим факторам. Этот подход, который сейчас называется «социалингвистическим» и бурно развивается в настоящее время, восходит не только к известным исследованиям советских лингвистов²⁵, но еще раньше — к корифеям отечественной лингвистической школы²⁶. Следуя этому принципу, можно считать, что конкретный материал может быть проанализирован лингвистически, только если он поставлен в связь с общественными явлениями, особенностями жизни данного языкового коллектива, возрастными, социальными, имущественными отношениями и

²⁵ См., например: Е. Д. Поливанов, За марксистское языкознание, М., 1931; А. М. Селищев, Язык революционной эпохи, М., 1928; Р. А. Будогов, Развитие французской политической терминологии в XVIII веке, Л., 1940, и др.

²⁶ О прямой связи языка с обществом, которое его использует, см.: И. И. Срезневский, Мысли об истории русского языка, М., 1959; Ф. Ф. Фортунатов, Избранные труды, I, М., 1956; И. А. Бодуэн де Куртене, Избранные труды по общему языкознанию, I, М., 1963; А. А. Шахматов, Введение в курс истории русского языка, ч. I — Исторический процесс образования русских племен и наречий, Пг., 1916; М. М. Покровский, Избранные работы по языкознанию, М., 1959.

положением говорящих. Особую важность приобретает вопрос: кто же «делает» слова, кто занимается словотворчеством на основе той или иной модели?

Таким образом, возникает вопрос о творческом аспекте языка, который приобретает тем большее значение, что решение его находится в прямой зависимости от исходных методологических позиций исследователя, в частности, от того, как понимается им соотношение между языком и речью. Вполне понятно, что распространяющиеся теперь биологические интерпретации языка и разнообразные идеалистические положения о врожденности идей и т. п. глубоко чужды марксизму. Как явствует из работ классиков языкознания, соотношение языка и речи предстает как бесконечно сложное явление, которое, безусловно, не может быть сведено к набору формализованных, логически простых правил, априористически описываемых на основе универсальных синтаксических и семантических схем. Язык не просто «порождает» речь; он сам развивается и обогащается под ее влиянием, и это развитие, обогащение, обновление языка не в последнюю очередь происходит за счет возникновения лексических и словообразовательных инноваций, которые появляются первоначально в речи отдельных говорящих и которые могут затем быть приняты или отвергнуты языком прежде всего в зависимости от того, насколько их создание соответствует нуждам и потребностям языкового коллектива. Поэтому утверждение представителей структурализма, будто вновь создаваемые производные слова могут реализоваться в речи любого члена языковой общности, или, говоря словами М. Юнга (шведского лингвиста, который кладет в основу словообразовательного исследования принципы порождающей грамматики), будто говорящие «свободно генерируют такие производные в соответствии с некоторым набором правил»²⁷, является неверным. Как показывают исследования классиков русского и советского языкознания, большинство носителей языка в стандартных ситуациях общения ограничивается запоминанием и воспроизведением таких слов, которые уже до них были образованы и приняты языковым коллективом. Уместно привести здесь следующее замечание Л. В. Щербы: «Языковая сокровищница является неиссякаемым запасом всяких готовых мыслей, готовых шаблонов, фраз, образов и оборотов, и охотно снабжает ими своих клиентов, которые в большинстве случаев просто повторяют слышанное». Л. В. Щерба находит это вполне естественным: «Человеку в процессе повседневного общения нет времени для особого языкотворчества, и он в громадном большинстве случаев пользуется готовыми фразами»²⁸.

Следует подчеркнуть, что такое понимание творческого аспекта речевой деятельности в русском языкознании имеет давнюю традицию и восходит к известным трудам И. И. Срезневского, который говорил о существовании в языке двух постоянно взаимодействующих сил: «силы живущей» и «силы сохрнительной», и следующим образом разъяснял действие последней: «Как бы ни хорошо кто владел своим природным или чужим усвоенным языком, очень многие из приемов выразительности, которыми он может пользоваться при употреблении этого языка, не подчиняются его свободной воле ни на сколько... Он пользуется по требованию закона предания готовыми словами, готовыми условиями их образования и ви-

²⁷ M. L j u n g, English denominal adjectives, «Gothenburg studies in English», 21, 1970, стр. 14.

²⁸ Л. В. Щ е р б а, Литературный язык и пути его развития, в его кн.: «Избр. работы по русскому языку», М., 1957, стр. 134. Ср.: В. В. В и н о г р а д о в, Современный русский язык, М., 1938, стр. 121; М. Г о р ь к и й, Собр. соч., 29, М., 1955, стр. 259—260.

доизменения, их сочетания и сообразования, очень многими выражениями; может все это усваивать простым навыком, поддерживать памятью, прилагать деятельность ума только чтобы управлять ею, а волю, по внушению ума или вкуса, только для того, чтобы из готового выбирать самое пригодное»²⁹. Применение этих положений к конкретному исследованию показало, что, действительно, словотворчество в сфере тех или иных словообразовательных моделей характеризует речь не всех, а лишь некоторых социально-возрастных групп говорящих, в частности, молодежи, принадлежащей либо к средним слоям, либо к высшим группам общества³⁰.

*

Таков в общих чертах был ход данного исследования. Если теперь попытаться взглянуть на него с точки зрения теории и метода, возникает вопрос: можно ли считать его чисто эмпирическим, лишенным каких бы то ни было абстрактных построений и обобщений, не выходящим за рамки простого собирания фактов? Или в этом случае эмпирика и теория, индукция и дедукция оказываются взаимосвязанными, взаимообусловленными, составляют диалектическое единство³¹?

По-видимому, можно сказать, что данное исследование протекало как бы в трех плоскостях: от конкретно наблюдаемых фактов оно поднималось к лингвистической теории, которая представлена в трудах классиков, основоположников русского и советского языкознания (и таким образом достигалось теоретическое осмысление этих фактов)³², а затем — к философии диалектического материализма, составляющей общетеоретическую и общеметодологическую основу всякой частной науки. Однако на этом процесс не останавливался, а лишь шел как бы в обратном направлении: от общеметодологических положений диалектического и исторического материализма к лингвистической теории, а затем теоретическое осмысление языковых фактов вновь проверялось эмпирически на самих этих фактах, на практике. И по-видимому, из этой цепи нельзя выбросить ни одного звена³³. Простое собирание фактов, без какого-либо теоретического их осмысления, приводит к грубому эмпиризму, а «грубый эмпиризм, — как писал К. Маркс, — превращается в ложную метафизику, в схоластику, которая делает мучительные усилия, чтобы вывести неопровержимые эмпирические явления непосредственно, путем простой формальной абстракции, из общего закона или же чтобы хитроумно подогнать их под этот закон»³⁴. Но, с другой стороны, преувеличенное внимание к теории в ущерб фактам может привести к полному забвению языковой действительности, к отрыву от самого предмета лингвистики — языка, во всей его сложности и многообразии. Мы сознательно

²⁹ И. И. Срезневский, Замечания об образовании слов из выражений, «Зап. имп. Акад. наук», 22, СПб., 1873, стр. 243.

³⁰ Ср.: Е. В. Розен, Новое в лексике немецкого языка, М., 1971, стр. 61—62; 158—165.

³¹ О соотношении индукции и дедукции в языкознании см.: И. А. Бодуэн де Куртене, указ. соч., стр. 9; Н. В. Крушевский, Предмет, деление и метод науки о языке (прибавление к кн.: «Очерки по языковедению», II — Антропология, под ред. В. А. Богородицкого, Варшава, 1893, стр. 48).

³² Такой путь соответствует марксистской методологии исследования: по словам В. И. Ленина, «чтобы понять, нужно эмпирически начать понимание, изучение, от эмпирии подниматься к общему» (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 187).

³³ Об опасности вырывания отдельных звеньев из цепи «... → эмпирия → теория...» см.: Е. П. Никитин, Формирование теоретического мира, в кн.: В. С. Грязнов, В. С. Дынин, Е. П. Никитин, Теория и ее объект, М., 1973, стр. 58—59.

³⁴ К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., 26, ч. 1, М., 1962, стр. 64.

стремились избежать именно этой опасности, против которой в свое время предостерегал И. А. Бодуэн де Куртене, говоря о резонирующем, умствующем, априористическом, ребяческом направлении в лингвистике: «Люди этого направления... придумывают известные начала, известные априористические принципы как в общем, так и в частности, и под эти принципы подгоняют факты, поступая с ними крайне бесцеремонно... Здесь источник всевозможных бесчисленных произвольных объяснений и выводов, не основанных на индукции и свидетельствующих иногда об отсутствии здравого смысла у их виновников». Лингвистические системы, построенные на логических схемах, «могут представлять более или менее удачные измышления ученых умов, произведения логического искусства, отличающиеся гармонией и стройностью; но, насылая и искажая факты на основании узкой теории, они ни более и ни менее, как воздушные замки...»³⁵. Те или иные теоретические построения безусловно необходимы для того, чтобы с их помощью имеющиеся факты получили должное освещение. Однако теории могут меняться или развиваться в соответствии с дальнейшим прогрессом науки, а факты, обнаруженные при их содействии, остаются³⁶.

Все, сказанное до сих пор, относилось прежде всего к проведенному авторами конкретному словообразовательному исследованию. Однако, по-видимому, те ступени, через которые проходило данное исследование, характерны для научного исследования вообще и отражают необходимые этапы развития любой науки. Всякая научная дисциплина или ее отрасль развивается на трех уровнях: эмпирическом, теоретическом и общепhilosophическом. Очень жаль, что даже некоторые советские лингвисты склонны забывать о необходимости такого триединства, диалектического объединения этих трех уровней.

На современном этапе развития языкознания все чаще встречаются попытки искусственно выдвинуть на первый план теоретический уровень и противопоставить его уровню эмпирическому, объясняя это отсутствием в лингвистике адекватной теории. При этом, по-видимому, предполагается, что лингвистическую теорию можно создать одним абстрактным, умозрительным теоретизированием или размышлением, опираясь лишь на логическую силу ума и используя языковой материал в лучшем случае как отправную точку для рассуждений, построенных по всем правилам логической науки. В задачу такой теории, которая нередко мыслится как «глобальная», «всеобъемлющая», и потому противопоставляется всем существовавшим доселе «узким», «частным», «специальным» лингвистическим теориям, входит объяснение закономерностей функционирования языка, раскрытие природы того языкового механизма, или «порождающего устройства», который, по мнению представителей этого направления, лежит в основе любого вида языковой деятельности.

Задача эта, что и говорить, не из легких. Теории такого рода до сих пор действительно не было создано в лингвистике. Более того, мы позволим себе высказать предположение, что такая теория вряд ли и будет когда-либо создана. И то, что стремление к всеобъемлющему априоризму не реализовалось до сих пор даже в трудах наиболее выдающихся языковедов, объясняется не слабостью лингвистической науки, а принципиальным несоответствием этой задачи задачам языкознания. Лингвистика не может и не должна пытаться своими средствами «объяснить» язык; ее задача состоит в том, чтобы анализировать языковые факты и таким обра-

³⁵ И. А. Бодуэн де Куртене, Некоторые общие замечания о языковедении и языке, в его кн.: «Избр. труды по общему языкознанию», I, М., 1963, стр. 54—55.

³⁶ Ср.: Б. М. Эйхенбаум, Мелодика русского лирического стиха, в его кн.: «О поэзии», Л., 1969, стр. 509.

зом способствовать изучению природы и функций естественных человеческих языков³⁷.

Вывод о том, что «объяснительная» теория языка и не может быть создана в рамках лингвистики, естественно вытекает из взгляда на язык как на одну из самобытных семиологических систем, являющуюся основным и важнейшим средством общения членов данного языкового коллектива, для которых эта система оказывается также средством развития мышления, передачи от поколения к поколению культурно-исторических традиций и т. п. Если исходить из этого определения языка, становится понятным, почему лингвистика не может не включаться в комплекс гуманитарных, а точнее — филологических наук, в круг дисциплин «человековедения»³⁸. Ведь «филология, если понимать ее в настоящем смысле, наука по преимуществу человеческая, humanior: мы хотим знать человечество; а чтобы узнать его, важнее всего узнать его духовную жизнь, его мыслительность, следовательно, язык, потому что ни в чем так полно, так глубоко не выражается мыслительность и духовная жизнь человека, как в языке»³⁹.

Отличительной чертой русского и советского языкознания всегда являлось понимание тесной взаимосвязи между языком и человеком, который этот язык использует. Поэтому ведущие языковеды вновь и вновь подчеркивали мысль об «общественности» языка. Уместно в этой связи напомнить, какую глубокую озабоченность высказывал Л. В. Щерба в связи с создавшимся в языкознании положением, когда лингвисты слишком увлеклись оперированием различными абстракциями, оставив живой язык вне рассмотрения. Л. В. Щерба видел реальный выход из этого положения в том, чтобы «возвратиться к филологии, к любви к языку, как к средству выражать наши мысли и чувства»⁴⁰. При этом он еще раз подчеркивал неразрывную связь между языком и человеком — его носителем: «Я же зову любить, наблюдать и изучать человека... как единственного истинного носителя языка, как выразительного средства»⁴¹. Традиции такого подхода к лингвистике и ее объекту — языку — развиваются и сейчас в работах ведущих представителей советского языкознания.

Уже из сказанного видно, что при обсуждении того, какими путями должно вестись лингвистическое исследование, приходится выйти за рамки чисто лингвистических рассуждений и углубиться в рассмотрение методологических и шире — мировоззренческих вопросов. То, что именно эти вопросы сейчас вновь оказываются в центре внимания, отчасти мож-

³⁷ Сходная мысль выражена в недавней работе Р. А. Будагова: «Дело в том, что лингвистика нуждается не в теории вообще, ... а в теории, помогающей понять природу языка, его функции и категории, в теории, способствующей лучшему осмыслению прежде всего естественных языков народов мира во всей их сложности, во всем их многообразии» (Р. А. Будагов, [рец. на кн.:] В. А. Звегинцев, Язык и лингвистическая теория, ВЯ, 1974, 1, стр. 128). Ср.: Г. О. Винокур, Эпизод идейной борьбы в западной лингвистике, ВЯ, 1957, 2.

³⁸ См.: Е. Д. Поливанов, Введение в языкознание для востоковедных вузов, I, стр. V.

³⁹ И. И. Срезневский, Мысли об истории русского языка, М., 1959, стр. 94.

⁴⁰ Сходная мысль высказывалась Г. О. Винокуром в его книге «Культура языка» (М., 1929, стр. 85—86).

⁴¹ Л. В. Щерба, О задачах лингвистики, ВЯ, 1962, 2, стр. 98. По словам Р. А. Будагова, «только тогда, когда ученый осознает подлинно историческую природу языка и его подлинно человеческую (гуманитарную) сущность, перед ним открываются широкие возможности изучения и других сторон языка, его разнообразных функций» (указ. соч., стр. 130).

но объяснить тем фактом, что итоги последнего периода в развитии лингвистической мысли (утрата структурализмом своих позиций, серьезная критика генеративной лингвистики, неудачи машинного перевода) привели к тому, что зарубежная лингвистика оказалась в состоянии некоторого разброда. Такое положение дел в известной степени сказалось и на некоторых направлениях советской лингвистики: в определенной части работ авторы в погоне за наиболее точными, рациональными, непротиворечивыми и т. д. методами лингвистического описания, исходили из молчаливого предположения о том, что сами эти методы существуют как бы в вакууме, в полной изоляции и вне связи с общеметодологическими позициями и мировоззрением исследователя. Между тем необходимо постоянно помнить важнейшее ленинское положение о значении для науки «в он и с т в у ю щ е г о материализма». «... мы должны понять, — писал В. И. Ленин, — что без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного миро-созерцания»⁴².

Поэтому в настоящий момент особую остроту приобретает тезис о неразрывном единстве теоретических и общеметодологических, общеполитических установок, тезис марксистского языкознания, понимаемый, конечно, не в вульгарно-социологическом плане, а так, как понимали его замечательные советские языковеды Е. Д. Поливанов, В. В. Виноградов, Л. А. Булаховский и др. Именно такую традицию следует всемерно углублять и развивать в языковедческих исследованиях.

В заключение хотелось бы сказать, что длинные выдержки из работ разных лингвистов были приведены не для того, чтобы «прикрыться защитной бровью непробиваемых цитат». С их помощью мы стремились показать, что теоретическую основу конкретного языковедческого исследования можно и нужно искать в трудах классиков русского и советского языкознания, представляющих собой наивысшее достижение лингвистической теоретической мысли. Нисколько не умаляя достижений зарубежной лингвистической науки, мы все же позволим себе еще раз подчеркнуть особую важность и необходимость шире пропагандировать теоретическое наследие классиков русского и советского языкознания⁴³. Общеметодологическую же и общеполитическую основу лингвистики, как и других частных наук, составляют принципы диалектического и исторического материализма, сознательное овладение которыми обеспечивает ученым наибольший успех в специальных областях научного исследования.

⁴² В. И. Л е н и н, О значении воинствующего материализма, стр. 29—30. О том, как сам В. И. Ленин блестяще применял принцип «воинствующего материализма» при анализе событий, происходящих в обществе и науке, см.: Б. М. К е д р о в, Из лаборатории ленинской мысли. (Очерки о «Философских тетрадях» В. И. Ленина), М., 1972.

⁴³ К сожалению, до сих пор остаются справедливыми слова Л. В. Щербы: «Не могу... не посоветовать на своих соотечественников, которые признают идеи, лишь снабженные заграничной маркой» (Л. В. Щ е р б а, Очередные проблемы языковедения, в его кн.: Избр. работы по языкознанию и фонетике, I, стр. 14). Ср. также: Е. Д. П о л и в а н о в, Статьи по общему языкознанию, М., 1968, стр. 184—185.

Такое положение отчасти объясняется тем, что многие работы выдающихся русских и советских языковедов давно не переиздавались и практически недоступны широкому читателю. Поэтому особенно приятно отметить появление новой «Хрестоматии по истории русского языкознания», составленной Ф. М. Березиным, под ред. Ф. П. Филина (М., 1973), в которой извлечения из основополагающих работ классиков русского языкознания сопровождаются комментариями и критическим разбором их концепций.

О. Н. ТРУБАЧЕВ

РАННИЕ СЛАВЯНСКИЕ ЭТНОНИМЫ — СВИДЕТЕЛИ
МИГРАЦИИ СЛАВЯН

Как известно, этноним — это название народа, нации, а также племени. Древние этнонимы служили обычно названиями племен. Поскольку нас здесь интересует древний аспект этой исторической проблемы, в поле зрения нашей работы оказываются не все современные обозначения славянских наций; так, мы сознательно оставляем в стороне не имеющие четкого племенного проплого макроэтнонимы *русские* (*Русь*, *Россия*), *украинцы*, *болгары*, *македонцы*, которые могут быть предметом особого исследования. Перечисленные национальные этнонимы имеют различную историю (иногда очень древнюю), этимологически не вполне ясны (*Русь*) или имеют совершенно четкую этимологию — восходят, например, к географическим обозначениям (*Украина* — собственно «окраина») или к иноязычным названиям неславянских народов соответствующих земель. В последнем случае есть заимствования более чем тысячелетней давности (название болгар, усвоенное славянами от турков на нижнем Дунае), но есть и совсем свежие заимствования, как, например, название македонцев, принятое южнославянским народом по имени населявшего приблизительно эти же места и исчезнувшего в глубокой древности балканского, по-видимому, индоевропейского народа, о языке которого нам известно крайне мало¹.

Здесь нас интересуют этнонимы, которые так или иначе связаны с племенным этапом истории славян. Среди этих ранних славянских этнонимов есть названия, проделавшие долгий путь от племенных до национальных самоназваний, каковы этнонимы поляков, чехов, сербов, хорватов, словенцев, словаков, но есть и немало таких, которые так и остались племенными названиями, точнее сказать, в силу исторических причин могут в большинстве своем считаться забытыми и дошли до нас только в древних письменных свидетельствах. Такая случайная (иногда дефектная) сохранность одних древних этнонимов позволяет допускать бесследную утрату других, не менее древних и интересных племенных названий, которые отмирали и забывались, как это имело место и с апеллятивной лексикой славянских языков. Задача исторической славистики состоит в том, чтобы как можно полнее собрать и критически исследовать древнюю славянскую этнонимию, определить новые, современные аспекты ее изучения, внимательно оценить ее значение для внешней и внутренней истории славянских языков. Потребность в этом назрела сейчас тем более, что здесь, в этой отнюдь не новой отрасли славяноведения и славянского сравнительно-исторического языкознания сформировались устоявшиеся взгляды,

¹ Принимая во внимание вероятную иллирийскую языковую принадлежность античного македонского, можно было бы с еще большим основанием ожидать, что южнославянские народы — сербы и особенно хорваты, расселившиеся на явном иллирийском субстрате, назовутся иллирийцами. Этого не произошло, но тенденции к тому существовали, вспомним *Илюричь-Словѣне* русских летописей и исторически совсем недавнее (XIX в.) движение национального возрождения хорватов, так и именовавшее себя «иллирийским возрождением» (*Ilirski Preporod*) и оставившее по себе следы в топонимике Югославии (*Ilirski trg* «Иллирийская площадь» в Загребе и др.).

которые справедливее будет отнести к взглядам устаревшим, и давно господствует скепсис, плодотворность которого по меньшей мере сомнительна. Суть скептических воззрений сводится к тому, что все обращают внимание на повторение одних и тех же этнонимов в разных частях славянской территории, признавая одновременно невозможность каких-либо выводов из такого распространения. Попробуем, однако, разобраться в некоторых из этих вопросов, не претендуя на исчерпывающее изложение, едва ли возможное в тесных рамках журнальной статьи.

1. Славяне и Карпаты²

В этом разделе, говоря о ранних славянских этнонимах и некоторых смежных предметах, мы хотели бы вместе с тем на первое место выдвинуть два методологически важных общих вопроса: (1) определение центра ориентации древних этнолингвистических передвижений и (2) роль информации в направлении этих передвижений. Заранее отметим, что в первом случае ожидается непосредственное выражение феномена в фактах языка, тогда как во втором — скорее опосредствованное, косвенное отражение (речь тут пойдет о характере предполагаемых контактов, т. е. о своеобразном социолингвистическом аспекте). Хотя в данной статье мы не решаем проблему прародины славян, следует иметь в виду тесную связь проблемы раннеславянских этнонимов с этой знаменитой проблемой славяноведения. Как известно, место прародины славян пытаются определить (помимо исторических сведений из рассказов древних авторов, а также археологических данных) лингвистически — путем исследования древних лексических заимствований и древней ономастики (топонимии, гидронимии, этнонимии). Исследовательские процедуры и воззрения страдали и страдают, однако, при этом ощутимой механистичностью и атомизмом. Почему-то упускается из виду, что, например, совокупность древних славянских топонимов и этнонимов по всей вероятности должна была быть осмысленной совокупностью, а значит иметь центр и периферию. Оговоримся, правда, что для нас здесь важно понятие центра ориентации, а не геометрического центра (оба центра могут далеко не совпадать друг с другом, и это конкретно имело, по-видимому, место в случае с древними славянами). Центр ориентации влиял на формирование названий стран света в разных языках, и обратно — праистория самих этих названий подсказывает нам ход древней миграции соответствующего этноса. Например, известно, что др.-инд. *dākṣiṇa* «южный» одновременно означало «правый», откуда следует, что обозначавшие таким способом юг племена длительное время двигались в восточном направлении. В связи с этим думается, что левый приток Днепра — *Десна* — получила это название не от славян, которые якобы двигались к северу, имея ее справа (Шахматов) или же, называя эту реку, прибегли к эвфемизму, назвав левый приток правым (Фасмер); и то и другое маловероятно по той простой причине, что селившиеся здесь восточные славяне никогда не имели (как, впрочем, и западные) в своем языке слова **desnъ* «правый», известного на правах праславянского диалектизма только южным славянам. Похоже, что Десна получила свое название от балтов, для которых (в их продвижении к востоку) она долгое время была «правой, или южной» рекой, ср. литов. *dėšinas* «правый».

² Краткое изложение некоторых соображений на эту тему см.: О. Н. Трубачев, Ранние славянские этнонимы. I. Славяне и Карпаты, «Симпозиум по проблемам карпатского языкознания (24—26 апреля 1973 г.)». Тезисы докладов и сообщений», М., 1973, стр. 56 и сл.

Описанный выше центр ориентации в жизни древних народов был величиной исторической, т. е. мог со временем меняться. Нам кажется возможным предположение, что для праславян какое-то время таким центром служили Карпаты. Ныне уже давно Карпатские горы лежат посредине земель, населенных славянскими народами. Из этого, конечно, не следует, что так было всегда. Более того — срединное положение Карпат скорее всего представляет собой вторичный результат расселения славянских племен, как бы обтекавших эти горы с запада и востока. Само направление этих миграций, исходившее из наличия карпатской преграды, свидетельствует о том значении ориентира, которое названные горы имели для славян еще тогда, когда находились вне праславянской территории, ибо «вне пределов обитания» еще не значит «вне поля зрения», хотя исследователи прародины славян, кажется, молчаливо отождествляют одно и другое в своих опытах каталогизации того, что знали и чего не знали славяне, находясь в рамках прародины. Так, обычно из суммы известного праславянам вычитают такую реалию, как горы, горный рельеф и совершают тем самым ошибку, недооценивая преодолимость расстояний и распространение информации в древности. Праславяне знали о Карпатских горах. Образно говоря, Карпаты были слышны и видны на Волыни и в Среднем Поднепровье, подобно тому как в «Страшной мести» благодаря чуду эти далекие горы стали видны в городе Глухове и других захолустных местах гоголевской Малороссии. Других гор в подлинном смысле слова поблизости не было. Поэтому Карпаты были издревле для славян Горы *par excel lence*.

Моделируя свои представления о локализации прародины славян, современные ученые ориентируются в изучаемом времени и пространстве также по Карпатам, т. е. при всех отличиях, поступают, как некогда праславяне. Карпаты фигурируют в самых непримиримых теориях славянской прародины: по висуло-одерской теории, как и по западнобугско-среднеднепровской, они служат естественным рубежом с юга, по возрождаемой дунайской теории, эти горы, наоборот, обрамляют первоначально земли славян на севере и востоке³. Курьезно, что некоторые аналогии в духе сказанного выше просматриваются и в отзвуках эпох, близких к праславянской древности. Выше было предложено ввести в изучение славянской прародины такие понятия, как центр ориентации и роль информации в направлении племенных передвижений. В существующей литературе как бы предлагается принимать перемещения славян так, как они есть, ни мотивировка их происхождения (кроме разве смутных ссылок на многолюдие славян), ни выбор маршрутов не обсуждаются и не упоминаются. А между

³ Отголоски древнего пребывания славян на Дунае существуют и требуют изучения, а не одного лишь скептического отношения. Интерес к ним в науке будет, возможно, еще усиливаться, особенно в связи с современными поисками индоевропейской прародины где-то вблизи Дуная и Балкан. Но сразу отметим, что это самостоятельные проблемы. В самом деле, что значат знаменитые и несколько смущающие нас слова летописной «Повести временных лет» («По мнозѣхъ же времѣнѣхъ сѣли суть Словѣни по Дунави, гдѣ есть нынѣ Оугорьска земля и Болгарьска. [и] гдѣхъ Словѣнъ разидошася по землѣ...» Лавр.)? Ведь буквальный перевод гласит: «После многих времен поселились славяне по берегу Дуная...» Именно так — после многих предшествовавших времен, в течение которых они могли жить в своей прародине, которая в таком случае располагалась отнюдь не по Дунаю. Слова *по Дунаю* означают «по берегу Дуная», внятных указаний на древнее обитание славян «обабол» Дуная нет, несмотря на упоминание «и Болгарской земли». Указание летописи на то, что именно отсюда славяне «разошлись по земле», надо понимать как свидетельство о возвратных миграциях (к чему мы еще вернемся). Пока очевидно, что по ту сторону Карпат знали и о Дунае. Недавняя попытка безоговорочно локализовать прародину славян на Дунае (В. П. Кобычев, В поисках прародины славян, М., 1973) выполнена, к сожалению, с негодными лингвистическими средствами.

тем это не праздные загадки. Если мы не будем принимать в расчет возможной дальности двусторонних коммуникаций того времени и наличия информации извне, «слухов», которыми полнилась прародина славян, их миграции отсюда в отдаленные земли останутся для нас непонятными. А это были наверняка не блуждания вслепую, но целенаправленные передвижения, совершавшиеся, как нам кажется естественным предположить, по заранее разведанным, оптимальным маршрутам, передвижения, имевшие цель, ориентировавшиеся относительно отправного пункта, и это оставило следы в языке.

Показательна, например, миграция хорватов. Племенная группировка славян с этим этнонимом, далеких, восточных истоков которого мы еще коснемся, упоминается летописью где-то по соседству с древнерусскими дулебами, волянынами (*Хрвате*, Лавр. л. 5). Отдельно от них называются *Хрвате Бѣлии* «белые Хорваты» (Лавр. л. 2—3), они же — *Βελοχρωβατοι* у Константина Багрянородного, находившиеся на верхней Висле, близ Кракова, т. е. на запад от хорватов Древней Руси. Название *белые хорваты* не случайный эпитет, цветовая символика в этнонимии тесно связана с символическим обозначением стран света. Само явление у славян представлено не так ярко, как, например, у тюркских народов⁴, возможно, общением с последними оно навечно и у славян; взаимным покрывающие друг друга обозначения каракалпаков и черных клобуков (в Киевской Руси): «черный» у тюрков может значить «северный», тогда как «белый, светлый» — «западный», и тут в свою очередь надо вспомнить куманов, по-древнерусски — половцев, т. е. «светлых», действительно, далее других тюрков продвинувшихся к западу. В свете приведенных данных этноним *белые хорваты* читается нами как «западные хорваты». Иначе и, на наш взгляд, неудачно читает эту форму С. Роспонд, который видит в *Βελοχρωβατοι* (Конст. Багр.) первоначальное *Velochrobati*, т. е. «великие хорваты»⁵. Не говоря о том, что русская летопись (выше) позволяет только интерпретацию «белые хорваты», польский ученый делает тут же вторую ошибку, понимая «великий» как синонимичный значению «первоначальный, материнский», что якобы должны подтверждать примеры отношений *Magna Graecia — Parva Graecia, Wielkopolska — Małopolska* и т. д.⁶. Как раз наоборот: элементом сравнительной этнонимии (и ономастики вообще), ее типологической универсалией должно считаться наблюдение, что обозначения стран и народов с компонентом *Великий, Великая [Великая Греция, Великобритания, Великороссия, Великая Скифия]* (Лавр. л. 5: о землях между Днестром и Дунаем, позднее всего включенных в понятие Скифии)] в с е г д а относятся к области вторичной колониза-

⁴ Ср.: A. von Gabain, Vom Sinn symbolischer Farbenbezeichnung, AO, XV, 1962, стр. 114 и сл. «Белых городов», действительно, больше всего на древнем славянском западе и смежных землях, ср. серб.-хорв. *Београд*, далее — *Biograd* (на мого), еще далее — венг. *Székes-fehér-vár* (буквально «престольный Белгород, по-немецки — *Stuhlweißenburg*), в Трансданубия; сюда же кельтское название Вены — *Vindo-bona* «белый город» (A. V a s c h, Deutsche Namenkunde, II, 2, Heidelberg, 1954, стр. 49). Остатком такой географической номинации можно считать Белую Русь, собств. «Западная Русь». Есть примеры стойкой ономастологической традиции: геродотовские *Μελάγχλαροι*, букв. «черные одежды», позднее приблизительно в том же районе, видимо, долго оставшемся «крайним севером» древних славян, — *Черныгов* (а также *черные клобуки*) и наконец — *северяне, сѣверь* (Лавр. неоднократно), которое вовсе не нужно считать неславянским этнонимом (вопреки О. С. Стрижаку; см. его ст. «Сиверяни», «Мовознавство» 1973, 1, стр. 64 и сл.).

⁵ S. R o s p o n d, Struktura pierwotnych etnonimów słowiańskich, II, «Rocznik slawistyczny», XXIX, 1, 1968, стр. 26.

⁶ Там же.

ции, а не к метрополии⁷. Этот штрих тоже необходимо добавить, реконструируя древнеславянские представления о центре ориентации и соответственно — о периферии ее: так, название *Wielkopolska* получила часть Польши, более удаленная на север и запад от ранее освоенной южной части страны, близ Карпат. (Счет велся, таким образом, еще более очевидно от Карпат, чем в рассмотренном случае с белыми хорватами, этноним которых паспортизует их западное продвижение. Племенная группировка хорватов шла, таким образом, в обход Карпатских гор. Письменная история застаёт этот этноним, далее, в Чехии, в Германии и, наконец, в западной части нынешней Югославии⁸).

Была ли эта конечная цель — достигнуть Средиземноморья — у хорватов с самого начала? Вполне возможно, если вспомнить древний «Янтарный путь», связывавший Адриатику и Балтику и, конечно, пользовавшийся известностью у славян и даже балтов, хотя последних в литературе принято иногда выставить эдакими консервативными затворниками своих дремучих лесов⁹. Разве не было более прямого и короткого пути в те благословенные края? Ведь Карпатские горы имеют перевалы. Славянские переселенцы, отправляясь в путь, должны были знать и это, как, впрочем, также и то, что Карпатские горы населены чужим народом (ср. старый иллиризм в славянском — *Бескиды*, польск. *Bieszczady*¹⁰), который держал тогда в своих руках, по-видимому, и перевалы (название одного из карпатских перевалов — *Дукля* — заимствовано славянами непосредственно у иллирийцев, ср. тождественное *Дукля* в Черногории и там же — античное *Δούκλα* у Птолемея¹¹), поэтому прямой путь через горы был небезопасен.

Вероятная прародина славян — территория к северо-востоку от Карпат — не только служила отправным пунктом славянских миграций, но и сама принимала в отдельных случаях возвратные волны тех славянских племен, которые после долгих миграций как бы вновь обрели родину (возможно, перед дальнейшими передвижениями в новых направлениях). Такая возможность как-то не принимается в расчет, а между тем нет ничего более естественного, тем более, что отдельные случаи, по нашему мнению, просто нельзя объяснить иначе. Примером может служить племя, носившее имя дулебов (праслав. **dudlěbi*). Письменная история застаёт дулебов на Волины («Дулѣби живаху до Бу гдѣ ныне Величане». Лавр. л. 5), но их название ведет на запад: племя *Dudlebi* в древности было известно на юге Чехии¹², его следы отмечены в топонимии Словении, а также Германии — *Deutleben*, близ Веттина¹³. Славянский этноним **dudlěbi* имеет

⁷ О. Н. Трубачев, [рец. на кн.:] «Słownik starożytności słowiańskich», I, 2; II, 1 [з. в. *Chorwacja Biała, czyli Wielka* (G. Labuda)], «Этимология. 1965», М., 1967, стр. 388.

⁸ См.: M. G i m b u t a s, *The Slavs*, New York — Washington, 1971, Chapter III. Slavic tribal names in historic records of first centuries AD; специально см. стр. 108—109.

⁹ Полезно обратить внимание на тот факт, что латышское название обезьяны *ērms* заимствовано из этрусского *ārmios* «обезьяна» (Страбон, см.: K. M ũ l e n b a c h a, *Latviešu valodas vārdu ca. Red. J. Endzel'ns*, VIII. burtn'ca, Rīgā, 1924, стр. 571.⁹ Топонимические следы средиземноморцев-этрусков на Балтике также вероятны. См.: T. L e h r - S p l a w i ŋ s k i, *O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian*, Poznań, 1946, стр. 86—87. О «Янтарном пути» см.: J. C z e k a n o w s k i, *Wstęp do historii Słowian*, wyd. 2, Poznań, 1957, passim. Для аналогии приведем еще суждение германиста о германских передвижениях: «Пример готтов, рассказы о более легкой жизни на юге... побудили гепидов тоже двинуться на юг» (E. S c h w a r z, *Germanische Stammeskunde*, Heidelberg, 1956, стр. 100).

¹⁰ О. Н. Трубачев, Названия рек Правобережной Украины. Словообразование. Этимология. Эвническая интерпретация, М., 1968, стр. 281.

¹¹ Там же, стр. 282.

¹² Л. Н и д е р л е, *Славянские древности*, М., 1956, стр. 120.

¹³ T. W i t k o w s k i, *Über die Sammlung der altpolabischen Stammesnamen*, «Четвертое заседание на Меѓународната комисија за словенска ономастика. Говори и реферати. Скопје — Охрид, 17 IX — 23 IX 1970», Скопје, 1971, стр. 70.

германскую этимологию¹⁴, но ее источник надо искать не на Волыни времен готской экспансии, как думали некоторые исследователи, производя это название из герм. **leud(a)-laibaz* «народное наследство» (но тогда получилось бы слав. **tjudlěbi*, чеш. **Cudlebi*, русск. **чулебы!*) или из герм. **Dudl-eiba* «Волынь»¹⁵. **Dudlěbi* — название западногерманского происхождения, но связано оно опять-таки не с антропонимами вроде *Deilef*¹⁶, что не представляется достаточной базой для славянского племенного названия. Областью возникновения этнонима **dudlěbi* мы считаем территорию древней Тюрингии с крайне характерными для нее топонимами на *-leben* (древневерхнемецкое *-leiba*, *-leba*), заключающими в первом компоненте имя владельца или предка, например *Fallersleben*, упоминаемое в X в.¹⁷. Этот топонимический тип зародился в тесной связи с феодальным землевладением данной территории в раннее средневековье. Поскольку вскрываемая внутренняя форма соответствующих германских топонимов — «наследие (определенного) лица», делается очевидной реально-семантическая искусственность реконструкции **leud(a)-laiba* «наследие народа», не принятой нами выше по фонетическим соображениям. Возможно, в слав. **dudlěbi* скрывается герм. **daud-laiba* с этимологическим значением «наследство умершего, выморочное наследство», что хорошо вяжется с раннеисторическим процессом освоения славянами земель, покинутых одно время германскими племенами; слав. **dudlěbi* было бы тогда исторически тождественно реально существующей немецкой фамилии топонимического происхождения *Totleben*. Отражение герм. **dauda* «мертвый» в форме слав. *dud-* находим еще в словацком гидрониме *Dudváh* (1208 г.), собственно «мертвый Ваг», бассейн Вага, левого притока Дуная¹⁸. Экспансия славян в Германию была затем приостановлена, чем вызваны были обратные миграции, которые привели этническую группировку славян-дудебов снова на Волынь и дальше, на северо-восток, в потоке русских миграций. О том говорят такие факты, как русское диалектное (орл., курск., тул., ряз., калуж., влад., т. е. в основном южновеликорусское) бранное слово *дудѣб*, *дудѣп* «дурак; урод»¹⁹ и чешские, а также другие западнославянские ассоциации в русской топонимии вятичского Поочья²⁰.

Кажется ясным, что для успешного продвижения на Запад, в Германию, славянское племя должно было располагать надежными сведениями, во-первых, о том, что в этом направлении его ждет удобный, равнинный путь и отсутствуют серьезные преграды вроде Карпат, оставляемых к югу, а во-вторых — известиями о том, что на Западе хорошие земли освобождаются германцами, теснившими уже в течение ряда столетий кельтов к западу и к югу.

¹⁴ Сомнения в германском происхождении в данном случае лишены оснований (ср.: В. П. Петров, *Этногенез славян. Джерела, етапи розвитку і проблематика*, Київ, 1972, стр. 51—52), попытка исконно славянской этимологии у С. Роспонда — на **Dolěby* якобы из сложения с предлогом-приставкой *do-* (S. Rospond, *указ. соч.*, стр. 24) — элементарно противоречит тому, что известно о вокализме и консонантизме этнонима, и не может быть принята.

¹⁵ R. N a h t i g a l, «*Slavistična Revija*», IV, 1956, стр. 95 и сл.

¹⁶ Так см.: М. Фасмер, *Этимологический словарь русского языка*, I, М., 1964, стр. 551.

¹⁷ См.: А. В а с h, *Deutsche Namenkunde*, II, 2, стр. 330 и сл.

¹⁸ V. Š m i l a u e r, «*Zpravodaj Místopisné komise CSAV*», XIV, 2—3, Praha, 1973, стр. 531; е г о ж е, *Vodopis starého Slovenska*, Praha — Bratislava, 1932.

¹⁹ «Словарь русских народных говоров», под ред. Ф. П. Филина, 8, Л., 1972, стр. 253.

²⁰ Подробнее см.: О. Н. Трубачев, *Етимологічні спостереження над стратегією ранньої східнослов'янської топонімії*, «Мовознавство», 1971, 6, стр. 6 и сл.

II. Тип славянского этнонима

В известной нам литературе нет недостатка в определениях того, что можно назвать общей типологией этнонимии. Характерно, что исследователи даже на опыте анализа частных этнонимий стремятся построить по возможности универсальную схему²¹. Собранные таким путем наблюдения о семантических связях этнонимов разных народов, разумеется, полезны. Вот несколько образцов этнонимических классификаций у отдельных авторов: «Принципы этнонимии выражаются а) в пространственной ориентации аблативного характера, б) в патронимической деривации, с) в квалифицирующих характеристиках, d) в функциональной ориентации»²². Другой ученый сводит признаки этнонимов практически всех народов и племен всех времен к трем основным: *topographica*, *anthropumica*, *pluralia*²³. В составе этнонимии вычлениаются самоназвания с внутренней формой «человек», «люди», «народ», «говорящие, понимающие», «свои», далее — названия патронимические, принадлежностные, топографические, названия, описывающие внешность, занятия, обычаи, организацию, характер людей племени²⁴. Нельзя не отметить почти исключительно семантического принципа приведенных классификаций, что недостаточно для всесторонней характеристики этнических названий, которые определенным образом построены, имеют конкретную структуру, а следовательно — объединяются в типы также по формальным признакам. Такие наблюдения единичны, ср. цитировавшееся выше наличие у подавляющего большинства этнонимов категории *pluralia*. Но еще более серьезного внимания заслуживает то обстоятельство, что общности, объединяющие разноязычные этнонимы, заслонили в глазах исследователей контрастные их характеристики, в результате чего частная, или контрастная, этнонимическая типология разработана еще недостаточно. Наблюдения в этой области еще более редки, а цельные концепции отсутствуют даже у ученых, для которых вся опоматика пронизана закономерностями негативной номинации и закона ряда.

Итак, если мы обратимся к современной научной литературе с вопросом — каков тип славянского этнонима? — мы не получим ответа. Для того чтобы стало ясно, что речь идет об одной из важнейших не только лингвистических, но и культурно-исторических задач, достаточно сослаться в качестве примера на прозорливую мысль классика сравнительного языкознания Я. Гримма о том, что ни одно германское племя не было названо по крупной реке (Эльба, Рейн), поскольку это были народы, склонные к миграциям²⁵. Отличную картину наблюдаем у славян (а также кельтов, иллирийцев, фракийцев, см. ниже). Значит, единственный путь к ответу на поставленный вопрос о типе славянского этнонима — это сравнение составов славянской этнонимии с этнонимиями других народов. Удивительно, что до сих пор не произведено, например, фронтальное сопоставление славянской этнонимии и балтийской этнонимии как системно организованных совокупностей, а ведь это имеет непосредственное отношение к балто-славянской проблеме. Здесь дело не шло дальше изолированных параллелей

²¹ G. Langenfeldt, On the origin of tribal names, «Anthropos», XIV/XV, 1919—1920, стр. 296 и сл.

²² М. Павлович, Najstariji makedonsko-plemenski nazivi i principi nastanka etnonima, «Четврто заседание на Меѓународната комисија за словенска опоматика. Говори и реферати. Скопје — Охрид, 17 IX 1970», стр. 137.

²³ S. Rospond, Struktura pierwotnych etnonimow slawiańskich, «Rocznik slawistyczny», XXVI, 1, 1966, стр. 21.

²⁴ В. А. Никонов, Этнонимия, «Этнонимы», М., 1970, стр. 15—17, 19—24.

²⁵ Цит. по кн.: T. Witkowski, указ. соч., стр. 71, примеч. 6.

вроде балт. *galindai* «галинды» (собств. «окраинные»: литов. *gālas* «край»): украинцы, ср. край.

Попытаемся сопоставить обе названные этнонимии в относительно полном объеме, для чего может быть использован обзор балтийских племен и их имен от Птолемея до XIII в. у К. Буги²⁶ (сохраняется написание Буги): *lietuviai* (*žemaičiai*, *aukštaičiai*), *latviai*, *prūsai*, в том числе — *Γαλίυδαι καὶ Σουβίνοι* (Птолемей), далее, по данным немецкого хрониста Дусбурга (XIII в.), — *Pomesani* (**po-medjan* «под лесом»), *Pogesani* (**po-gudjan* «под кустами»²⁷), *Warmia*, *Nattangi*, *Sambia*, *Sembi* (букв. «свои»), *Nadrowia*, *Scalowia*, *Sudowia* («*свои»), *Bartha*, *Galindia*; *jótvingai* («*толпа, отряд»), *Dainava*, *kuršiai*, *žiemgaliai*, *sėliai*. Общее название отсутствует (объем значения лат. *Aestii* у Тацита, I—II вв. н.э., неясен, современное балты — книжное нововедение). Славянские этнонимы (ввиду их относительной многочисленности даем их обобщенно, в праславянской реконструкции, сомнительные и второстепенные случаи опускаются): **beržane*, **bužane*, **bobr'ane*, **xъrvati*, **dudlěbi*, **česi*/**česi* (**čerъ*), **čerzrěněne*, **dědošitji*, **dědošane*, **dregovitji*/**dręgovitji*, **dervjane*, **do(k)šane*, **ezeriti*, **ezerьci*, **krivitji*, **lesi*/**leši*, **l'utitji*, **lupigolva*, **lučane*, **lužitji*, **l'uto-měritji*, **milyčane*, **moravjane*, **obodriti*, **polabi*, **pol'ane*, **potom'ane*, **pyšev(j)ane*, **ržčane*, **sъrbi*, **sěverь*/**sěveri*/**sěver'ane*, **slověne*, **smolěne*, **solězane*, **sprev(j)ane*, **stodor'ane*, **strumjane*, **tiverьci*, **terbov(j)ane*, **rglitji*, **vojniti*, **vętitji*, **vislěne*, **vorni*/**vornavi*, **vъkr'ane*, **velyn'ane*. Общее название **slověne* (словообразовательные варианты опускаем как вторичные), оно фигурирует, как известно, у различных славянских племен, известно в этой форме с очень раннего времени ((*Σουβίνοι*; Птолемей, II в. н.э., *Σκλαβίνοι*, Прокопий, VI в., *Sclavini*, Иордан, VI в.); вместе с тем оно должно быть признано славянским новообразованием, полные соответствия которому (включая суффикс) отсутствуют в других индоевропейских языках. Отрембский отождествил **slověne* с названием литовской деревни *Slavėnai* на реке *Slavė*²⁸, каковое сходство, однако, обманчиво, если мы вспомним, что литовские производные на *-ėnas* могут обозначать жителей населенных мест (*Tilžė — tilžėnas*), но практически не дают названий народов (западнобалтийских **pamed-jan*, **pagud-jan* мы еще коснемся). Славянские производные на *-ėn*/**-jan* семантически гораздо шире: они охватывают и названия жителей (этноконны) и собственно этнонимы (**beržane*, **bobr'ane*, **bužane*, **čerzrěněne*, **dědošane*, **dervjane*, **moravjane* и т. д., выше), но также и своеобразные имена деятеля, ср. др.-русск. *кличане* «охотники, поднимающие дичь криком»²⁹. Производные на *-ėn* продуктивны в славянской этнонимии, где можно видеть их варьирование с другими формантами (**obodriti* — **obodrěne*³⁰, **dědošitji* — **dědošane*), с этнонимами на чистую основу (**sěveri*, *Σέβερις*, *Severes* — **sěver'ane*, сюда же — падежные формы без *-ėn*, ср. др.-русск. *Пол-не*, *Дерева-не*, но в *Пол-хъ*, в *Дерева-хъ*, Лавр.), наконец, суффикс *-ėn* может оформлять уже готовые производные этнонимы на *-itj*, например *Kryvitsani* (Пелопоннес), при *Κρυϊτωά* (Мессения), *Crivitz* (Мекленбург),

²⁶ К. В ū g a, *Lietuvių kal'os žodynas. Lietuvių tauta ir kalba bei jos artimieji giminaičiai* (то же см.: К. В ū g a, *Rinktiniai raštai*, III, Vilnius, 1961, passim).

²⁷ Ср. еще: E. F r e n k e l i s, *Baltų kalbos*, Vilnius, 1969, стр. 60.

²⁸ J. O t r e b s k i, *Die Herkunft der Bezeichnung Slověne*, «Lingua posnaniensis», VII, 1959, стр. 263—264.

²⁹ R. J a k o b s o n, «International journal of Slavic linguistics and poetics», 1/2, 1959, стр. 271.

³⁰ E. M o s k o, *W sprawie niektórych słowiańskich nazw plemiennych i przyrostka -it-*, JP, LIII, 1973, стр. 289.

др.-русск. *Кривичи*³¹. Говорит ли это в пользу реальности раннепраславянской формы без суффикса **slovi* (что вполне допустимо) или не говорит, важно иметь в виду упомянутую широту функций славянского *-ŕn-*, которое далеко не ограничивалось указанием на место, как обычно считают. Здесь, по-видимому, коренится причина того, что никто еще не обнаружил местного названия **Slova*, **Slovy*, от которого якобы произведено название **slovène*³².

Отличия балтийской и славянской этнонимий сводятся к тому, что балтийская этнонимия проще и малочисленнее по составу, не имеет общего названия для всех балтов, эквивалентного слав. **slovène*, она словообразовательно скуднее и ближе к производящим апеллитивам (ср. чистые апеллитивные основы в *galindai*, *Sembi*, *Warmia*, распространение апеллитивных основ в *Scalovia*, *Sudowia*, йотовые производные типа *lietuviai*: *Lietuva*). Четко этнонимическим формантам обладают немногочисленные производные на *-t-*: литов. *žemaitis/žemaičiai* «жмудь, жемайты», ср. *vokietis* «немец». Этнонимический формант *-n-* восточным балтам неизвестен, он выступает лишь в двух — трех периферийных западнобалтийских этнонимах — в названиях частей и племен Пруссии *Pomesani*, *Pogesani* (и, возможно, *Soudvoici*?), которые очень напоминают популярный славянский словообразовательный тип этнонимов, но вместе с тем и сами воплощают не чисто балтийский, а скорее переходный к славянскому тип.

Прежде чем высказаться определенно о типе раннеславянского этнонима, необходимо произвести, хотя бы бегло, аналогичные сравнения славянской этнонимии с племенными названиями у ряда других индоевропейских народов.

Начнем с германских (сведения, включая прагерманские реконструкции, вскрытие этимологического значения и т. д., наряду с античными записями, даются, с легкими отклонениями, на основании исследований Э. Шварца³³, прочие источники специально оговариваются ниже): *Teutones* (**Theudanoz* «жители страны народа»), **Chimbrōz*, **Ambron-*, **Wandal-* (букв. «[люди] Прекрасной долины»), **Hazdingōz* «длинноволосые», **Bur-*, **Burgundōz* «горцы, верховые», **Rug-* «(едящие) рожь», *Gutthiuda* «народ готов», **Gebedōz* «тупоголовые», **Erulaz* «знатные», *Χαρούδας* (Птоломей) «боевые», **Euthuz-* «потомки», **Warn-*, **Angl-* «(происходящие из местности „Угол“», **Reudingōz* «корчеватели», **Hult-sata-* «лесовики», **Sahsa-* «меч-нож», **Hauhōz* «высокие», *Frisii*, *Φρίσιοι* (**Frūsja-*³⁴), **Heruskōz* «коленки», **Ang(r)arii* «луговые», **Amsiwarjōz* «жители по реке Эмс», **Hansuarjōz* «жители по реке Хазе», **Tehswandōz* «правосторонние», **Ubjōz* «пышные», **Hattōz* «шапки», **Sturi-* «большие», **Sali-* «соленые», **Frank-* «свободные» (вар. «смелые»), **Swēbjōz* «свои, люди своего народа», **Sebna-* «родичи», **Kwad-* «злые», **Markomann-* «жители пограничного леса», **Wangion-* «поляне», **Alamann-* «все мужи», **Duringōz* «потомки дуров», **Ermanadurōz* «племя великих дуров», **Bajuswarjōz* «жители земли боев», **Langabard-* «длиннобородые» (так E. Schwarz, Germ. Stammesk., 191—192), **Swejōz* «свои, родичи», **Dan-* «жители долины, низины». Показательно отсутствие общего древнего самоназвания, охватывающего всех

³¹ F. Miklosich, Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen, Heidelberg, 1927, стр. 270—271.

³² М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, III, М., 1971, стр. 665.

³³ E. Schwarz, Germanische Stammeskunde, passim; е г о ж е, Goten, Nordgermanen, Angelsachsen, Bern — München, 1951.

³⁴ О. Н. Трубачев, Заметки по этимологии и ономастике (на материале балто-германских отношений), «Питання ономастики (Матеріали II Республіканської наради з питань ономастики)», Київ, 1965, стр. 18: гипотеза о родстве балт. **Frūsja-* и зап.-герм. **Frūsja-*. Ср. еще кельт. *Prausi*, название народа в Галлии (Страбон).

германцев³⁵, эту функцию лишь отчасти исполняли в разных частях германской территории этнонимы с апеллятивными основами **thiuda* «народ», **Swē* «свой, родичи». Количество ранних германских этнонимов приближается к количеству ранних славянских этнонимов (выше). Различия между ними весьма ярки. Действительно, отгидронимических производных среди германских названий племен почти нет (кроме этнонимов от названий рек Эмс и Хаза), что отличает их от славянских. Есть этнонимы, характеризующие среду обитания («лесовики», «луговые», «поляне»), далее — в большей степени местность происхождения («из прекрасной долины», «из местности „Угол“», «из пограничного леса»), чем местность обитания («жители по реке Эмс», «правосторонние», «жители страны боев»), что соответствует подвижности самих германцев. Слав. **bužane*, **potor'ane*, **oglitji*, **velyn'ane*, не говоря о многочисленных отгидронимических названиях славянских племен, — это прежде всего названия по месту обитания, а не происхождения. Исключение — этноним **obodriti*, собственно «жители по р. Одере», обозначающий племя, исторически засвидетельствованное в стороне от Одера, — лишь подтверждает правило. Германские этнонимы практически тождественны соответствующим апеллятивам, что, между прочим, нашло выражение в расцвете этнонимов — прозвищ разного рода («длинноволосые», «знатные», «боевые», «тупоголовые», «ножи», «злые» и т. п.). О том, насколько это нехарактерно для славянской этнонимии, можно судить по единственному славянскому этнониму-прозвищу с чистой лексической основой — названию племени **lupi-golva* (*Lupiglaa* в Чехии, Баварский географ, *Luppoglau*, XII в., местное название Словении, серб.-хорв. *Lupoglav*, сюда же восточнославянский гидроним *Лупоголова*³⁶), буквально «сорви-голова». Германские этнонимы, в отличие от славянских, не знают собственно этнонимических суффиксов *-t* и *-n*, но обнаруживают типично апеллятивные исходы основ, тогда как славянские этнонимы (ср. выше) ярко суффиксальны и как бы отделены от апеллятивов барьером собственной словообразовательной модели.

Кельтские этнонимы дошли до нас в значительном количестве³⁷: *Advatuci*, *Aegosāges*, *Aiduos*, *Alaunī*, *Allobriges*, *Allobrōges*, *Amaci*, *Amantini*, *Ambarrī* «племя по обе стороны р. Арап», *Ambi-āni*, *Ambibariū*, *Ambidrāvī* «племя по обе стороны Дравы», *Ambilatri*, *Ambiliāti*, *Ambilici*, *Ambisontes* «племя по обе стороны р. Иаонты», *Ambivariti*, *Ambrones*, *Anartes*, *Anatiliū*, *Anaunī*, *Belgae* букв. «набухшие, надутые», *Bellōvacī*, *Belūnī*, *Bergistanī*, *Bibr-oci* букв. «бобровые», *Bitūrigēs*, *Bōdiontici* букв. «победоносные», *Boii* букв. «страшные», *Boisci*, *Boresti*, *Brācāres*, *Brandobriči*, *Breuci*, *Breunī*, *Brigantes* букв. «горцы», *Brigianī*, *Cādurci*, *Caerūcātes*, *Caerōsi*, *Cālēdōnes*, *Camunni*, *Cantābrī*, *Carnī*, *Cātūrigēs* букв. «короли битвы», *Cātuslōgī* букв. «боевые отряды», *Cātūvellaunī*, *Cāvāres* букв. «исполины», *Celtae* букв. «вышпенные», *Cēnimagni*, *Cēnōmānī*, *Condrūsī*, *Coriosolitēs*, *Cosuanētēs*, *Cotinī*, *Daxivates*, *Diablintēs*, *Ebūrōnēs*, *Epidii* букв. «конные», *Ercūniātes*, *Gābālī*, *Gālātae*, *Gallī*, *Garylī*, *Geidumni*, *Genaunī* букв. «живущие в устье», *Graī*, *Icenī*, *Icōnī*, *Ingaunes*, *Leuci* букв. «блестящие», *Limici*, *Lingōnes* букв. «прыгуны», *Longostaletes*, *Luceni*, *Lugi*, *Lugii*, *Magellī* букв. «поляне», *Mandubii*, *Mariči*, *Marsignī*, *Mattiāci*, *Mēdiōmatricī*, *Meldī* букв. «мягкие, приятные».

³⁵ Ср.: Т. Р е к к а н е н, Тас. «Germ». 2, 3 and the Germani, «Arctos», 7, Helsinki, 1972, стр. 107 и сл. Автор прав лишь в том, что *Germani* — слово латинского происхождения. Что касается его отождествления лат. *Germani* и герм. *Sciri* «чистые», оно вызывает сомнения. Скорее *Germani* = *Suebi* «свои» (Коллиндер).

³⁶ См. еще: Ф. В е з л а j, *Onomastika in leksikologija*, «Четврто заседание на Меѓународната комисија за словенска ономастика...», стр. 18—19; его реконструкция основы **gleup* — неубедительна.

³⁷ Сведения и семантические толкования почерпнуты из кн.: А. Н о l d e r, *Alt-celtischer Sprachschatz*, I—II, Graz, 1961—1962, passim.

Mēnāpīū, Mōrīnī букв. «поморяне», *Namnētes, Nārvālī, Nēmetes* букв. «анатные», *Nervū, Nitiobrōges, Nōricī, Oxubii* букв. «горные», *Pārisīi* букв. «бравые», *Pictāvi, Pictī, Prausī, Quariates, Quarquernī, Raurīcī* букв. «с реки Рур», *Rēdōnes, Remī, Rucinātes, Rutenī, Saevates, Saiv, Sāllassi, Sallīavi, Salpinates, Samnitae, Santōnī, Scordiscī, Scottī, Sedūnī, Sēgōvellaunī, Sēgovū, Sēgūsīavī, Senones, Sēquānī* букв. «жители (берегов) Сены», *Sidōnes* букв. «мирные», *Silāres, Sindunī, Sōtiates, Sūanētes, Suessiōnes, Sunūcī, Svelterī, Talliates, Tarbellī, Tarusates, Tauriscī, Tectōsāgī, Teurī, Trībōcī, Tricōrī* букв. «три войска», *Turonī*. Перечень, приведенный здесь почти целиком, преследует цель наглядно показать, как кельтские этнонимы построены в сравнении с германскими, с одной стороны, и славянскими — с другой. У кельтов, как у германцев, немалую роль играли описательные этнонимы с апеллятивной основой («надутые», «страшные», «конные», «блестящие», «прыгуны», «приятные», «мирные»). У кельтов, как у славян, бросается в глаза наличие «речных» этнонимов (примеры — выше). У кельтов этнонимия заметно более словообразовательная по своему характеру, что сближает ее скорее со славянской этнонимией. При этом намечаются любопытные сходства префиксальных моделей (особенно замечателен параллелизм кельт. *Ambi-dravi* и слав. **Ob-odrīti*, с этимологически тождественными приставками в одной и той же функции) и суффиксальных моделей, ср. выше ряд кельтских примеров с формантом *-t*, при менее различимом участии *-n*-форманта (впрочем, ср. кельт. *Mori-ni* и слав. **potor-ēne*). У кельтов, как у славян, есть общий этноним для всей совокупности кельтских племен.

Иллирийские этнонимы ³⁸: *Autariatae* «жители (с реки) Тара», *Daesititates, Dārđanoi, Dalmatae, Ἰλλυριοί, Jārōdes/Japydes, Μεσσαίοι* «жители между речья», *Ναρήσιοι* «жители (по реке) Нарон», *Oseriates, Παίλωνες, Colapiani, Varciani, Iasi, Surapilli, Seretes, Azali, Osi, Arvates, Catari, Andizetes, Παρθῆνοι, Pazinates, Πελαγίται, Πελαγονες, Peucetii, Sardaetes, Θουάται, Labeates, Bassantes, Κορκοντοί, Curictael-tes, Rundictes*. В литературе отмечается сравнительно высокая продуктивность модели на *-t*-суффиксальное среди этнонимов Иллирии ³⁹. Исследователь иллирийских языковых остатков А. Майер специально выделяет эту иллирийскую особенность, «в то время как греческому этническим названиям на *-t*-чужды, поэтому такие племенные названия как *Βοιωτοί* «жители у горы *Βοίον ὄρος*» или *Ἄ-ποδω-τοί* «жители подножья»... обнаруживают иллирийскую структуру» ⁴⁰.

Фракийские этнонимы ⁴¹: *Βηροοί, Βιθυνοί, Βίστονας, Βοττιαίοι, Βρέναι, Γαλαίοι, Γέρραι, Γέται*, также *Γετηνοί*, племя на нижнем Дунае, к северу от Балкан, *Γόνδραι, Δαχοί/Δάχοι*, также *Δάοι/Δάοι, Δανθαλήται, Digerri, Diobessi, Δτοι, Δολίονες/Δολιόνιοι/Δολιείς, Δόλογοι, Ζηράνιοι, Ἰθωνοί, Ἰρᾶκες, Θυνοί, Καινοί, Carbilesi, Κάρποι*, также *Καρπιανοί, Celegeri, Κίκονες, Coelalaetae maiores, Κόραλλοι, Κορκίλοι, Costobocae, Κρηστανάιοι/Κρηστώνιοι/Κρηστώνες, Κρόβησοι, Λαδβησοί, Μαιδοί, Μελανδίται, Moesi, Moriseni*, племена на повтийском побережье, *Ἰβουλήσιοι, Ἰδόμεντοι, Ἰδρύσαι, Petoporiani, Πιάσαι/Pehastii*, племя, соседящее с астинами, *Saboces, Σαίοι, Σαπαίοι, Σάτραι, Σερδοί/Σέρδοι/Σαρδοί, Σιδώνες, Σινδόναίοι, Σιντιες, Σιντοί, Στρομόνιοι, Τιλатаίοι, Τράλλεις/Τράλλοι, Τρασσοί, Τρίρες/Τριήρες, Τριζοί, Τρίσπλαι, Τραχαλείς, Τραγέται*, племя на реке Тирас, *Τυρανοί*, жители города Тирас.

³⁸ См.: А. М а у е г, Die Sprache der alten Illyrier, I, Wien, 1957, passim. Этноним *Jarodes* цит. по кн.: А. Н о l d e г, указ. соч., II, стлб. 9.

³⁹ А. М а у е г, указ. соч., II, Wien, 1959, стр. 241—242.

⁴⁰ Там же, стр. 244.

⁴¹ D. D e t s c h e w, Die thrakischen Sprachreste, Wien, 1957 (= «Schriften der Balkankommission, Linguistische Abteilung», XIV).

Этнолингвистическое разграничение иллирийских и фракийских племенных названий очень затруднено ввиду того, что не сохранились сами языки. В основе этнической атрибуции часто лежит географическое положение и свидетельство древних авторов. Тем не менее из приведенного списка очевидно, что фракийской этнонимии присуща прежде всего продуктивность суффикса *-n-*. Этнонимический характер этого форманта явствует из наличия пар Γέται/Γετῆνοι, Κάριαι/Καρπῖαι, относящихся к одному и тому же этносу. Этот же формант *-en/-an-* популярен в дако-фракийских этниконах (названиях жителей): Βορδογγῆς: *Burdapa*, Δραδισαῖοι: *Драдица, Τόρας: *Toras*. Количество этнонимов на *-t-* (в отличие от Иллирии) минимально, их принадлежность к фракийскому иногда сомнительна.

Несомненна древняя сопредельность или по крайней мере близость иллирийской, фракийской и славянской языковых территорий. В другой работе мы попытались показать выход фракийской гидронимии в Среднее Поднепровье, а иллирийской гидронимии — в верхнее Поднестровье и северное Прикарпатье. Решающее и еще не до конца исследованное значение приобретает в этих вопросах сличение типов и структур этнонимии древних иллирийцев, фракийцев, славян. Иллирийско-славянским этнонимическим параллелизмом можно считать наличие *-t-*суффиксальных производных в иллир. *Autariatae, Dalmatae, Oseriates* и др. (выше), с одной стороны, и в слав. **dědošitji, *drěgvitji, *ezeriti, *krivitji, *obodriti, *vętitji* и т. д. — с другой стороны. Фракийско-славянские структурно-типологические параллели этнонимии, пожалуй, еще заметнее, чем иллирийско-славянские. Здесь имеются близкие префиксальные модели: *Pe-hastii* (выше) — **po-labi, *po-mor'ane*. Но главное, инновационное схождение относится к модели с суффиксом *-en/-an-*: Γετῆνοι, Καρπῖαι, *Moriseni, Pe-toporiani* и др. — **beržane, *bužane, *bobr'ane, *čerzpeněne, *dervjane, *tomorjane, *pomor'ane, *slověne* и др. (выше). Слависта не может не заинтересовать наличие во фракийских этнонимах точных соответствий славянским суффиксальным вариантам *-ĕn/-jan-*.

Тем не менее славянская этнонимия, обнаруживая не только эти последние, но также и упомянутые выше особенности, т. е. обладая образованиями не только на *-n-*, но и на *-t-*, занимает в плане словообразовательной типологии как бы срединное, промежуточное положение между иллирийским и дако-фракийским, что, возможно, как-то связано с древним географическим взаиморасположением соответствующих индоевропейских этносов. Разумеется, ни иллирийская, ни славянская, ни фракийская этнонимии не ограничиваются только что названными словообразовательными особенностями, которые являются лишь наиболее яркими и как бы исключительными характеристиками.

Теперь попытаемся ответить на вопрос о типе славянского этнонима, опираясь на обзор этнонимии древней индоевропейской Европы, еще не охваченной развитыми государственными образованиями. Ранний славянский этноним, как правило, не тождествен апеллятиву (исключения случаются на перифериях и объясняются индивидуально), но представляет собой четко формализованное производное, принадлежащее к той или другой словообразовательной модели; из них особенно присуща славянской этнонимии модель с суффиксом *-it-* (а также его расширением *-itj-*) и модель более поздней продуктивности с суффиксом *-ĕn/-jan-*. Описанный тип раннего славянского этнонима весьма далек от типа балтийских и германских этнонимов; он ближе к кельтской, особенно же — к иллирийской и фракийской этнонимии, занимая промежуточное положение между двумя последними. В определенном смысле эти отношения отражают отношения соответствующих языков (ср. чистые апеллятивы в роли этнонимов у герман-

цев и яркую словопроизводную оформленность этнонимов у славян), но этот раздел ономастики представляет как бы заостренный и тем самым — самостоятельный очерк общезыковых отношений, а по языкам исчезнувшим это вообще единственное и наиболее авторитетное свидетельство. Хотя речь намеренно ведется о наиболее древних этнонимах, мы не встретили ни одного примера подлинного этимологического тождества славянского этнонима с другими индоевропейскими, поэтому приходится говорить только о случаях типологического параллелизма вроде *Morini* — *Moriseni* — **ro-mor'ane*. Сказанное свидетельствует еще о том, что этнонимы (славянские, балтийские, германские, кельтские, иллирийские, фракийские) — порождение уже обособленных соответствующих этнолингвистических групп индоевропейцев; их типологические и материальные сходства (см. выше) — не генетического, а контактного происхождения. Понятно, что это лишь повышает наш интерес к этнонимам.

Что касается знаменательной (лексической) семантики этнонимии (славянской, а также сравнительной), отметим лишь семантические ограничения, как бы налагаемые этнонимической типологией. Так, например, древние славянские апеллятивы *gostь* «гость» и *talь* «заложник» известны в роли антропонимов (личных собственных имен людей), однако нам не встретились этнонимы с первоначальной семантикой «*заложники».

Мы не входим здесь в детали таких чрезвычайно важных социолингвистических и социально-исторических проблем, как связь количества этнонимов и соответствующей им численности людей (для этого еще, по-видимому, отсутствуют критерии оценки, хотя определенная зависимость обеих категорий должна быть признана с еще большей очевидностью, чем, например, признаваемая зависимость количества слов в словаре языка от численности говорящих на данном языке).

Есть еще одна особенность, которая ставит раннюю славянскую этнонимию в ранг более развитых, чем, например, балтийская и даже германская этнонимия, одновременно типологически сближая еще на один шаг этнонимию славян с этнонимиями южных индоевропейцев. Эта особенность общеизвестна, и вместе с тем она как-то игнорируется; иначе мы затрудняемся объяснить равнодушие или нежелание индоевропейцев и даже славистов извлечь очевидные и теоретически веские уроки из этого факта — из существования общего самоназвания **slavěne* «славяне». Общеизвестный факт древнего наличия единого самоназвания **slavěne* говорит о древнем наличии адекватного единого этнического самосознания, сознания принадлежности к единому славянству, и представляется нам как замечательный исторический и культурный феномен. Из числа сравнимых общих самоназваний целых этнолингвистических групп, характерных, как уже сказано, больше для южных индоевропейцев, упомянем уже называвшиеся *Celtae*, *Ἰλλυριοί*, *Θράκες* и особенно *arya-* — общее этническое имя древних иранцев и индоарийцев. Но у всех перечисленных южноиндоевропейцев общие самоназвания этого рода принадлежат скорее историческому прошлому (хотя иногда и возрождаемому искусственно), тогда как общее самоназвание славян живет до сих пор непрерывной жизнью с раннепраславянского времени.

III. Этнонимы и расселение славян

Интерпретация языковых фактов и тенденций в первых двух этюдах нашей работы (центр ориентации раннеславянских передвижений, информированность праславян о Карпатах, возможно — о Дунае и о более отдаленных местах, типологические сходства структуры ранних славянских племенных названий с племенными названиями других индоевропейцев,

основанные не на этимологическом родстве, что также вызывает мысль о контактах), предполагает одну идею, которую можно назвать главной для нашего понимания славянской этнонимии и этногенеза, — идею незамкнутости славянской прародины.

Миграционные волны славян расходились центробежно по тем же (более или менее) направлениям и путям, по которым центростремительно осуществлялся до этого культурный и этнический импорт в первоначальную Славю. Районами, посылавшими эти импульсы, как бы вызвавшие затем ответные миграционные походы славян, были примерно следующие: 1) южный берег Балтийского моря (и Полабье), откуда шли германские влияния; 2) западная часть Балканского полуострова, откуда «Янтарным путем» через Моравские ворота на север шли средиземноморские влияния; 3) восточная часть Балканского полуострова, связанная через низовья Дуная и Днестра со Средним Поднепровьем общностью трипольской культуры; возможно, также 4) Верхнее Поднепровье и земли к северу от него, где и раньше должен был пролегать путь от Балтийского моря к Черному; наконец, такой более проблематичный район, с влиянием которого мы, тем не менее, должны считаться, как 5) Приазовье — восточная часть древней Скифии и территория Сарматии, а также, возможно, иных индоевропейских народов, о следах которых мы можем пока говорить лишь приблизительно.

Один пример в связи с последним районом, упоминание которого в отношении к первоначальной Славии звучит, на первый взгляд, неправдоподобно. Однако именно там локализуется народ с названием Σέρβοι (между Кавказом и Волгой, Птолемей), *Serbi* (Плиний), созвучным этнониму **sr̥bъ*, **sr̥bi* у западных и южных славян. Историк-комментатор избирает легкий путь, считая это созвучие случайным⁴². Но почему бы уж тогда заодно не счесть «случайным» и поразительное сходство другого славянского этнонима, упоминавшегося нами ранее, — **x̥rvati* с именем собственным Χορβάδος, Χορβάδος (Танаис, надпись II—III вв. н.э.), а вместе с этим объявить случайной и территориальную близость древних форм Χορβάδος, Σέρβοι, *Serbi*? Не слишком ли много случайностей? Явно иранское имя Χορβάδος (ср. авест. *haurvatat*- «целостность», другие, тоже иранские сближения менее убедительны) не встречается в довольно богатой античной эпиграфике нигде на запад от Танаиса⁴³. Вряд ли правильно думать вместе с К. Мошинским, что в таинственном Σέρβοι представлено некое «классическое» (?) скифское **serv-*, давшее позднее **x̥arv-*, откуда **Xarvat*-⁴⁴, поскольку известно, что иранский скифский язык был с самого начала, так сказать, *x*-языком (т. е. с переходом *s* этимологическое > *h*). Единственное, что нам в таком случае остается, это видеть в форме Σέρβοι отражение какого-то неиранского индоарийского **servo-*, ср. др.-инд. *s̥arva-* «целый, весь» (аналогично германскому этнониму *Alemanen*, букв. «все мужчины»).

Безоговорочно примкнуть к укоренившемуся в славистике взгляду о том, что повторяемость этнонимов мало что дает для истории расселения⁴⁵, значило бы, как нам кажется, пойти по пути наименьшего сопротивления. Внимательное рассмотрение показывает, что ранние славянские этнонимы неоднородны в интересующем нас здесь плане. Помимо таких названий, как **slověne* и **pol'ane*, допускающих широкое, неоднозначное приуроче-

⁴² «Greckie i łacińskie źródła do najstarszych dziejów Słowian», Cz. I (do VIII wieku). Przełożył i opracował M. Plezia, Poznań — Kraków, 1952, стр. 45—46.

⁴³ См. таблицу в кн.: L. Zgusta, Die Personennamen griechischer Städte der nördlichen Schwarzmeerküste, Praga, 1955, стр. 184.

⁴⁴ К. Мосзунски, Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego, Wrocław — Kraków, 1957, стр. 147.

⁴⁵ Ср. еще: A. Brückner, Ursitze der Slaven und Deutschen, AfslPh, XXII, 1900, стр. 238.

ние, можно выделить ряд более или менее однозначных этнонимов в этом смысле. Уникальные апеллятивные и прочие связи позволяют более уверенно просматривать траекторию, пройденную таким этнонимом. Вряд ли следует сомневаться в том, что южное племя *севери*, *северяне* в Дунайской Болгарии как-то связано с восточнославянским племенем *северяне* (букв. «северные»). Этот пример дочернего характера балканославянского этнонима в отношении к восточнославянскому не единичен. Столь же бесспорно тождество балканославянских *Драгубѣти* в Македонии с восточнославянскими *Дрогубѣти* (Константин Багрянородный), *дреговичи* (Лавр.). Важно констатировать здесь исходное апеллятивное русск. диалектн. (смол.) *дрягва* «болото, зыбун, трясица», белорусск. *дрегва* «трясица в болоте», укр. *драгва*, *дрягва* «топь, топкое место», отметив при этом, что нигде более в славянском мире болото не обозначается этим словом⁴⁶. Слово *дрягва*, конечно, родственно *дрожать* (ср. *трясица*, *зыбун*), и ни оно, ни *дреговичи* с балтийской лексикой не связано. Прочие этимологии названия южных другувитов⁴⁷ недостоверны. «Древнерусский» этнонимический вклад на Балканах этим не ограничился. Выше вскользь уже отмечалось наличие топонима *Kryvitsani* в Греции (Пелопоннес), по данным Миклошича⁴⁸. Фасмер в своей известной книге о славянах в Греции отказывается видеть здесь русское племенное название *кривичи*. Он предпочел бы говорить на этой территории о серб.-хорв. **Кривичи* или болг. **Кривичи*, хотя и понимает, что таких форм нет⁴⁹. Интересно, однако, что формой, практически тождественной пелопоннескому *Kryvitsani*, Константин Багрянородный в X в. обозначает именно древнерусских кривичей. Еще одно славянское племя в южной части Балканского полуострова носило тысячу лет назад имя, которое тоже, по-видимому, восходит к восточным славянам — *смолены/смоляне* (греч. *Σμολέανοι*, *Σμολένοι*), откуда *Смолен*, город в юго-западной Болгарии. Опираясь отчасти на эту форму, можно реконструировать древнерусское племенное название **смоляне*, от которого непосредственно произведено название города на Верхнем Днепре *Смоленскъ*, а также его более редкий вариант *Смольскъ*⁵⁰; название города целесообразно толковать как «город смолян, смолянский город», а в самих смолянах видеть подразделение кривичей, «...ихже градъ ѿсть Смоленскъ» (Лавр. л. 4).

Все это так, ответят нам, этнонимы действительно похожи, но это опять ничего не говорит о расселении, об этнолингвистической природе самих племен, расселявшихся по югу Балканского полуострова и колонизировавших Грецию, кроме того, что и так уже известно о болгарской языковой природе топонимических следов славян в Греции⁵¹. Да, верно, что наблюдаемые там фонетические рефлексy отражают закономерности болгарского, но никто иной как А. М. Селищев показал фронтальную сменяемость одних рефлексов сочетаний зубного согласного с йотом другими в Македонии, причем в ономастике уцелели лишь остатки древнего состоя-

⁴⁶ См.: Л. В. Куркина, Названия болот в славянских языках, «Этимология. 1967», М., 1969, стр. 137.

⁴⁷ Ср.: М. P a v l o v i ć, Najstariji makedonsko-plemenski nazivi i principi nastanka etnonima, «Четврто заседание на Меѓународната комисија за словенска ономастика...», стр. 131.

⁴⁸ F. Miklosich, Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen, стр. 270—271.

⁴⁹ M. V a s m e r, Die Slaven in Griechenland, Berlin, 1941 (= АРАУ, Jg. 1941, Nr. 12), стр. 163.

⁵⁰ G. J a c o b s s o n, A rare variant of the name of Smolensk in Old Russian, «Scando-slavica», X, 1964, стр. 148 и сл.

⁵¹ M. V a s m e r, указ. соч., стр. 324.

ния. Тем самым значение ономастики как сигнала об иных этнолингвистических отношениях древности неизмеримо повышается, о чем надлежит напоминать всегда, когда отмахиваются от кривичей и дреговичей на Балканах лишь потому, что они не вставляются в привычную схему.

Дело в том, что языковые отношения, постепенно возобладавшие на какой-либо территории, необязательно должны характеризовать ее с самого начала; пожалуй, как раз наоборот, особенно если речь идет о территории нового освоения. Состав колонизирующего этноса не мог не быть пестрым, этнолингвистическая пестрота племенных союзов вообще не редкость. Если для суждения по этой широкой проблеме истории языка и этногенеза одних племенных названий недостаточно, то нельзя одновременно с этим преуменьшать того факта, что свидетельства племенных названий могут дать новое верное направление научным поискам. Мы говорим так, потому что есть, кроме этнонимов, другие, прежде всего лексические факторы, не подчиняющиеся чисто южнославянской теории освоения Юга Балкан. Любопытно, однако, что односторонняя концепция или предвзятость позволяет пройти в принципе мимо любых фактов, оставив их незамеченными.

Вот несколько примеров. В Греции (округ Янина) отмечен топоним *Κοπίσπολις*, давно соотнесенный со славянским оборотом *копѣь ро'а* «конец поля»; Фасмер указывает на неоднократное польск. *Kopiecpol*, ограничиваясь признанием, что у балканских славян он ничего подобного не нашел⁵². Озеро, на котором расположена сама Янина, носит название *ὁ Μεγάς Ὑδρῶς* (но ср. болг. *езеро*, серб.-хорв. *jezero!*), однако Фасмер пишет тут буквально следующее: «Совпадение с *о-* в русск. *озеро* должно считаться случайным, поскольку за пределами восточнославянского здесь *о-* не встречается»⁵³. Ср., далее, *Μεγάλη Ὑδρῶς*, *Μικρὰ Ὑδρῶς*, два озера в Акарнании⁵⁴. Местное название *Ζηκάρι* в округе Триkkalа Фасмер правильно связывает с украинскими гидронимами *Сухозгар(ь)* и *Згар(ь)*, правый приток Ю. Буга⁵⁵, оставляя это без комментариев. В том же округе отмечен топоним *Τολλίτβα*, возможно, связанный с русск. *толпá* и лишенный соответствий в болгарском и сербохорватском⁵⁶. Далее, местное название *Μπαλαμῦτι* может быть объяснено только в связи с русск. *баламѹт*, *баламѹтить*, польск. *balamyciś*, тогда как в южнославянских языках это слово неизвестно⁵⁷; название *Πολοζίτσα* явно восходит к слав. **polovica*, неизвестному в такой форме в южнославянских языках и их топонимии⁵⁸, но достаточно известному, например, из украинской топонимии. Ссылки на то, что мы еще не очень хорошо знаем лексику славянских языков, звучат перед лицом групповых свидетельств все менее и менее убедительно.

Но вернемся к этнонимам. Какие этнонимы времен славянской колонизации встречаются в Греции? Оказывается, что, кроме племенных названий болгаро-македонских славян, наиболее ответственных за распространение в Греции славянской речи болгарского типа (*Βαλουνίται*, *Βελεγεῖται* и др.), там есть следы этнонимов славян, не принадлежавших к болгаро-македонской группе. Не говоря о северянах, другувитах и смолянах, под именами которых могли скрываться как болгарские, так и русские сла-

⁵² Там же, стр. 37.

⁵³ Там же, стр. 45.

⁵⁴ Там же, стр. 74.

⁵⁵ Там же, стр. 90—91.

⁵⁶ Там же, стр. 97.

⁵⁷ Там же, стр. 101.

⁵⁸ Там же, стр. 172.

вяне⁵⁹, вспомним называвшиеся следы кривичей, где уже трудно говорить об одних болгарах. Ср., далее, топонимы *Харвати*⁶⁰, *та Хървѣа*⁶¹, далее — *Тсехоѣ*⁶², так или иначе связанное с этнонимом чехов, даже *Корѣми*, связанное с названием половцев⁶³, видимо, вовлеченных в общий поток славянской миграции.

Типологическую аналогию первоначальной пестроте и неоднородности этнолингвистического состава населения разных зон великой славянской миграции, из которых мы несколько подробнее выделили выше Юг Балканского полуострова и Грецию, можно видеть в диалектной пестроте русской Сибири. Так же, как в Сибири и особенно — на русском Дальнем Востоке⁶⁴, в новых областях славянской колонизации постепенно из прежней разнодиалектной пестроты складывалось преобладание какого-то одного типа языка. Мы стремимся всеми доступными средствами проникнуть в лингвистическую обстановку той начальной поры, полустертую под воздействием всей последующей нивелировки. В свете сказанного выше нам кажутся объяснимыми и не вызывающими удивления западнославянские этнические компоненты в составе насельников Восточно-Европейской равнины, ср. летописную традицию о радимичах и вятичах, а также смежные следы дулебов и их упоминаемые выше корни, далее — этноним **sr̥bŭi* в Полабье, и лингвистический тезис о вторичном вхождении сербов-лужичан в западнославянскую группу, западнославянские ободриты, которых письменная история застаёт близ Любека и реки Варнов, несущие в своем этнониме память о первоначальном проживании по обоим берегам Одера, вопреки всем сомнениям⁶⁵, и соседние с болгарами на Дунае, с севера, *Abotriti, qui vulgo Praedenecenti vocantur* (Франкские анналы под 822 г.), по всей видимости, переселившиеся сюда со славянского северо-запада⁶⁶.

Пестроту пришлых славянских племенных конгломератов довершала на перифериях их экспансии новая пестрота местных этнолингвистических контактов, папэдшая ограждение в ряде славянских этнонимов. В этих условиях появились, по-видимому, некоторые ранее отсутствовавшие славянские названия, образованные из славянских морфем, которые трудно формально счесть заимствованиями, но влияние на них другого близкого индоевропейского образца в контактной области возможно. Так можно смотреть на славян по имени *Ύσέρται*⁶⁷ в Греции, ср. выше этноним

⁵⁹ См. о культурной, этнографической близости дунайских болгар и восточных славян: П. Н. Третьяков, *Восточнославянские племена*, 2-е изд., М., 1953, стр. 197—198.

⁶⁰ М. V a s m e r, указ. соч., стр. 123.

⁶¹ Там же, стр. 319.

⁶² Там же, стр. 232.

⁶³ Е. M i k l o s i c h, указ. соч., стр. 272.

⁶⁴ Ср.: А. М. Селіщев, *Диалектологический очерк Сибири*, в кн.: А. М. Селіщев, *Избр. труды*, М., 1968, стр. 225 и др.; П. Я. Черныш, *Русский язык в Сибири*, Иркутск, 1936, стр. 32, где специально о говорах Дальнего Востока; е го же, *Сибирские говоры*, Иркутск, 1953, стр. 57 (о вторичной однотипности и монолитности русских говоров Сибири).

⁶⁵ См.: Л. Нидерле, указ. соч., стр. 113; J. O t r e b s k i, *Oder, Obodriten, «Studia linguistica slavica baltica C.-O. Falk sexagenario... oblata»*, Lundae, 1966, стр. 203 и сл.; S. U r b a ŋ s z y k, *O pochodzeniu nazwy Obodrytów*, там же, стр. 309 и сл.; T. W i t k o w s k i, указ. соч., стр. 71; М. V a s m e r, *Der Name der Obodriten*, в кн.: M. V a s m e r, *Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde*, II, Berlin, 1971, стр. 734—732; Е. М о ś k o, указ. соч., стр. 289 и сл. (справедливо отстаивает чисто славянский характер суффикса *-it-*, но собственная этимология автора — от слав. **badr-* «углубление, долина, впадина» — сомнительна); е го же, *Przyrostek -it- w niektórych nazwiskach polskich i słowiańskich etnicznych*, «Lingua posnaniensis», XVII, 1973, стр. 49 и сл.

⁶⁶ О генезисе наддунайских ободритов иначе (и маловероятно) см.: Л. Нидерле, указ. соч., стр. 86.

⁶⁷ Там же, стр. 90.

Oseriates в иллирийской Паннонии. Соотносительным (в смысле мены суффиксов *-it-*: *-ĕn-*) можно считать название вроде *Ezereni*, село близ Преспанского озера, Македония⁶⁸. Такой славянский этноним VI—VII вв. в Македонии, как *струмляне*, *струменцы*⁶⁹, попросту может продолжать античное *Στρομόνιοι*, обозначение по реке Стримону (Струме) одного из фракийских племен⁷⁰. Славяне-ринхины (*Ρυγγίνοι*), там же и того же времени⁷¹, могли быть названы по гидрониму греч. (визант.) *Ῥιγγία*, видимо, фракийского происхождения⁷². Некоторые названия по-прежнему не поддаются однозначной этимологизации (например, *велегезиты*, *сагудаты* в Македонии). Та же картина лингвистических контактов прослеживается по славянским этнонимам на западной периферии славянской экспансии. Славяне-варны (*Varnavi*, *Varnabi*) у берегов Балтийского моря⁷³ трудно отличимы по названию от тамошних варнов-германцев (античное *Οβάρηνοι*, Мекленбург, II в. н. э.)⁷⁴. Вызвавшие столько споров далеминцы (*Talamintzi*, *slavi qui vocantur Dalmatii*, IX в.), они же гломаши, носят явно дославянское, иллиро-венетское название, тождественное иллир. *Dalmatae*, букв. «овечьи (пастухи)», ср. алб. *dele*, *delmë* «овца»⁷⁵. Узколокальный этноним **čexъ*, **česi*, известный только на этой славянской периферии, по-видимому, продолжает (калькирует) внутреннюю форму «*бойцы» (ср. слав. **česati*, **čexati*, также в значении «бить») местного кельтского этнонима *Boii* (других этимологий много, но они не кажутся убедительными). Моравское племя *Holasici* (стар. *Golensici*) так или иначе восходит к этнониму балтийских галиндов, что соответствует наблюдениям над балтийскими следами в диалектной лексике восточной Чехии⁷⁶.

Предложенная выше аналогия между расселением славян и русским освоением Сибири с ее первоначальной диалектной пестротой и последующей относительной однородностью носит, конечно, свободный характер. В условиях родового строя передвижения населения производились целыми племенами, а не мелкими единицами нового времени (семья). Более или менее свободной и пестрой могла быть только комбинация родов, племен, поднимавшихся в путь к новым землям. Это объясняет в свою очередь живучесть ранних славянских этнонимов, сохранившихся лингвистических знаков разных славянских этносов, мигрировавших в самых различных направлениях.

*

В заключение — несколько слов о связанной с миграцией языковой судьбе славянства. Истина лежит где-то посередине — между новой теорией польского ученого Е. Налепы о заселении славянского Юга исключительно со славянского Запада⁷⁷ и традиционной теорией о заселении соответственно Запада, Востока и Юга особыми моноклассными потоками из первоначально единого славянского центра. О теории Налепы можно

⁶⁸ См.: И. Заимов, Заселение на болгарските славяни на Балканския полуостров, София, 1967, стр. 130.

⁶⁹ М. Pavlović, указ. соч., стр. 116, 121.

⁷⁰ D. Detschew, указ. соч., стр. 482.

⁷¹ М. Pavlović, указ. соч., стр. 116.

⁷² D. Detschew, указ. соч., стр. 5.

⁷³ Л. Нидерле, указ. соч., стр. 113—114.

⁷⁴ E. Schwarz, Germanische Stammeskunde, стр. 116.

⁷⁵ E. Eichler, H. Walther, Die Ortsnamen im Gau Daleminze. Studien zur Toponymie der Kreise Döbeln, Großenhain, Meißen, Oschatz und Riesa. I. Namenbuch. Berlin, 1966, стр. 397 и сл.

⁷⁶ О. Н. Трубачев, «Симпозиум по проблемам карпатского языкознания (24—26 апреля 1973 г.). Тезисы докладов и сообщений», М., 1973, стр. 58.

⁷⁷ J. Nalepa, Słowiańszczyzna północno-zachodnia, Poznań, 1968.

сказать, что она страдает односторонностью и объясняет лишь часть фактов (например, наддунайские ободриты, действительно, пришли на Юг с Запада, с Одера, но болгаро-македонские северяне, смоляне и другувиты пришли на Юг достоверно с Востока, следы кривичан на Юге ведут тоже на Восток, в свою очередь дулебы и некоторые другие племена проделали путь с Запада на Восток, хорваты и сербы прошли с Востока через Запад на Юг).

О широко известной теории тройственного разделения славян можно сказать, что она во многом устарела как в том, что касается концепции первоначальной слабой диалектной расчлененности славянства, так и особенно в воззрениях на славянское расселение как на некий процесс разделения одного монолита на три монолита поменьше с отличиями, вторично развитыми каждым из них в себе. Эти три дочерние части славянства не были и не могли быть первоначально однородными лингвистически. Вторым после этнонимов, а по количеству — даже первым лингвистическим знаком первоначальной этнолингвистической пестроты носителей славянских миграций к Западу, Югу и Северо-Востоку являются пестрые (и, как мы полагаем, не случайно пестрые) лексические изоглоссы, которые в массе выглядят как польско-болгарские, сербохорватско-украинские, полабско-великорусские... и т. п. соответствия, невероятно мозаичные и затрудняющие восстановление древней диалектной картины, которая предварила языковую нивелировку новых этнолингвистических славянских конгломератов Запада, Юга и Востока. Чем дальше движется работа по праславянской реконструкции и этимологизации лексики для нового этимологического словаря славянских языков⁷⁸, тем более стойким делается впечатление мозаичности упомянутых внутриславянских изолексов. Концепции вроде карпатско-полесского пояса диалектных изоглоссов, возможно увлекают воображение своей стройностью, но они, увы, попросту тонут в той праславянской сложности, которую дает сплошная реконструкция древнего состава славянской лексики. Однако обескураживающая на первых порах сложность получаемого результата может, кажется, привести к выводам, затрагивающим существо наших представлений о славянском языковом развитии: 1) западнославянские, восточнославянские и южнославянские языковые группы вторично консолидировались из компонентов самого разного языкового происхождения; 2) первоначальная Славия была не языковым монолитом, а его противоположностью, т. е. если монолит — это отсутствие противопоставленных изоглоссов, то противоположность ему — сложная совокупность изоглоссов.

Работать с понятиями первоначально монолитного праславянского языка, вторично дифференцировавшегося известным образом, вероятно, привлекательнее и удобнее, но этими удобствами придется поступиться, так как они ведут к красивым, но искусственным построениям, как, например, ниже следующее, принадлежащее перу одного из классиков славянского языковедения: «В рамках этой культуры (культура ямных погребений.— О. Т.) выделяются с самого начала два подразделения: на севере так называемая оксивская культура, на юго-востоке — культура, называемая пшеворской. Эта дифференциация находит параллель в формировании языковых отношений в праславянском языке. А именно, как показали исследования последних лет, праславянский язык распадался на две диалектные группы: западную, из которой со временем развились западнославянские

⁷⁸ Готовится в Институте русского языка АН СССР. В своих выводах мы опираемся на сплошную обработку праславянских словарных данных на А, В, С, Ш, отчасти D в первых пяти выпусках этого словаря. Развертывание этого материала выходит за рамки настоящей статьи.

языки, и восточную, из которой произошли восточнославянские, а также южнославянские языки... Таким образом, можно принять, что так называемый оксивский культурный комплекс соответствовал языковым предкам западных славян, а пшеворский культурный комплекс — предкам восточно- и южнославянских племен... Все эти культурно-языковые комплексы, взятые вместе, представляют в последние 2—3 века до н. э., а также в первые 2—3 века н. э. большой, но еще относительно компактный праславянский этнолингвистический комплекс, дальнейшее распространение которого в восточном, южном и западном направлении привело к дифференциации и распадению на три группы: западную, восточную и южную»⁷⁹. В настоящей статье мы предприняли попытку выйти за пределы этой схемы или подобных ей схем.

⁷⁹ T. L e h r - S p l a w i ń s k i, *Konspekt zarysu etnogenezy Słowian, «Z polskich studiów slawistycznych», Seria II, Warszawa, 1963, стр. 10—11.*

И. Р. ГАЛЬПЕРИН
О ПОНЯТИИ «ТЕКСТ»

В последнее время лингвистика наряду с изучением природы и функционирования отдельных предложений, а также механизмов порождения речевых актов, занимается также изучением природы и функционирования отрезков речевых произведений более крупных, чем предложение. Вслед за работами Пешковского, Поспелова и Булаховского, в которых таким единицам уделено большое внимание¹, появились новые работы, посвященные проблеме сложного синтаксического целого (сверхфразового единства), а также абзацу (принято считать, что они различаются своими характеристиками)².

Все чаще раздаются голоса в пользу рассмотрения отрезков более крупных, чем предложения, в качестве объекта лингвистического исследования³. Некоторые лингвисты прямо утверждают, что «...основной единицей языка в его употреблении является не слово, не предложение, а текст ... исследование языка как «текста» — это теоретическая проблема, не менее интересная и актуальная для лингвистики, чем психолингвистические исследования...»⁴. Говорится о том, что «текст должен быть альфой и омегой лингвистического исследования»⁵.

Тем не менее наблюдается стремление избежать анализа крупных отрезков и даже прямой отказ признать за этими отрезками статус единицы языка. Однако исследования ясно свидетельствуют о том, что если абстрагироваться от конкретных речевых воплощений, то в отрезках, больших, чем предложение, оказываются свои типологические закономерности, возводящие их в ранг единиц языка. Любое абстрагирование, в данном случае — над природой и функционированием сверхфразовых единств, пло-

¹ А. В. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, М., 1934; Н. С. Поспелов, Проблема сложного синтаксического целого в современном русском языке, «Уч. зап. [МГУ]», 137, кн. 2, 1948; Л. А. Булаховский, Курс русского литературного языка, I, Киев, 1952, стр. 392.

² Здесь назовем: Н. И. Серкова, Сверхфразовое единство как функционально-речевая единица. АКД, М., 1968; В. В. Суренский, Логико-синтаксические отношения между предложениями, «Р. яз. в шк.», 1949, 2; Г. А. Вейхман, К вопросу о синтаксических единствах, ВЯ, 1961, 2; Н. А. Турмачева, О типах формальных и логических связей в сверхфразовом единстве. АКД, М., 1973; И. Е. Себецо, Структура связанного текста и автоматизации реферирования, М., 1969; N. E. E n k v i s t, Style in some linguistic theories, «Literary style: A symposium», London — New York, 1971; N. E. E n k v i s t, Linguistic stylistics, The Hague, 1973, стр. 51—66; R. O h m a n n, Literature as sentences, сб. «Essays on the language of literature» New York, 1971, стр. 232—233.

³ См., например: R. J a k o b s o n, Linguistics and poetics, сб. «Style in language», New York — London, 1960; В. М. Павлов, Противоречия в языке, сб. «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания», М., 1970, стр. 93; E. В u s s e n s e, La communication et l'articulation linguistique, Bruxelles, 1967 (работа, в которой, по утверждению В. Г. Гака, убедительно доказано, что подлинной семиотической единицей языка является высказывание, см.: В. Г. Гак, Язык и речь в двуязычных словарях, сб. «Slovo a slovník», Bratislava, 1973).

⁴ M. A. K. H a l l i d a y, Language structure and language function, сб. «New horizons in linguistics», London, 1971, стр. 145.

⁵ H. W e i n r i c h, The textual function of the French article, сб. «Literary style: A symposium», стр. 22.

дотворно лишь тогда, когда накоплен достаточный опыт наблюдений. Уместно привести замечание Ф. П. Филина: «Степени абстракции могут быть самыми различными, однако при любой степени абстракции языковед остается языковедом только в том случае, если он не отрывается от реальных свойств языка во всей их сложности и противоречивости»⁶. Само возникновение терминов «сверхфразовое единство», «сложное синтаксическое целое», «синтаксические единства», а также понимание термина «абзац» как семантико-синтаксической единицы свидетельствуют о том, что существование этих явлений уже осознано как лингвистический факт. Дело лишь за тем, чтобы определить их компоненты, эксплицитные и имплицитные типы связей между компонентами, приемы выделения этих единиц в более крупных отрезках текста и, наконец, средства связи и перехода от одной такой единицы к другой. Вот слова С. Д. Кацнельсона: «Лингвистическая структура целостных текстов еще почти не изучена. Вряд ли приходится сомневаться в том, что кроме „малого синтаксиса“, определяющего формы связи между словами в предложении, существует и «большой синтаксис», отображающий связи между предложениями и речевыми единицами сверхфразового формата»⁷.

Единства, большие, чем предложение, в основном характерны для письменного варианта литературного языка. Только в этом варианте расчлененность, эксплицитно выраженная графически, является следствием сознательной литературной обработки текста.

В связи с этим следует напомнить о тех существенных признаках, которые определяют различия между письменным и устным вариантами языка.

В результате длительного процесса формирования письменный вариант языка выработал особенности, которые постепенно приобрели статус системности. Это было отмечено как лингвистами, так и художниками слова. Еще Пушкин говорил, что письменный язык не должен отречься от того, что приобретено им в течение веков, и писать только языком разговорным значит не знать языка.

О недооценке фактов системного обособления письменного варианта языка свидетельствуют, например, такие высказывания: «Письмо — это не язык, но всего лишь способ фиксации языка с помощью видимых знаков... мы всегда должны предпочитать слову написанному слову звучащее»⁸. Дж. Лайонз хотя и считает, что свою точку зрения Блумфилд изложил в излишне категорической форме, все же признает ее правильной: «... с необходимыми поправками, — пишет он, — положение это несомненно правильно»⁹. Точка зрения Блумфилда не исключение. Она нашла особенно яркое выражение в работах дескриптивистов, где звучащая речь рассматривается как единственно реальное существование языка, хотя некоторые из этой группы ученых, например Г. Глисон, признают существование самостоятельного письменного языка¹⁰.

Естественно, что признание за письменным языком права на самостоятельное существование отнюдь не означает полной автономии этого варианта языка. Хорошо известно взаимодействие устного и письменного ва-

⁶ Ф. П. Ф и л и н, О некоторых философских вопросах языкознания, сб. «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания», М., 1970, стр. 19.

⁷ С. Д. К а ц н е л ь с о н, Типология языка и речевое мышление, Л., 1972, стр. 119.

⁸ Л. Б л у м ф и л д, Язык, М., 1968, стр. 35—36.

⁹ J. L y o n s, Introduction, сб. «New horizons in linguistics», стр. 18.

¹⁰ См.: Г. Г л и с о н, Введение в дескриптивную лингвистику (здесь прямо утверждается, что ораторская речь представляет собой не что иное, как устный вариант письменного английского языка), М., 1959, стр. 433—434.

риантов. Оно по-разному проявляется в разные периоды развития литературных языков и у разных народов. Здесь важно обратить внимание на факт расхождения, а не сближения этих двух вариантов. Ж. Вандриес писал, что «расхождение между языками письменным и устным становится все больше и больше. Ни синтаксис, ни словарь о б о и х я з ы к о в (разрядка моя. — И. Г.) не совпадают. Даже морфологии различны: простое прошедшее, прошедшее несовершенное сослагательного падежа уже не употребляются в устном языке»¹¹. То же утверждал и А. Потебня: «... возникает различие между письменным и устным языком гораздо большее, чем то, которое до письменности было между относительно архаичною речью мерной песни, пословицы, заговора и немерным просторечием. К различным грамматическим присоединяются лексические и синтаксические...»¹². Эти различия все больше и больше осознаются. Противопоставляются и такие категории, как ясность, точность — и двусмысленность. Так, И. Вахек считает, что «письменный язык стремится к ясности и недвусмысленности знаковой системы»¹³. Можно привести многие другие высказывания отечественных и зарубежных лингвистов о различиях между этими двумя вариантами языка¹⁴.

Отдельные замечания о различиях между письменным и устным вариантами языка, однако, не заменяют конкретного исследования, имманентных категорий каждого из вариантов. Дать их адекватное описание пока не представляется возможным. Как это ни парадоксально, устная разновидность, в своем характерном воплощении нерасчлененная и эфемерная, в последнее время значительно более глубоко и разносторонне освещена в лингвистической литературе, чем письменная в ее характерных составляющих¹⁵. Очевидно, это можно объяснить стремлением восполнить пробел в изучении устной речи, который образовался в связи с укоренившейся традицией рассматривать письменный текст как единственный объект изучения.

Релевантные характеристики письменного варианта, представленные графически, различаются в формально-структурном плане; может показаться, что они четко определяются и в плане содержания. Однако это не совсем так. Исследование текста в семантико-структурном плане показывает, что здесь еще много белых пятен.

Характерными признаками устного и письменного вариантов языка являются диалог и монолог. Та либо другая форма языкового общения вызывается экстралингвистическим условием — наличием или отсутствием собеседника. И та и другая форма являются закономерными порождениями различных по своему существу творческих процессов. Представляется спорным утверждение Л. В. Щербы о том, что «монолог является в значительной степени искусственной языковой формой... подлинное свое

¹¹ Ж. В а н д р и е с, *Язык*, М., 1937, стр. 253.

¹² А. П о т е б н я, *Из записок по теории словесности*, Харьков, 1905, стр. 144.

¹³ И. В а х е к, *К проблеме письменного языка*, сб. «Пражский лингвистический кружок», М., 1967, стр. 533.

¹⁴ См., например, работы В. В. Виноградова, А. С. Боголюбова, Н. Ю. Шведовой, Н. Д. Арутюновой, В. Матезиуса (и других членов Пражского кружка), Н. Э. Энквишта, С. Четмена и многих других, где упоминаются эти различия (в монографиях и в виде отдельных замечаний).

¹⁵ Из отечественных работ последних десятилетий, посвященных анализу разговорной речи, нужно упомянуть следующие: Н. Ю. Шведова, *Очерки по синтаксису русской разговорной речи*, М., 1960; О. А. Липтева, *Изучение русской разговорной речи в отечественном языкознании последних лет*, ВЯ, 1967, 1; Ю. М. Скребяев, *Общелингвистические проблемы описания разговорной речи*, АДД, М., 1971; Т. М. Николеева, *Новое направление в изучении спонтанной речи*, ВЯ, 1970, 3; «Русская разговорная речь», М., 1973; Н. Д. Андреев, Л. Р. Зиндер, *О понятиях речевой акты, речи, речевой вероятности и языка*, ВЯ, 1963, 3.

бытие язык обнаруживает лишь в диалоге»¹⁶. Эта мысль перекликается с ранее цитированными положениями о том, что письменный язык является искусственным, графическим изображением устного и что он лишен своих естественных форм существования.

Противопоставленными признаками устного и письменного вариантов являются: для устной речи — разговорная лексика и фразеология, краткость, эллиптичность, непоследовательность, обрывистость, бессоюзие и наличие паралингвистических средств; для письменной речи — литературно-книжная лексика, распространенность высказывания, законченность, логическая последовательность, синтаксическая законченность, развернутая система связующих элементов, средства графической актуализации.

Таким образом, исследовательская мысль прошла несколько стадий. Отталкиваясь от известных, веками освященных традиций рассмотрения письменного языка как единственного объекта лингвистического анализа (первая стадия), ученые пришли к необходимости проникнуть в онтологическую сущность устной речи, познать механизм ее порождения и функционирования (вторая стадия) и, наконец, приступили к более глубокому анализу признаков и характеристик письменного варианта языка (третья стадия). «Можно без колебаний признать, — пишет Й. Вахек, — что до тех пор, пока язык реализуется лишь в устных высказываниях (т. е. пока данный языковой коллектив еще не произвел никаких письменных высказываний), акустическая субстанция не привлекает внимания и остается в тени, поскольку рассматривается как нечто несущественное... но как только в языковом коллективе появляются первые письменные высказывания, языковая субстанция, воспринимаемая до тех пор как несущественная, необходимо начинает в той или иной мере осознаваться»¹⁷. Примечательно, что многие понятия, применяемые при изучении речи, возникли из анализа письменного текста (ср.: «прямая речь», «несобственно прямая речь»).

Новый интерес к письменному варианту языка выразился в появлении работ по анализу текста. Возникла особая отрасль языкознания, получившая громкое и претенциозное название — лингвистика текста¹⁸. Однако слово «текст» пока не получило терминологически однозначного характера. Под это понятие подводятся разные композиционно-структурные и смысловые параметры самых разных объектов. Некоторые исследователи считают, что нижним пределом текста являются два слова, а его верхнего предела вообще не существует. Попытки филологов дать более или менее точное определение этого понятия пока неудачны, но из разнообразных определений можно вывести одно — весьма общее, неконкретное, но и непреложное, а именно: текст — это целенаправленное речевое произведение, состоящее из неопределенного количества грамматических структур (предложений) и при этом имеющее определенный смысл, в той или иной

¹⁶ Л. В. Щербач, Восточно-лужицкое наречие, I, М., 1915, стр. 3—4.

¹⁷ Й. Вахек, указ. соч., стр. 531.—532.

¹⁸ См.: сб. «Textlinguistik», 2, Dresden, 1971; сб. «Methods and theory in linguistics», ed. by Paul L. Garvin, The Hague — Paris, 1970; сб. «Zur linguistischen Analyse der Textstruktur», 8, 1972; Т. Тодоров, The place of style in the structure of the text, сб. «Literary style: A symposium»; Ю. М. Лотман, А. М. Пятгорский, Текст и функция, «Тезисы летней школы по вторичным моделирующим системам», Тарту, 1968; Ю. М. Лотман, Структура художественного текста, М., 1971; А. Е. Сулрун, Язык — речь — текст, Алма-Ата, 1966; И. Р. Гальперин, Текст и исполнение в дихотомии «язык и речь», «Тезисы конференции „Язык и речь“», Тбилиси, 1971; В. В. Виноградов, Лингвистические основы научной критики текста, ВЯ, 1958, 2, 3.

степени отличный от смысловых показателей этих грамматических структур.

Прежде чем мы попытаемся полнее определить это понятие, необходимо разграничить термины «текст» и «контекст». Контекст — это понятие экологическое. Обычно его пределы устанавливаются произвольно, с целью наблюдения, анализа и конкретизации особенностей языковых фактов, являющихся объектом исследования. Таким образом, контекст — это лингвистическая ситуация. В связи с таким пониманием возникают понятия: минимальный контекст, макроконтекст, сверхконтекст или язык эпохи¹⁹, грамматический контекст, синтаксический контекст, лексический контекст²⁰, творческий контекст, материальный и функциональный контекст²¹; стилистический контекст и другие «контексты». Происходит детерминализация: понятие «контекст» приравнивается к понятию «среда». Все эти «контексты» не имеют ничего общего с понятием «текст».

Наблюдения над различными видами текстов в различных стилях языка, разного объема и содержания, преследующих разные цели сообщения, заставили автора этих строк попытаться дать наиболее обобщенное, типологическое определение текста, отнюдь не претендующее, однако, на неувязимость:

Текст — это сообщение, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа, состоящее из ряда особых единств, объединенных разными типами лексической, грамматической и логической связи, и имеющее определенный модальный характер и прагматическую установку. Таким образом, под текстом здесь предлагается понимать не фиксированную устную речь, в которой чаще всего проявляются черты спонтанности, неорганизованности, непоследовательности, а особую разновидность языкового творческого акта, имеющую свои параметры, отличные от параметров устной речи.

Важно иметь в виду, что устная речь имеет лишь звуковое воплощение, рассчитанное на слуховое восприятие. Она только линейна. Поступательное движение даже замедленного темпа сообщает устной речи нестабильность и дает возможность относительно свободно пользоваться разными неустоявшимися моделями языка. Всякая запись звучащей речи, магнитофонная или графическая, представляет речь в виде снятого момента. Если речь — это движение, процесс, то, будучи фиксированной, она прекращает движение и, как всякий снятый момент, предстает в каком-то другом качестве. Одно из новых качеств фиксированной устной речи — возможность быть подвергнутой анализу. Наблюдения над ее дискретными характеристиками, их взаимозависимостью, взаимообусловленностью и взаимосвязанностью, т. е. их системной организацией, возможны только при остановке движения. Однако, будучи в какой-то степени объективированной, фиксация речевого отрезка все же не становится текстом.

Существует ряд терминов, назначение которых — как-то определить понятие отрезка, большего, чем предложение. К ним относятся «сверхфразовое единство», «сложное синтаксическое целое» и ряд других. Одновременно с этим теоретическая мысль стремится найти адекватный термин для определения еще более крупных единиц речи. Появляются такие термины, как «дискурс» (discourse) в работах пражских лингвистов, «регистр» (register), предложенный эдинбургской школой и употребляемый довольно

¹⁹ См.: С. Чагдуров, О выразительности слова в художественной прозе, Улан-Удэ, 1959.

²⁰ А. В. Исаченко, О грамматическом порядке слов, ВЯ, 1966, 6; Н. Н. Амсова, О синтаксическом контексте, «Лексикографический сборник», V, М., 1962.

²¹ Е. Курилович, Опыт экстраполяции одного языкового закона, ВЯ, 1971, 3.

широко в работах так называемой неофирсовской школы, «высказывание» (utterance), получившее свое терминологическое значение в ряде работ американских лингвистов. Все эти термины не однозначны и часто применяются к совершенно разнородным явлениям. Так, термин «регистр» совпадает с нашим термином «функциональный стиль»; термин «дискурс» в ряде работ однозначен с термином «регистр», в других работах имеет более широкое значение. Термин «высказывание» или совпадает с терминами «сверхфразовое единство» и «сложное синтаксическое целое», или употребляется в более специальном синтаксическом значении.

В последнее время термин «текст» завоевал себе право быть наиболее обобщенным выражением крупных, законченных речевых произведений. Под текстом Ю. М. Лотман понимает «... сумму структурных отношений, нашедших лингвистическое выражение»²². Это определение может в равной степени относиться и к предложению, и к сверхфразовому единству и не выделяет специфического качества данного объекта. Кроме того, в этом определении не учтен существенный параметр текста — семантический. Игнорировать смысловой параметр текста — значит свести понятие текста к нулю. Л. Долежел, наоборот, рассматривает текст как автономную семиотическую структуру²³.

Итак, текст — это продукт письменного варианта языка. Текст всегда имеет графическое воплощение. Он обладает своими параметрами, которые определяют его двойственной природой, состоящей в постоянной потенциальной возможности его прочтения. Текст находится одновременно в состоянии покоя и в движении. Представленный в последовательности дискретных единиц, текст находится в состоянии покоя, и признаки движения выступают в нем лишь имплицитно. Но когда текст воспроизводится (читается вслух или про себя), он находится в состоянии движения, и тогда признаки покоя проявляются в нем лишь имплицитно. При чтении текста происходит перекодирование сообщения. Сигналы кода, рассчитанные на восприятие глазами, трансформируются в слуховые сигналы, не полностью утрачивая характеристики первого кода. Интересно взаимоотношение этих двух кодов в драматургии, где происходит особого рода транспонирование письменного кода в устный.

Устная речь всегда конкретна, однозначна, преднамеренно убеждающа, интонационно недвусмысленна, субъективно актуализована. Текст — наоборот — абстрактен, не однозначен, интонационно многопланово оформлен (и то имплицитно!) и может быть подвержен различной интерпретации, хотя все же в пределах, объективно предопределенных закономерностями письма. Приведу кое-то меткое замечание о различии применения устного и письменного кодов: «Когда в руках перо, пусть ухо будет глухо, а зрение — остро».

Чтобы создать хотя бы приближенную модель текста, необходимо определять его основные единицы. Если применить принцип изоморфности языковых структур, можно сказать, что как для предложения основными единицами являются слова в их формально-структурном и семантическом отношениях, как для сверхфразовых единств (сложных синтаксических целых) или абзацев единицами являются предложения, так и для текста структурными единицами являются сверхфразовые единства и абзацы. Рассматривать эти единицы как текст значит еще больше запутывать и затемнять этот термин. Трудность определения сверхфразового единства не

²² Ю. М. Лотман, Анализ поэтического текста, Л., 1972, стр. 33.

²³ L. Doležel, Toward a structural theory of content in prose fiction, сб. «Literary style: a symposium».

должна снимать необходимости его рассмотрения в качестве основной единицы текста²⁴.

Пока формальные характеристики текста не установлены, важно найти конституирующие единицы текста. Наличие крупных синтаксических единиц подтверждается хотя бы тем фактом, что в нашем сознании при восприятии текста постепенно вырисовываются какие-то признаки, наличие которых дает возможность схватывать целостность текста и даже в отдельных случаях предвидеть появление определенных структур при поступательном движении текста. Вчитываясь в более или менее однотипные тексты, мы начинаем улавливать структурные особенности каждого данного текста и характер этих особенностей, и, таким образом, понимание его содержания облегчается.

Многие исследователи стремятся определить эти структурно-семантические параметры текста. Ц. Тодоров, например, различает три аспекта текста: вербальный, синтаксический и семантический²⁵. Вербальный образуется конкретными предложениями, формирующими текст, синтаксический аспект определяется взаимоотношениями частей текста, а семантический аспект отражает глобальный смысл текста и определяет части, на которые смысл распадается.

Н. Э. Энквист сводит лингвистические параметры текста к трем основным — *topic* (тема), *focus* (фокус) и *linkage* (связь)²⁶. *Topic* — это главная тема текста, его основное содержание. Термин *focus* служит для выделения маркированных элементов текста (слова, словосочетания, фразы, предложения). Фокус, пишет Энквист, дает о себе знать через множество фонологических, лексических и синтаксических приемов. Наконец, *linkage* — это средства объединения различных отрезков высказывания. Среди других параметров текста некоторые выделяют позиционный, т. е. порядок следования отдельных частей текста, другие подчиняют этот признак логическим отношениям между отрезками²⁷. Л. Должел среди основных параметров текста называет мотив (*motif*) — главное содержание, которое проходит в разных формах через весь текст (произведение). «Текст, — пишет он, — это функция времени»²⁸. Этот темпоральный аспект текста реализуется последовательным развертыванием симметрии, параллелизмом, градацией, контрастом и прочими средствами, обеспечивающими осознание мотива текста.

Это краткое перечисление точек зрения на единицы текста показывает, что исследователи сходятся во многом. Однако важно не только выделить сами единицы текста и не только дать им адекватное терминологическое обозначение, но и определить те отношения, в которые эти единицы вступают между собой в процессе формирования текста. Появляется необходимость ввести еще одно понятие — понятие релятивности. Когда отдельное предложение находится в своем нормальном окружении, оно перестает быть изолированной единицей, его жизнь уже зависит от окружения, поскольку это предложение становится частью более крупного целого. Такое предложение обретает имплицитные (а часто и эксплицитные) черты зависимости от окружения. Более того, оно часто теряет самостоятельное значение, которое имеет в изолированном виде, оно становится единицей пись-

²⁴ Ср.: K. H a u s e n b l a c h, On the characterization and classification of discourses, сб. «Travaux linguistiques de Prague», 1964, стр. 51.

²⁵ Т. Т о д о р о в, The place of style in the structure of the text, сб. «Literary style: A symposium», стр. 32.

²⁶ N. E. E n k v i s t, Style in some linguistic theories, сб. «Literary style: A symposium», стр. 57.

²⁷ См.: J. C u l l e r, Jakobson and the analysis of literary texts, сб. «Style and language», I, 1, 1971, стр. 64.

²⁸ L. D o l e ž e l, указ. соч., стр. 96.

менного кода и как таковое значимо лишь в системе данного кода. Таким образом, текст представляет собой, используя терминологию теории информации, сообщение, в котором снимается энтропия, порождаемая отдельным предложением.

Конечно, встречаются такие предложения, которые в силу своих семантических свойств (например, обобщенно-философское суждение) не полностью теряют свою самостоятельность и в этом случае сами значительно влияют в семантико-структурном плане на свое окружение. Это — сентенции, афоризмы, парадоксы и другие формы обобщенно-философской мысли. Однако и их самостоятельность в значительной степени относительна: они почти всегда ориентированы на окружение.

Релятивность является обязательным признаком текста еще и потому, что она обеспечивает необходимую долю избыточности, столь существенную для языка в действии. Известно, что избыточность как бы встроена в структуру языка и имеет свое конкретное воплощение в речевом процессе. В тексте избыточность приобретает особые качества, отличные от избыточности в живой речи. Характерной чертой избыточных форм в тексте является их соотношенность с основной информацией.

Если в качестве единиц, конституирующих текст, признать сверхфразовые единства, то в связи с введенным признаком релятивности возникает необходимость различения таких единств с точки зрения их отношений друг к другу.

В предложении предикат обычно выражается словом или словосочетанием, несущим в себе основное содержание высказывания; в сверхфразовом единстве предикативным обычно является какое-то одно, существенное (семантическое) предложение (*topic sentence*, *motif*, *focus* и т. д.); точно так же в тексте, взятом в абстракции, некоторые сверхфразовые единства являются предикативными по отношению к другим. Таким образом, единицы текста не равнозначны по степени своей информативности. Наибольшей степенью информативности обладают те сверхфразовые единства, которые мы будем называть предикативными, наименьшей (вплоть до нулевой) — те, которые мы будем называть релятивными.

Предикативные сверхфразовые единства в некоторых типах текста занимают начальное положение и в таких случаях часто проявляют тенденцию к итеративности, прямой или синонимической. В других типах текста предикативные сверхфразовые единства располагаются в середине или в конце текста. В этих случаях их итеративность может и не проявиться. Релятивные сверхфразовые единства обычно выступают в качестве подспорья к предикативным (ср., например, описательные единства). Они характеризуются избыточностью информации, важной для любого типа текста.

Соотношение предикативных и релятивных сверхфразовых единств текста меняется в зависимости от типа текста (resp. функционального стиля языка). В поэтических текстах релятивных сверхфразовых единств почти нет. В драматургических они превалируют над предикативными. В текстах художественной прозы их соотношение колеблется в зависимости от целого ряда причин — индивидуальной манеры автора, литературных канонов, жанра произведения и других.

Текст как целое обладает собственной предикативностью, отличной от предикативности входящих в него компонентов. Грамматика текста действительно требует определения параметров, по которым можно составить представление о предикативности текста. Традиционная стилистика пыталась путем сжатия текста получить его основное (предикативное) содержание, но проводилось это чисто эмпирически, а именно — сведением текста к одному-двум «ключевым» предложениям (фр. *résumé*

precis или англ. summary). В конечном итоге, и в тезисах докладов представлено стремление снять избыточность и свести текст к его предикативным сверхфразовым единствам.

Существенное значение для понимания лингвистической природы текста имеет порядок следования релятивных и предикативных сверхфразовых единств и разнообразные типы связи между ними. Единство текста может быть нарушено при изменении порядка следования, так как нередко такое изменение может повлечь за собой переосмысление связей между предикативными сверхфразовыми единствами. Типы связей, если не считать эксплицитно выраженных союзами и союзными предложениями, еще мало разработаны, а они в большинстве случаев и определяют цельность и логическую завершенность текста²⁹.

Важным смысловым параметром художественного текста, в отличие, скажем, от текста деловых документов, является модальность, понимаемая в самом широком смысле слова. В текстах этого типа, а также в текстах публицистических и даже некоторых научных проявляется в большей или меньшей степени отношение автора к сообщаемым фактам. Языковые средства, обеспечивающие эксплицитное выражение модальности, весьма разнообразны. В тексте как в целостной системе эти средства не ограничены отдельными словами и предложениями. По этому модальность текста коренным образом отличается от модальности предложения и модальности сверхфразового единства. Если модальность предложения эксплицитно выражена лексическими или грамматическими средствами, если модальность сверхфразового единства выражена, кроме этих средств, и ремарками автора, то модальность текста выявляется в сложных взаимоотношениях релятивных и предикативных сверхфразовых единств.

Значительную роль при выявлении модальности текста играет система стилистических приемов литературной обработки, в особенности средства образности, эпитеты, повторы и др. и более глубокий анализ энтропии семантических элементов, разбросанных в тексте и не всегда доступных декодированию.

Для того чтобы создать типологию текста, необходимо также учесть два взаимосвязанных подхода к анализу текста. Первый подход — индуктивный, т. е. рассмотрение отдельно взятого сверхфразового единства в его потенции служить компонентом текста. В этом случае к каждому сверхфразовому единству применяется структурный, семантический и особенно трансформационный анализ с целью обнаружения имплицитных связей с другими сверхфразовыми единствами. После такой операции представляется необходимым выявить окружения данной единицы — как непосредственно прилегающие к ней, так и дистантные, релевантные для правильного ее понимания. Второй подход — дедуктивный, т. е. рассмотрение текста, внутри которого подвергаются анализу отдельные сверхфразовые единства как его звенья, причем рассмотрение каждого из них предполагает те же операции, что и при первом подходе, однако с позиций целого текста. При анализе крупных текстов происходит совмещение того и другого подхода. Сверхфразовое единство представляет собой замкнутую структуру (даже при наличии в нем деиктических элементов). Текст не обладает параметром «замкнутости», и его сконцентрированность, компактность и целостность все же оставляет его «открытым».

²⁹ В цит. работе С. Д. Кацнельсона к средствам связи относятся также слова и выражения, несущие функцию темпоральной организации текста: *сначала, потом, ранее, позднее, много времени спустя, незадолго до этого*; функцию логической организации текста: *поэтому, при этом условии, однако, во-первых* и т. д.; сюда можно добавить и средства, указывающие на пространственную связь: *а там, за перелеском, внизу, поодаль, в отдалении* и т. п.

Понятие «открытости» текста выводится из тех основополагающих принципов теории информации, которые значительно обогатили наши представления о языке как средстве коммуникации. Если предложение, рассматриваемое как компонент сверхфразового единства, теряет свою самостоятельность и лишается своей «замкнутости», если в свою очередь сверхфразовое единство как компонент текста также теряет свою «замкнутость», то текст остается открытым потому, что он не является конститутивной единицей какого-то еще более высокого уровня языковой структуры. Предельность текста, очевидно, тоже может быть установлена. Фактически она установлена для некоторых типов текста: статьи, рассказа, делового письма и пр. Беспредельных текстов не существует, однако масштабность текстов требует иных, еще не совсем определенных методов анализа. Кто-то из математиков сказал, что необычные масштабы рождают необычные идеи. Будем надеяться, что наша наука найдет лингвистически обоснованные, а значит объективные, методы анализа текста как графически воплощенного, особого речетворческого произведения.

А. С. ЛЬВОВ

**ВАРЬИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ В ПАМЯТНИКАХ
СТАРΟΣЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ**

1. Дошедшие до нас рукописи старославянской письменности в большинстве представляют перевод с греческого языка. Полагают, что все они, особенно евангелия, переведены в середине IX в. с канонизированных, или официально утвержденных, греческих церковных книг лукиановской, или константинопольской, редакции¹. Казалось бы, эти славянские церковные книги, предназначенные для повседневного пользования ими в церковной службе, должны быть едины как по содержанию, так и в средствах выражения, потому что того требует их священность, а также канонизация. На практике же почти все по-другому. Пожалуй, не найдется двух рукописей краткого апракоса, полностью идентичных по составу или расположению текстов. Так, в Ас² в воскресенье 17-й недели Новому лѣту (год начинался или с 1-го сентября или с 1-го марта) читается Л XIX, 12—16, а в Остр — Л XVIII, 9—14; в Сав и Остр в воскресенье 16-й недели Новому лѣту читается Мф XV, 21—28, а в Ас — Л XVIII, 9—14; в Сав и Остр в воскресенье Цветной недели на заутрени читается Мф XXI, 1—17, в Ас чтение на заутрени в этот день отсутствует; в 5-ю субботу великого поста в Ас и Остр читается Мф VIII, 27—31, а в Сав — Мк II, 14—17 и т. д.³ Такой разницей в расположении текстов скорее всего может свидетельствовать о том, что в основном почти каждая дошедшая до нас рукопись апракоса представляет книгу, составленную заново по определенному образцу на основании имеющихся у составителей рукописных данных, но едва ли какая-нибудь из них механически скопирована с какого-то одного оригинала.

Помимо этого, дошедшие до нас старославянские рукописи самых старших списков изобилуют различными написаниями, в большей части объясняемыми на основе того или иного славянского языка или его диалектов. Например: Л I, 14: мнози о рождѣтѣ его възвздасуѣтъ са (Ас, л. 148а); ... о рождѣтѣ (Остр, л. 278 б.); ... о рождѣтѣ (Зогр., л. 132а, Мар, л. 786); в Сав нет этого места, то же слово в Мар зафиксировано еще в начертании рождѣта (л. 146), как в Клоц и Киев дл.

Эти же рукописи изобилуют различными грамматическими (морфологическими), лексическими и другими вариантами. Для практического представления этого явления приведем из 5 списков евангелий X—XI вв. Мф V, 42—43: Ас: прогаштоумоу оу тебе даи и хоташтааго заѣгѣ не

¹ Кроме названной, различают еще греческие церковные книги исихиевской, или александрийской; палестинской (также сирийской), или иерусалимской, а также западной редакций, которые старше и архаичнее текстов лукиановской редакции (или: рецензии).

² В статье приняты следующие сокращения: Ас — J. K u r z, Evangeliiā Assemanū, codex Vatikanský 3, Slovanský, díl II, Praha, 1955; Зогр — Зографское евангелие, изд. В. Ягича, Bergolini, 1879; Мар — Мариинское четвероевангелие с примечаниями и приложениями, изд. И. В. Ягича, СПб., 1883; Остр. — А. Востоков, Остромирово евангелие 1056—1057 гг., СПб., 1845; Сав — Саввина книга, изд. В. Щепкина, СПб., 1903.

³ Подробнее об этом: Л. П. Жуковская, Текстологическое исследование наследия Кирилла философа, «Константин-Кирилл философ. Доклады от симпозиума, посвящен на 1.100 годишнина та от смъртта му», София, 1971.

отъзврати; Остр: просащюумоу оу тебе даи · и хоташаго отъ тебе зъвати не отъзрати; Сав: просашюмоу Ѹ тебе даи · и хоташаго оу тебе ка зъвати не къзвати; Зогр: просаштмоу оу тебе даи · I хоташтаго отъ тебе зъвати не отъзрати; Мар: просаштоумоу оу тебе даи · I хоташтаго отъ тебе зъвати не отъзрати, греч. τῷ αἰτοῦντί σε ὁός καί τόν θέλοντα ἀπό σοῦ δαίσασθαι μὴ ἀποστραφῆς⁴; буквально: «просящему тебя дай и желающего от тебя зъпать — не отвергай (не отказывай)».

Прочитываемое является стихом 42, а следующий 43-й стих читается так: Ас ... къзъмѣ иск(р)нѣаго късего · и къзненакѣдѣ крага (с)късего⁵; Остр ... къзъмѣши ближнѣаго късего и къзненакѣдиши крага ткъсего; Сав ... къзъмѣши ближнѣаго ги · и ненакѣдиши крага късего; Зогр ... къзъмѣши подруга късего · и къзненакѣдиши крага късого; Мар ... къзъмѣши искрнѣаго късего · I къзненакѣдиши крага късого; греч. ... ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρὸν σου; буквально: «полюбишь (взлюбишь) ближнего твоего и возненавидишь врага твоего».

Приведенные примеры показывают, что в каждом списке евангелий находятся свои особенности написаний или словоупотреблений. Что касается конкретно начертаний шг, цг, то это явление графическое: слитное или раздельное изображение аффрикаты ш^т. Написание же после этой аффрикаты оу или ю возможно рассматривать как отражение на письме твердого или смягченного произношения его. Также можно объяснить написание ж после ж вместо ожидаемого л, но те же написания возможно истолковать и как неумение писца на практике различать буквы ж и л (в Восточной Болгарии в XI в. был только ж, а звука, изображаемого посредством л, там не было). Путаница в употреблении ж и л отражена в написаниях къзъмѣши (Зогр) и Сав) вместо къзъмѣши; къзненакѣдиши (Мар) вместо къзненакѣдиши.

Общезвестно, что написания просащюумоу, хоташтааго, искрнѣаго произошли из более ранних просаштнѣмоу, хоташтнѣаго, искрнѣаго в результате ассимиляции -оуѣ > оуоу; ѣѣ > ѣѣ, а из ассимилированных форм возникли стяженные -оумоу, -аго, тго⁶. Причину таких фонетических явлений следует искать во влиянии местной речи на язык церковных книг. В частности, стяжение, или контракция, гласных с древних пор была весьма характерна для чехо-моравской речи⁷. Как показывают данные, для языка первых переводчиков были характерными архаические формы прилагательных и причастий на -аго, -оумоу и т. д.

В стихе 43 обращает на себя внимание наличие трех слов искрнѣи, ближнѣи, подруга на месте одного греч. οὐ πλησίον. Большинство исследователей признает здесь первичным искрнѣи⁸.

В тексте Ас бросается в глаза факт невнимательности (или, может быть, усталости) писца, поэтому здесь в стихе 42 оказалось пропущенным ме-

⁴ Греческие соответствия здесь и ниже приводятся по изданиям: H. V. S o d e n, Die Schriften des Neuen Testaments in ihrer ältesten erreichbaren Textgestalt, II, Göttingen, 1913; A. M e r k, Novum Testamentum graece et latino, ed. 9, Romae, 1964.

⁵ Заключенные в скобки буквы в рукописи отсутствуют.

⁶ См.: С. М. К у л ь б а к и н. Грамматика церковнославянского языка по древнейшим памятникам. «Энциклопедия славянской филологии», 10, Пг., 1915, стр. 77 и сл.; P. D i e l s, Altkirchenslavische Grammatik, Heidelberg, 1932, § 86, стр. 191 сл.; A. V a i l l a n t, Manuel du vieux slave, I, sec. éd. Paris, 1964, § 80, стр. 119 и сл., и мн. др.

⁷ P. H a x t i g a l, Славянские языки, М., 1965, стр. 75 и сл.; С. Б. Б е р н ш т е й н, Контракция и структура слога в славянских языках «Славянское языкознание», М., 1968.

⁸ V. J a g i ć, Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache, Berlin, 1913, стр. 351; А. С. Л ь в о в, Очерки по лексике памятников старославянской письменности, М., 1966, стр. 48 и сл.

стоименные в род. падеже с предлогом *отъ тебе*, а в стихе 43 в двух словах пропущены буквы, поэтому тут читаются *искрѣнаго* и *скоего* вместо *искрѣнаѣго* и *скоего* или *ткогого*. Употребление глаголов *вззѣмѣ* и *вззѣмѣнаѣдѣ* в этой рукописи, возможно, также возникло в результате пропуска окончания *-ши*, так как в греческом тексте на месте их находим только глаголы будущего времени 2-го лица изъявительного, а не повелительного склонения.

Выделяется особо текст Сав, где вместо *отъ тебе*, соответствующего греч. *ἀπό σοῦ*, находим *оу тебе*; здесь же см. передачу греческого инфинитива *ἀποστραφῆσαι* двумя словами *кз займз кзыати* вместо *займѣти* в других памятниках. На месте греческого глагола с отрицанием *μὴ ἀποστραφῆς* «не отвергай; не отклоняй» (просьбу) вместо правильного не *отзкрати* в Сав употреблено не *вззкрати*, которое совсем не передает значения указанного греческого глагола, потому что *вззкрати*ти в памятниках старославянской письменности употреблен в значении «вернуть; возвращать», ср.: *вззкрати ножѣ ... кз свое мѣсто* (Мф XXVI, 52 Ас, Сав, Остр, Зогра, Мар), т. е. туда, где нож был раньше; *вззкрати гри дебѣти гзбрѣвника архиеереомз и старцеомз* (Мф XXVII, 3 Ас, Сав, Остр, Зогра, Мар), т. е. тем, кто ему (Иуде) их дал; *вззкрати и кз пилатски* (Л XXIII, 11 Зогра, Мар), т. е. вернул его (Иисуса) обратно к тому, кто его послал. Употребление энклитического местоимения *си* (в дат. падеже ед. числа) вместо *скоего* (в род. падеже ед. числа) в Сав указывает на влияние болгарского языка, так как только в нем это местоимение с древних пор известно в роли определения, причем в языке первых переводчиков оно в этой роли не было употребительно⁹. Наконец, употребление в Сав глагола *ненаѣидѣши* вместо *вззѣненаѣидѣши* ошибочно, потому что в греческом тексте только *μὴθήσεις* — глагол в форме будущего времени, а *ненаѣидѣши* не содержит в себе элемента значения будущности.

В Зогра, в отличие от других, *кргаѣ скоѣ* во мн. числе, и эта форма, по имеющимся данным, не обусловлена греческим текстом стиха 43, так как в последнем всюду находим только *μὴθήσεις τὸν ἐχθρόν σου*. Однако в стихе 44 читаем: *ἀγαπάτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν*. Видимо, *кргаѣ скоѣ* вместо *кргаѣ ткогого* в Зогра появилось под влиянием этого последующего текста стиха 44.

В Остр (*кргаѣ ткогого*) — буквальная передача греч. *σοῦ*.

В целом на основании сопоставлений 5 списков Мф V, 42—43 с соответствующим греческим оригиналом можно констатировать, что славянских текстов, дошедших до нас без изменений, мало. Однако тем не менее в данном случае, бесспорно, возможна реконструкция текста в его первоначальном виде, который (в кирилловской транскрипции без учета некоторых спорных вопросов прастарославянской фонетики) читался: *Просащѣнемѣ оу тебе дажда · и хогашѣтѣмѣ стз тебе займѣти не отзкрати ... вззѣмѣши искрѣнаѣго скоего (или ткогого) и вззѣненаѣидѣши кргаѣ скоего (или ткогого)*. При этом передача греч. *τῷ αὐτῷτί σοῦ* — *просащѣнемѣ оу тебе* является обычным смысловым переводом, потому что и в других местах после глагола *просити* греческое местоимение в вин. падеже ед. числа передается род. падежом с предлогом *оу*, ср. Мк VI, 22: *αἰτήσόν με* — *проси оу мене* (Ас, Остр, Мар); Л XI, 13: *αἰτήσιν αὐτόν* — *просащѣнимз оу него* [Ас, Остр (дважды), Сав (дважды), Зогра, Мар]; И IV, 10: *σὺ ἂν ἤτησας αὐτόν* *тзи би просѣла оу него* (Ас, Остр, Зогра, Мар) и т. п.

⁹ Ф. С л а в к и, Праславянски и южнославянски елементи в ездику на Кирил и Методиј..., «Константин-Кирил философ. Доклади от симпозиума...», стр. 121 и сл.; А. С. Л ъ в о в, Старославянское *кз* *своѣ* *си*, «Проблемы истории и диалектологии славянских языков», М., 1971.

Всякие отклонения от первоначального текста могли произойти в результате дальнейших редакционных пересмотров или сопоставлений с греческим оригиналом, но других редакций, отличающихся от того, с которого был сделан первоначальный перевод. Однако в рассматриваемом примере приведенные разночтения, особенно в Сав, не зависят от греческого оригинала, поскольку в изданных греческих текстах другие варианты чтения Мф V, 42—43 не фиксируются. Таким образом, изменения в славянском тексте могли состояться и независимо от переводимого оригинала. Этот очень важный факт следует иметь в виду при изучении памятников старославянской письменности¹⁰.

Поняв главное, что первоначальный славянский текст должен быть единым и тесно зависимым от греческого оригинала, исследователи ввиду наличия разночтений приходили к необходимости восстановить первоначальный текст на основе изучения различных списков в сопоставлении с греческими оригиналами. Выделив при этом из дошедших списков текста все вторичные наслоения, исследователи задались целью объяснить по возможности происхождение разночтений. На эту тему написано очень много. Не ставя перед собою задачи обзора всей литературы, мы считаем все же необходимым остановиться на наиболее характерных взглядах.

II. Особенно много и плодотворно трудился в этой области В. Ягич. Ему посчастливилось выделить почти все лексические варианты многих списков евангелий (кроме упомянутых пяти, им привлечены к анализу еще Галицкое, Добрейшево, Добромирово, Мирославово, Никольское, Тырновское, Юрьевское и другие евангелия), псалтыри, апостола, разделив их на три группы: 1) «Варианты лексики. I. Отступления при производстве (слов. — А. Л.) от одного и того же корня»; 2) «Варианты лексики. II. Непереведенные выражения и их заменители»; 3) «Варианты лексики. III. Отклоняющиеся слова и выражения при передаче одного и того же греческого слова»¹¹.

Руководствуясь в основном частотностью употребления варьирующих дублетов, Ягич на первое место ставил то слово, которое в текстах встречалось чаще других, полагая, что оно и есть первичное, или употребленное первыми переводчиками. Остальные же дублеты он относил к поздним заменителям первичного слова. Порою Ягич справедливо относил к первичным два или даже три слова, например, *анѣлаъ* и *къстаникъ*, последнее в значении «сообщающий»; *апостолаъ* и *слаа*; *кратъ*, *кратоградъ* и *кратанъ*; *некома* и *нжда*; *субога* и *ништа*; *жрсоа* и *чръко* и т. п. Некоторые редко встречающиеся слова, например, *ашьга*, *маломштъ*, *натрсути* и т. п. Ягич относил к моравизмам, поскольку они получают объяснение на основе данных памятников письменности, а также современного чешского и словацкого языков, а *рѣснога* — к паннонизмам, поскольку оно объяснимо на основе данных словенского языка.

Конечно, не всякий часто встречающийся вариант может относиться к первичному слову или первичной форме. Так, лишь один раз зафикси-

¹⁰ Как известно, на это обращено внимание давно. В процессе изучения памятников старославянской письменности они были разделены на памятники охридской и преславской редакции. Хотя в этом делении много спорного, факт остается фактом: разночтения порою отчетливо отражают местные явления. См.: Р. М. Цейтлин, Лексика старославянского языка. АДД, М., 1973, стр. 11 и сл.; И. Гъльбов, Лексикални проблеми на стария български книжовен език, БЕ, год XXIII, кн. 1—2, 1973, стр. 50 и сл.

¹¹ V. J a g i ć, указ. соч., стр. 281—421; см. также: И. В. Ягич, Маринское четвероевангелие с примечаниями и приложениями, СПб., 1883, стр. 463—474; с г о ж е, Четыре критико-палеографические статьи, СПб., 1884, стр. 36—98; V. J a g i ć, Zum altkirchenslavischen Apostolus, «Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse», Wien, CXCI, 1919; CXCVII, 1920.

рованное в Ас слово *лажаѣ* на месте греч. *ἄρισ* в Мф XXIII, 37 никак не может быть отнесено к вторичным, потому что оно образовано от глагольной основы *leg* присоединением древнейшего суффикса *-ēja, -īja*, имеющего соответствие в литов. *-ėjās*¹². В отдельных болгарских списках евангелий это слово не заменено, но оставлено с изменением формы *лажаѣ* на *лажака*¹³, *лажа*¹⁴, что указывает на понятность и наличие его в староболгарских говорах. В целом же данное древнейшее слово оказалось вытесненным очень рано звукоподражательным *кокоша* не только в западнославянских, но и южнославянских языках. Едва ли могут быть сомнения в том, что слово *лажаѣ* как существовавшее в южнославянских диалектах могли ввести в текст церковных книг именно первые переводчики. Если бы первичным было здесь *кокоша*, как полагает Ягич, а за ним и К. Горалек, то никто бы его не стал заменять другим словом, тем более мало известным *лажаѣ*¹⁵.

По мнению Ягича, слово *непризна* в передаче греч. *οὐκ ὀμνῶς* является характерным для старших переводов; упомянутое греческое слово позже стали переводить как *ажкакзи*¹⁶. На самом деле *непризна* как калька нем. *Unhold*¹⁷ могло войти в церковные книги только в Моравии взамен *ажкакзи*. В западнославянских же языках слова от корня *lōk-* «кривой» в переносном значении не получили развития, да и вообще слова с этим корнем даже в прямом значении очень рано стали выходить в них из употребления. Мф VI, 9—13, содержащий молитву *Отче наша*, находится в составе Мф VI, 1—13, который читается в субботу сыропустной, или первой, недели великого поста. И это место, несомненно, относится к доморавским переводам. В частности, стих 13 в Ас: *не кжеди нагаз кз искоушение · нз избакн нзи ѿ ажкакгаго*, бесспорно, относится к первичному переводу, потому что в приведенной цитате находим слова с характерной южнославянской приставкой *iz-*: *ис-коушение*, *из-бакн*, а *ажкакзи* — также южнославянское слово, известное там и поныне. Тот же текст в Зогра и Мар читается с заменами: *не кжеди нагаз к напагга · нз избакн нзи отъ непризна*. Здесь южнослав. *искоушение* заменено на *напагга*; *ѿ ажкакгаго* — на *отъ непризна*, но при этом южнославянский глагол *избакн* оставлен без замены, что является показателем того, что тут не новый перевод, а изменение заменами уже существовавшего текста.

В греческих текстах на месте *кз искоушение* и *кз напагга* только *εἰς παραπλόν*; на месте *ѿ ажкакгаго* и *отъ непризна* — только *ἀπὸ τοῦ ποιητοῦ*, поэтому указанная вариантность не обусловлена переводимым оригиналом. В южнославянском или первичном переводе этой молитвы, которая дошла до нас в Ас, на месте греч. *ἀφήτη* находим глагол *оставити* ср.: и *остави нам дагаз наша ꙗко и маи оставатемъ должаникомъ нашим*; в Зогра и Мар указанный глагол заменен на *отъпоустн* и *отъпоускаемъ*. Этот факт

¹² A. Meillet, *Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave*, sec. partie, 2-e éd., Paris, 1961, стр. 390; E. Вегнекер, *Slavisches etymologisches Wörterbuch*, Heidelberg, 1908—1913, стр. 707; А. С. Львов, *Очерки по лексике...*, стр. 150 и сл.

¹³ К. Мирчев, *За едно старобългарско наименование на какашка*, БЗ, 1959, год. IX, кн. 3, стр. 252 и сл.

¹⁴ J. Rusek, *Staro-cerkiewno-slowian'skie słowa*, «Studia linguistica in honorem Thadasi Lehr-Splawinski», Kraków, 1961, стр. 199 и сл.

¹⁵ V. Jagić, *Entstehungsgeschichte...*, стр. 355; K. Horálek, *Evangeliaře a čtveroevangelia*, Praha, 1954, стр. 95.

¹⁶ V. Jagić, указ. соч., стр. 369.

¹⁷ И. Вашица, *Кирилло-мефодиевские юридические памятники*, «Вопросы славянского языкознания», 7, М., 1963, стр. 30; А. С. Львов, *Очерки по лексике...* стр. 198 и сл.; J. Stanislav, *Slovenské slovo nepriaznik*, stsl. *nepriaznъ* «diabolus», «Slavia», roční, XXV, seš. 2, 1956, стр. 254.

препятствует отнесению последних глаголов к первичным, как это делает Ягич¹⁸. В Ас греч. ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου передано: да придетъ црѣтко ткое; ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία — тко ткое еста црѣтко. В Зогра и Мар в обоих случаях ἡ βασιλεία передано формой црѣткие. Последняя форма, несомненно, западнославянская, ныне ее знает только чешский язык¹⁹.

Таким образом, хотя решение Ягичем проблемы первичности и вторичности в лексических вариантах в ряде случаев и спорно, но в его фундаментальном труде по описанию вариантов выдвинута основная проблема, которую предстоит решать, а именно, какие слова и формы употребили первые переводчики и какие являются их вторичными заместителями в том или ином славянском крас. Говоря иначе, Ягичем выдвинута проблема приспособления языка церковных книг к местной речи. Эта проблема им рассматривалась только как бессознательный процесс невольного вкрапления местного слова при переписке, но факты свидетельствуют о том, что такие замены, как ажкакзи на неприѣзна, искушение на напастъ, цѣсарьцтво на цѣсарьцтвие и т. п. возможно истолковать только как процесс осознанного действия.

Имелись попытки иного решения проблемы лексических вариантов. В. Вондрак в своей последней работе «O ksl. překladu evangelia v jeho dvou různých částech a jak se nám zachoval v hlavnějších rukopisech»²⁰ выдвинул мысль, что апракос и комплекторные части тетра переводили разные лица, поэтому в них наблюдаются употребления разных слов. Так, Вондрак считает слово книжаника принадлежащим апракосам, а книжачи — тетрам; соответственно: окона — катапетазма, мошна — крѣтишгѣ, корабл — ладии, книги — боукзи, чрѣждение — пирз, искушение — напастъ и т. д., употребленные для передачи одного и того же греческого слова. Автор убежден, что Константин (Кирилл) перевел апракос вольно, руководствуясь смыслом, а не буквой. Переводчики комплекторной части тетра старались точнее передать греческий текст. В Моравии механически слили оба текста, что и положило начало ряду лексических вариантов. Позднее стали руководствоваться буквой греческого текста и старались приспособить славянский текст дословно к греческому, а это привело к тому, что в ряде мест славянский текст потерял смысл.

Все теоретические положения В. Вондрака без проверки и оговорок принял К. Горалек. Известная его книга «Evangeliaře a čtveroevangelia» основана на названных теоретических положениях. Автор констатирует, что от поздних редакторов больше всего пострадал апракос, а в тетрах Зогра и Мар до нас дошел высококачественный перевод Кирилла.

По этому поводу заметим, что дословные переводы прежде всего находятся в текстах апракоса, читающегося по субботам и воскресеньям, причем эти тексты в той редакции повторяются и в тетрах, ср., например, Мф XXVIII, 1, который читается в субботу великой вечера, т. е. предпасхальной. Текст тут почти не имеет смысла, ср. Къ вечеръ же съботънаи скитажити къ прѣкжъ съботъ приде маритъ ... кидѣтъ гроба (Зогра, Мар, Ас, Сав, Остр). Почему вечеръ ... скитажити? Что такое къ вечеръ же съботънаи къ прѣкжъ съботъ — можно понять только после привлечения греческого текста. Мф XXIV, 6 читается в воскресенье 15-й

¹⁸ V. Jagić, указ. соч., стр. 369.

¹⁹ W. Vondrák, Vergleichende slavische Grammatik, I, Göttingen, 1906, стр. 446; J. Holub, F. Kopečný, Etymologický slovník jazyka českého, Praha, 1952, стр. 472.

²⁰ «Даничићев зборник», Београд — Лjubљана, 1925.

психологические доводы, точнее, сведения из общей теории перевода)»²³. Далее автор пишет, что, исходя из современных теорий перевода, «поняв само явление внутренней вариантности, мы не можем расставить варианты на конкретные места, мы не можем объяснить и конкретного варьирования между памятниками»²⁴.

Говоря проще, выдвинув абсолютную теорию, согласно которой варьирование создали первые же переводчики, автор пасует перед любым фактом, например: «Почему в Мф 4, 18 в Зогр и Ас нарицаамаго (?! — А. Л.), а в Сав рекомаго, если оба соответствующих глагола должны быть, безусловно, возведены (к? — А. Л.) первоначальному переводу?»²⁵. Кстати, в указанном месте в Зогр читается нарицажиггаго са, а в Ас — нарицамаго. Конечно, на основе только одних предположений и допущений, сформулированных исходя из современной общей теории перевода, ничего объяснить невозможно. Для этого требуется весьма основательный как текстологический, так и историко-лингвистический анализ любого примера.

Не дает результата и попытка решать проблему варьирования без привлечения греческих оригиналов, не говоря уже о данных отдельных славянских языков в их историческом аспекте, потому что и при этом, кроме допущений и предположений, ничего серьезного и заслуживающего внимания не предлагается²⁶.

Итак, четкого, ясного и бесспорного объяснения происхождения вариантности в памятниках старославянской письменности не существует. Несомненным является все же то, что переведенные в IX в. церковные книги не раз переписывались, а перед переписыванием точность их текста обычно сверялась с тем или иным греческим оригиналом. При копировании писцы вольно или невольно одни формы, а также и слова заменяли на другие. Помимо всего прочего, как показывают данные, многие дошедшие до нас церковные книги составлялись из разных рукописей, прошедших, надо полагать, разную степень редактирования.

III. Таким образом, первостепенными оказываются прежде всего вопросы о происхождении вариантов под воздействием греческих текстов разных редакций и о происхождении вариантов под воздействием местной речи, или иначе — в результате приспособления текста церковных книг к местной речи с целью сделать язык книг более доступным и понятным для паствы. Рассмотрим их.

1. Как мы отметили в начале статьи, перевод славянских евангелий как апракоса, так и тетра должен быть единым или однажды произведенным актом, разумеется, с одного же греческого оригинала. Это факт должен был бы исключать какие-либо разночтения.

Однако на практике нередки случаи, когда разночтения обусловлены именно греческим текстом. В доказательство приведем несколько примеров. И XIX, 27 в апракосах повторяется до трех раз, в Ас он читается так: ... и отъ того чага пошатъ жъ оученика тъ къ скоф си (л. 105, 118а, 146а), так читается этот текст в Сав (см. л. 1296, 1516); то же в Остр (см. л. 1936, 2726), но на л. 221а: ... и отъ того даге ... Кроме того, во всех трех примерах в Остр читаем ... къ скоф без дополнительного си. В Зогр и Мар текст читается так же, как и в Ас.

²³ Там же, стр. 65.

²⁴ Там же, стр. 81.

²⁵ Там же, стр. 80.

²⁶ Л. П. Жуковская, Лексические варианты в древних славянских рукописях, «Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка», М., 1964, стр. 5—17; е е же, Повторяющиеся чтения как лингвистический источник, «Восточнославянские языки. Источники для их изучения», М., 1973, стр. 72—98, и некот. др.

Откуда взялось слово *дане* вместо *часа* в Остр? В греческом обычное чтение *καὶ ἀπ' ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια*. Как видно, в большинстве приведенных примеров переведен только что цитированный текст, но в значительном количестве рукописей исихиевской и палестинской редакций вместо *τῆς ὥρας* читается *τῆς ἡμέρας*. Последний и отражен в Остр на л. 221 а. Кроме того, Остр. греч. *εἰς τὰ ἴδια* передает точно в согласии с переводимым оригиналом без дополнительного *си*, наличие которого не оправдано греческим текстом. Отмечалось, что *вз скоѣ си* может быть объяснено как балканизм на восточноболгарской почве.

Мф XXV, 46 читался в воскресенье мясопушта (масленицы). В Ас, Сав, Зогр, Мар, Остр текст его таков: И *иджѣ си* (си — Сав, Зогр, Мар) *вз мжжѣ чѣмжж ...*, а в Остр этот текст читается еще раз во вторник великой недели (последняя неделя великого поста), где находим: и *иджѣ си* *кз тамжѣ чѣмжж* (л. 152в). В первом случае переведен обычный греческий текст ... *εἰς κόλασιν αἰώνιον* а дополнительно введенный в Остр тот же текст оказался отредактированным по существующему варианту: *εἰς τὸ σκότος...*

И XXI, 15 в Ас, Зогр, Мар читается ... *Паги апаца моя*, а в Сав, Остр ... *паги скаца моя*. Более обычным в греческих текстах является *βόσκη τὰ ἀρνία μου*, перевод которого находим в Ас, Зогр, Мар. Однако в отдельных рукописях исихиевской, редко и в лукиановской редакциях находим *βόσκη τὰ πρόβατα μου*. Этот текст находим в Сав и Остр. В данном случае трудно сказать, какой из вариантов чтения является первичным по переводу и какой появился позже при редакционном пересмотре. Тем не менее разночтения зависят от греческих оригиналов.

Л VII, 24 в Мар: *опедзшема же вѣстаникома поаннокма начатѣ гѣти кз народомѣ о исанѣ а* в Зогр: *опадзшема же сученикома...* В апракосы это место не входило. В греческих текстах находим *ἀπελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων...* и *τῶν μαθητῶν...* вместо *τῶν ἀγγέλων*. В Мар передается первый греческий текст, а в Зогр — второй. Какой из них является первичным переводом и какой появился в результате редакционного пересмотра первичного перевода — без специальных разысканий сказать трудно.

Мф XXIV, 37 в Сав и Остр читается: *тако вждѣга пришегткне сна часкаго*, что представляет перевод греч. *οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου*. В Ас, Зогр и Мар это место читается: *тако вждѣга и вѣ дни сна чѣча*, которое, несомненно, является переводом ... *καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις...* Такой текст находится в древнейших греческих кодексах исихиевской, палестинской редакций. Теоретически последний текст должен быть первичным по переводу, поскольку в поздних редакционных пересмотрах руководствовались обычно текстами лукиановской редакции, принятой как официальный текст в Византии. О том, что текст Ас, Зогр, Мар является первичным по переводу, свидетельствует и единичное употребление в Ас притяжательного прилагательного *часкѣча*, которое во всех других списках заменено относительным на *-аска*, употребляемым и в функции притяжательного. Даже по наличию формы прилагательного *чѣча* следует считать, что такую форму могли употребить только первые переводчики.

Количество примеров, подобных приведенным, легко увеличить. Все они свидетельствуют о том, что первичный перевод славянских церковных книг позже исправлялся согласно канонизированным греческим текстам. Перередакция касалась отдельных рукописей, а в ряде рукописей до нас дошли тексты первичного перевода.

Итак, передача в славянских текстах особенностей тех или иных греческих церковных книг разных редакций вызывала вариантность в средствах выражения.

2. Во многих случаях на месте одного греческого слова в славянских текстах находим разночтения — несколько (два, три, порою и больше) дублетов, ничем не отличающихся друг от друга по семантике²⁷. Так, Л XIV, 21 в упомянутых 5 списках евангелий читается ... и ницага и вѣданиа и хромзана и сѣпзга какєдѣ сѣмо, что представляет перевод ... και τοὺς πτωχοὺς και ἀναπήρους και τυφλοὺς και χωλοὺς εἰσάγαγε ὅδε Л XIV, 13, который в апракосы не входил, в Зогр и Мар читается: егда твориши прих · зоси ницгага · маломощга · хромзи · і сѣпга, в греч. κἀλει πτωχοὺς, ἀναπήρους, χωλοὺς, τυφλοὺς Мк IX, 43 в Зогр и Мар читаем: ... добръга ти еста маломощгаж ка жикотга взинити, греч. καλὸν ἐστὶν σε καλλὸν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν. Это место в апракосы не входило.

В тетрах, как видели, греч. ἀναπήρος и καλλός переданы словом маломощга. Правда, в Мф XV, 31; XVIII, 8 в Зогр и Мар на месте греч. καλλός находится вѣданз. Это прилагательное общеславянское, которое в древности употреблялось в значении «несчастный; искалеченный». Маломощга с древних пор имеет соответствие в чешском языке в виде *malotoc, malotocný* «проказа; прокаженный; больной»²⁸. Поскольку в словацком языке *malotoc* — слово книжное²⁹, видимо, из чешского, а другие славянские языки наличие этих слов не фиксируют, то имеются основания полагать, что маломощга введено сначала в евангелия в Моравии в процессе составления тетра при переводе его комплекторных частей. По мнению Ягича, маломощга вошло в евангельские тексты в Паннонии³⁰, что едва ли соответствует действительности.

Моравизмом же является слово непризна, употребленное вместо ажкакзи в передаче греч. ποιητής (см. выше); по-видимому, сюда же мзгто, мзггара; поскольку они явные германизмы, они едва ли могли быть в IX в. в том южнославянском диалекте, на который переводились впервые церковные книги. Напастга вместо искоушение; кратзи вместо шадзи, ср. мзнокашадзи (Мк IX, 22 Сав, Остр), но мзнокшицєж (Ас, Зогр, Мар), греч. только πολλὰκις; мзнокрачга (Мк V, 4 Зогр, Мар), греч. πολλὰκις; едина, широко употребительное в чешском языке³¹ вместо етерз на месте греч. τις и многие другие, ожидающие выявления и объяснения.

Не вызывает сомнений, что вѣдѣчи вместо книги, сзворз вместо знамз; онсущга вместо сапогз; багрѣница вместо прѣпрѣдз, некѣтѣаника и затѣ вместо жєннхз; бажнанин вместо искранин; нѣкѣто, нѣкѣзи вместо етерз; негѣкѣда вместо гѣма; писма — писмена вместо книжга и т. д. являются болгаризмами, может быть, точнее — восточноболгаризмами³², непервичными, а вторичными дублетами, введенными в церковные книги не ранее X в.

Далее в переписываемые на Руси церковные книги вносились восточнославянизмы. Например, в Остр находим патаница (л. 36а) вместо патѣкз в южных и западных славянских языках³³, мечаника (л. 288а) вместо спеклаторз³⁴. Л XIII, 19 читается в субботу 12-й недели

²⁷ Сюда не относятся, например, передача греч. βάλλω, который переводился разными словами, исходя из смысла. Об этом см.: V. J a g i ć, Entstehungsgeschichte..., стр. 331 в 333.

²⁸ J. G e b a u e r, Slovník staročeský, d. II, Praha, 1970, стр. 307; F. T r á v n í ě k, Slovník jazyka českého, Praha, 1952, стр. 880.

²⁹ «Slovník slovenského jazyka», d. II, Bratislava, 1960, стр. 87.

³⁰ V. J a g i ć, указ. соч., стр. 269.

³¹ J. G e b a u e r, указ. соч., d. I, Praha, 1970, стр. 610 и см.

³² А. С. Л ъ в о в, Очерки по лексике..., стр. 297 и сл.

³³ А. С. Л ъ в о в, Выражение понятия времени в «Повести временных лет», сб. «Русская историческая лексикология», М., 1968, стр. 30.

³⁴ А. С. Л ъ в о в, Старославянское ли слово мечаника?, «Русское и славянское языкознание», М., 1972, стр. 180—184.

Новому лету, что является свидетельством того, что этот текст относится к самым первичным переводам. Читается он так: Подобано еста црѣстко нѣзгно зрѣноу гороушану еже приѣма чакъ какраже къ братсградъ екои (Ас, Сав, Остр, Зогр, Мар; не обращаем внимания на такие разночтения, как црѣсткие, нѣзкѣ и др.), греч. ... ἔβαλεν εἰς χῆρον εὐνοῦ.

В Остр цитированный текст повторяется еще раз (см. л. 2376) и читается он в память Авраамия (в календарях Ас и Сав это имя не упоминается). Здесь читаем: къвръже къ оградаъ екои вместо къ крѣтсградаъ.

Крѣтцъ, братсградаъ и поныне известны южнославянским языкам, в том числе и македонскому языку в значении «сад»³⁵. Слово же оградаъ в этом значении неизвестно южнославянским языкам. Лишь в старопольском находим *ogród, ogrodowy, ogródnik*³⁶ и в др.-русск. *сгородаъ, сгородаши, сгородашикъ*³⁷ в значениях «сад, садовый, садовник».

Едва ли можно сомневаться в том, что в приведенной цитате из Остр сградаъ может быть только искусственно переделанным др.-русск. сгородаъ > оградаъ; последнее употреблено и в ряде других русских списков евангелий вместо крѣтсградаъ³⁸. Помимо этого, в календаре Шишатовацкого апостола читаем: црѣстга свѣтаго консна шгороданика³⁹, последнее слово на месте греч. χηπουροῦ, в евангелиях обычно передающееся словом крѣтсградара, см. И XX, 15: сна же манаши ꙗко крѣтсградара еста. гла емоу (Ас, Остр, Мар; в Сав и Зогр нет), греч. ... ὁ χηπουρός ἐστίν... Едва ли возможны другие мнения, кроме того, что слово шгороданика могло войти в Шишатовацкий апостол только на восточнославянской языковой почве.

Не подлежит сомнению, что памятники старославянской письменности в языке приспособлялись в том или ином славянском крае к местной речи. Это давно известное явление пытались истолковать как невольные описки писца. При этом обращались к фактам орфографическим или заменам одних грамматических форм другими, вроде простого и сигматического аориста на -га более новыми формами, например, приѣз на приѣсхъ, приѣж — приѣша, къга — ведоша, ꙗга — ꙗша и ꙗсша и т. д. или заменам велии на великз, оствалъ — оствавикъ, сътворъ — сътворикъ, чловѣкъ — чловѣчскъ и т. п. Существует и такое мнение, что эти замены объясняются тем, что сам старославянский язык претерпел в своем строе изменения. Но трудно представить, чтобы язык с таким устойчивым и архаическим строем мог пережить подобные изменения за какие-нибудь 100—150 лет. Объяснение же этих замен приспособлением языка церковных книг к местной речи вполне правдоподобно и обосновано. Чтобы заменить то или иное написание, отражающее архаический строй языка, на новые формы, характерные для местной речи, необходимо знать их соответствия. Особенно это касается лексических замен, так как без знания семантических соответствий невозможно заменить *снмама* на *сѣборъ*, *сѣло* на *кельми*, *лжакани* на *непрѣзна*, *етеръ* на *едина* или *нѣкзи*, *крѣтсградаъ* на *оградаъ*, *ѣдана* на *маломошга* и прочее.

Бросается в глаза тот факт, что отдельные редакторы или сверщики к вопросу о приспособлении языка церковных книг к местной речи подходили осторожно; особенно это относится к древнерусским редакторам.

³⁵ «Речник на македонскиот јазик», I, Скопје, 1961, стр. 86.

³⁶ «Słownik staropolski», V, 7 (31), Wrocław — Warszawa — Kraków, 1968, стр. 536—539.

³⁷ И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, II, СПб., 1895, стлб. 606 и сл., 609.

³⁸ V. Jagić, указ. соч., стр. 330.

³⁹ «Slovník jazyka staroslověnského», II, Praha, 1973, стр. 514.

Отдельные же редакторы в этом заходили далеко, как это видно на примере Сав⁴⁰.

Задача состоит в том, чтобы, вскрыв все местные пласты, установить, как шло оформление общеславянского литературно-письменного языка. Как это выполнить — это специальная и сложная проблема, требующая особого рассмотрения.

3. Выделяется еще одна группа вариантов. И XVII, 1 в Ас читается: *кзкедз илз очи кси на нво рече оче приде година прсгласи гна ксого* (л. 30в и 97d — 98a); Сав: и кзкеде очи кси на нво и рече (л. 107a); *кззрѣкз іс очима ксима на нво и рече оче приде часз прсгласи си гна* (л. 25об.); Остр: *кзкедз илз очи кси на нво и рече прсгласи гнз тси* (л. 47a); и *кзкеде очи кси на нво и рече. Оче приде година прсгласи гна ткогго* (л. 173 г); текст Зогра и Мар совпадает с последним текстом Остра, за исключением того, что в обоих читается *гна ксого*, а в Зогра еще: (приде) *часз*.

Прежде всего в приведенных текстах обращает на себя внимание *кзкедз іс очи* (причастие) и *кзкеде очи* (аорист). На месте их в греческих текстах находим *ἐλάρας ὁ ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς* и *καὶ ἐπῆρε τοὺς ὀφθαλμοὺς*⁴¹. При этом чтение с причастием в греческих текстах обычно и распространено чаще по сравнению с чтением с аористом. В Сав, как видели, вместо *кзкедз очи* один раз находим *кззрѣкз... очима ксима*. Последним причастием в Мф XIV, 19; Мк VII, 34; Л XXI, 1 передан греч. *ἀναβλέψας*, а не *ἐλάρας*. Иначе говоря, в И XVII, 1 Сав (л. 25 об.) *кззрѣкз* вместо *кзкедз* употреблено под влиянием соответствующих текстов Мф XIV, 19; Мк VII, 34; Л XXI, 1. Эту замену следует назвать идентификацией, также ведущей к появлению варьирования в средствах выражения. Здесь не останавливаемся на таких разночтениях, встречающихся в приведенных цитатах, как *часз* и *година*, *си гна* и *гна ксого* или *ткогго*, которые относятся ко второй группе вариантов.

Приведем еще пример. Л XXIII, 45 в Ас и Зогра читается так: *слзницю мрзкшиюу (слзницю мрзкшию. — Зогра)* и *катапетазма црккнаа раздзра са на дзкоє ѿ горз до низюу (до низз. — Зогра)*; в Остр текст кончается словом на *дзкоє*, кроме того, вместо *мрзкшию* имеется *омрзкшиюу*; В Мар: и *помрзче слзнице · і катапетазма црккнат раздзра са на дзкоє*; в Сав нет этого места. Употребление дательного самостоятельного *слзницю мрзкшию* и конструкции с личной формой глагола: и *помрзче слзнице* обусловлено наличием в греческих текстах: *τοῦ ἡλίου ἐκλιπόντος* и *καὶ ἐσχίσθη ὁ ἡλῖος*⁴². Однако Л XXIII, 45 в греческом во всех случаях оканчивается... *ἐσχίσθη δὲ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον*. Обычно *μέσον* и *ἐν μέσῳ* переводится по *срѣдѣ*, ср.: *стати по срѣдѣ* (Мк, III, 3) — *ἐγεψε εἰς τὸ μέσον*; *оцца по срѣдѣ клзкз* (Мф X, 16) — *πρόβατα ἐν μέσῳ λύτων*; *корава же вѣ по срѣдѣ морѣ* (Мф XIV, 24) — *πλοῖον μέσον τῆς θαλάσσης τῆν* и другие. Таким образом, Л XXIII, 45 (*раздзра са*) на *дзкоє* не может быть переводом *μέσον*, а представляет перевод *ἐσχίσθη... εἰς δύο*. Такой текст находим в Мф XXVII, 51 и Мк XV, 38; первое из них читается: и *се катапетазма црккнаа раздз-*

⁴⁰ В. Щ е н к и н, Рассуждение о языке Саввиной книги, СПб., 1899; В. П о г о р е л о в, Опыт изучения текста Саввиной книги, «Sbornik filosofické fakulty University Komenského v Bratislavě», V, 46(1), Bratislava, 1927; В. В. Б о р о д и ч, К истории форм настоящего времени глаголов совершенного вида в древнеболгарском языке, «Уч. зап. Ин-та славяноведения АН СССР», III, 1951, стр. 345—393.

⁴¹ К. Н о г а л е к, Evangeliaře a čtveroevangelia, стр. 183.

⁴² А. М е г к, указ. соч., стр. 298; Б. И. С к у п с к и й, Об одном греческом соответствии славянского дательного самостоятельного, ФН, 1973, 4.

ра са съ възпантаго крат до нижантаго на дзкое (Ас, Остр. Зогр, Мар; опона вместо кагапечазма. — Сав). Мк XV, 38 не входил в краткий апракос, в Зогр и Мар он читается так: і опона црккнатъ раздзра са на дзкое съкзише до ниже. Данные свидетельствуют, что Л XXIII, 45 в тексте идентифицирован с текстами Мф XXVII, 51 и Мк XV, 38, поэтому в нем находим на дзкое вместо ожидаемого по срѣдѣ, а в отдельных памятниках приводится продолжение текста ѿ гора до низоу.

Таким образом, идентификация, или отождествление, является одним из приемов, создающих вариатность в средствах выражения; в разных или в одной и той же рукописи сосуществует идентифицированный текст рядом с неидентифцированным.

*

Приведенные три группы вариантов являются основными группами разночтений в памятниках старославянской письменности. При исследовании разночтений необходимо соблюдать два условия:

1. Памятники старославянской письменности непременно следует изучать в сравнительно-сопоставительном плане, по крайней мере, для евангелий при этом обязательно привлечение не менее 5 списков, использованных нами выше. Кроме того, данные евангелий необходимо анализировать в сравнении с данными других памятников — апостола, псалтыри, тревника, житий, гомилий и т. д. Лишь такое изучение может дать убедительный материал для установления как происхождения, так и движения и развития того или иного варианта.

2. Данные памятников старославянской письменности обязательно следует сопоставлять и сравнивать с данными соответствующих греческих, порою и латинских текстов. Здесь нельзя ограничиваться только изданными греческими текстами, необходимо использовать и рукописное наследие, особенно апракосов. В противном случае можно впасть в непростительные ошибки. Приведем пример. Мф XXIV, 39 в Ас и Остр повторяется дважды и оба раза читается: ... приде пстопз и казача каса, а в Сав, Зогр и Мар: приде кса ... В изданных греческих текстах здесь читаем только ἦλθεν ὁ κατακλιθεὶς καὶ ἔρεν ἄπαντας; то же Л XVII, 27, не входивший в краткий апракос: приде пстснх..., греч. ἦλθεν ὁ κατακλιθεὶς...

Откуда же взялось тут кса? Надо полагать, что такой греческий текст Мф XXIV, 39, где бы читалось ἦλθεν το ὄρον..., был и есть. В пользу этого свидетельствует то, что в Бытии об этом же говорится: ὡφάθη το ὄρον... καὶ ἐπεκάλυψεν πάντα (VII, 20)⁴³; во 2 посл. Петра: ὄρατι κατακλιθεῖς ἀλώετο (III, 6).

До тех пор, пока славянский текст не изучен в сопоставлении со многими греческими, порою и латинскими рукописями, нельзя делать вывода ни о технике, ни о качестве перевода, а также решать, что относится к переводу и что к нему не относится.

⁴³ Septuaginta, Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes, editit A. Rahlfs, Stuttgart, 1965, стр. 10.

Т. И. СИЛЬМАН

ЛИРИЧЕСКИЙ ТЕКСТ И ВОПРОСЫ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНЕНИЯ *

1. За последние десятилетия учение об актуальном членении предложения, а также цельного текста значительно продвинулось вперед¹. Тем не менее до сих пор мы располагаем лишь немногими работами, целью которых было бы уяснение того, как актуальное членение предложения преломляется в различных функциональных стилях языка², и того менее — в различных жанрах художественной литературы. В частности, еще не был сколько-нибудь отчетливо поставлен вопрос о специфике актуального членения предложения в стихотворном тексте и о том, как эта специфика выражает себя в плане интонационном³.

Автор настоящей статьи поставил перед собой цель осветить этот вопрос на материале текстов лирической поэзии.

В первую очередь следует отметить, что самый термин «актуальное членение предложения» может быть применен к поэтическому тексту до известной степени лишь условно. Этот термин предполагает такую организацию предложения, которая предопределена особой коммуникативно-познавательной установкой говорящего — а именно, установкой на введение в предложение коммуникативно новых (и в этом плане более существенных) компонентов, противопоставленных компонентам уже известным и поэтому в коммуникативном плане менее существенным (исходной информации, «данному» противопоставляется информативный центр — «новое»). Подобное построение характерно как для обиходно-разговорной речи, так и для всех видов делового и научного языка, а в какой-то мере и для художественной прозы. Конечно, и здесь сплошь да рядом возможны конструкции, в которых противопоставление данного и нового снимается — например, так называемые одночленные фразы в трактовке Л. В. Щербы⁴. В очень длинных и усложненных предложениях разбиение на данное и новое также нередко наталкивается на значительные трудности. Однако в целом для названных видов речи деление предложения

* Текст статьи публикуется без редакционных изменений. Были произведены лишь мелкие технические поправки. — *Ред.*

¹ Помимо широко известных работ В. Матезиуса, К. Бооста, К. Г. Крушельницкой, В. П. Расилова, необходимо упомянуть статьи О. А. Лаптевой, Т. М. Николаевой, Я. Фирбаса, А. Л. Пумпянского в ВЯ, 1972, 2, трактующих ту же проблему в различных аспектах.

² О. А. Л а п т е в а, Некоторые понятия теории актуального членения применительно к высказыванию в разговорной речи, ФН, 1973, 6.

³ В своих специальных работах стиховеды дали подробное описание поэтической интонации, включая ее в общую проблему ритмико-интонационного движения стиха, однако, естественно, не касались при этом таких чисто языковедческих проблем, какой является проблема актуального членения. См.: Б. М. Э й х е н б а у м, О камерной декламации, 1923 (перепеч. в сб.: Б. Э й х е н б а у м, О поэзии, Л., 1969); С. И. Б е р п ш т е й н, Стих и декламация, сб. «Русская речь», Л., 1927; Л. И. Т и м о ф е е в, Очерки теории и истории русского стиха, М., 1958, стр. 30 и сл.; В. Е. Х о л ш е в н и к о в, Типы интонации русского классического стиха, сб. «Слово и образ», М., 1964; Б. П. Г о п ч а р о в, Звуковая организация стиха и проблемы рифмы, М., 1973, стр. 88 и сл.

⁴ Л. В. Щ е р б а, Фонетика французского языка, 7-е изд., М., 1963, стр. 122 — 123.

на данное и новое является типовым признаком. Это связано с самим коммуникативным их назначением.

Между тем в стихотворных произведениях принцип деления предложения на «данное» (и потому менее существенное) и «новое» (более существенное) претерпевает значительную трансформацию, обнаруживая явную тенденцию к ослаблению, что связано по меньшей мере с двумя факторами, органически друг с другом соотносенными: во-первых, со стиховой организацией речевого ряда, во-вторых, с самой образно-смысловой структурой лирического стихотворения.

1. Стиховая организация речевого ряда, будучи ориентирована на определенные по величине и повторяющиеся по ритмико-мелодической структуре отрезки речи, принципиально противоположна разнообразию интонационных форм практической речи. Интонация, которой поэты пользуются при чтении своих (и чужих) стихов, резко отличается не только от каждодневной бытовой скороговорки, но и от устных форм деловой речи с выделением в них крупных ритмико-смысловых отрезков. Каждое знаменательное слово в стихе произносится значительно медленнее, весомее, паузы между отдельными словами или краткими одноударными словосочетаниями почти всегда выделяются, в то время как в нашей обиходной и деловой речи паузы сохраняются лишь между более объемными отрезками речи — синтагмами, «группами высшего порядка», фразами⁵.

Кроме того, — что, по-видимому, наиболее существенно, — стихотворные строки в целом, ориентированные на единую для данного стихотворения ритмическую схему, произносятся поэтами как изоморфные напевные единицы, и в этой повторяющейся из стиха в стих мелодии тонут или нейтрализуются, — во всяком случае, слабеют — синтактико-интонационные ударения, связанные с фразовым, логическим, а также эмфатическим ударением, свойственным синтаксическим структурам, выполняющим определенное коммуникативное задание.

Давний спор между поэтами, с одной стороны, и профессионалами-читателями и актерами, с другой, по поводу того, как следует произносить стихи — патетически-замедленно и в то же время монотонно-напевно (как читают поэты) или же со всеми фразовыми, логическими и эмоциональными выделениями на фоне прозаической скороговорки, нейтрализующей более мелкие интонационные единицы, а иной раз и фиксированную паузу в конце стиха (как часто читают стихи драматические актеры), — является внешним показателем этого существенного различия двух интонаций — лирически-стиховой и коммуникативно-прозаической⁶.

2. Образно-смысловая структура одного из важнейших стихотворных жанров, а именно — лирической поэзии, наименее близка основному принципу, определяющему актуальное членение предложения — принципу коммуникативности. Различия между двумя интонациями — условно говоря, прозаической и стиховой — заложены прежде всего в самом существовании двух противостоящих друг другу литературных жанров — эпоса и лирики.

Условной исходной посылкой, неотделимой от самой сути эпического жанра, является ситуация рассказчика-повествователя в кругу слушателей. Установка эпического жанра насквозь коммуникативна. Эпический герой, персонаж романа или новеллы — это тот, с кем приключилось нечто, достойное всеобщего внимания, — будь то события внешней действительности или же внутренние переживания. Повествование про-

⁵ Л. В. Щ е р б а, указ. соч., стр. 87, 125, 130.

⁶ Ср.: Б. М. Э й х е н б а у м, Мелодика русского лирического стиха, сб. «О поэзии», Л., 1969, стр. 330 и сл.

зайка неуклонно движется вперед, вслед за развитием действительности, от более известного к менее известному, от «данного» к «новому», — установка, находящая свое отражение как в структуре главы, так и в структуре эпического абзаца и предложения.

Совсем по-иному обстоит дело с лирикой. Условно принятой исходной ситуацией лирического жанра является ситуация сосредоточенного самоуглубления, при которой лирический герой (он же лирическое «я») лишь попутно говорит об основных этапах некоего существеннейшего для его внутренней жизни круга событий, впечатлений, мыслей, чувств, чтобы сконцентрировать все свои душевные силы на этом комплексе и прийти к его оценке и пониманию. Внешняя действительность в лирическом стихотворении предстает поэтому в переработанном виде, как материал мысли и чувства.

Лирическая ситуация, из которой рождается стих, связана, таким образом, с известным отделением от окружающей реальности, она протекает по заданию жанра вне контакта со слушателем, собеседником, иначе говоря — она внекоммуникативна. Между тем наличие возможного собеседника есть основное условие для внесения элементов актуального членения в текст высказывания-сообщения⁷.

Это лишь позднее, «потом», мы слушаем и читаем стихи как свидетельства чьего-то сложного душевного состояния, но согласно исходной позиции лирического жанра стихи, даже в случаях обращения к другу, к возлюбленной, создают без конкретно-жизненного присутствия «адресата». Лирическое стихотворение есть прежде всего разговор лирического героя «с самим собой». Это не значит, что условного адресата в тексте стихотворения нет. Поэт обращается к природе, к предметному миру, к человечеству в целом, он обращается не только к живой возлюбленной, но и к мертвой. Рядом с пушкинским стихотворением «Я вас любил...» стоит его же «Для берегов отчизны дальней».

Но на подлинную коммуникативную установку такая структура, естественно, не похожа. Отсюда — минимум пояснительного материала, ничтожная по размерам экспозиция, известная неясность, закрытость, «герметичность» некоторых стихов, требующих повторного прочтения. Если лирический герой что-то и объясняет, то объясняет он это прежде всего самому себе, скорее напоминает, а не воспроизводит целиком.

Другое дело, что обращение к себе тоже является видом обращения и что в дальнейшем своем существовании стихотворение получает также внешнего адресата — читателя или слушателя. Но в час своего становления лирическое стихотворение характеризуется своеобразной установкой автора на отрешенность от собеседников, а тем самым и характеризуется совершенно своеобразным соотношением данного и нового.

Основной «данностью», из которой вырастает вся семантическая структура лирического стихотворения, является его герой, лирическое «я». К этой «данности» примыкает некоторая, чаще всего весьма скудная, исходная информация, оформленная скорее с помощью пунктирных на-

⁷ Ставя проблему актуального членения предложения и текста в общелингвистическом плане, О. А. Лаштева пишет: «Скорее всего актуализация должна пониматься в плане потенциальной возможности каждого высказывания (естественно, кроме однословного) представляться в речи расчлененно в коммуникативном отношении... Осуществление этой возможности связано с коммуникативными установками говорящего (пишущего), в задачу которого может входить или не входить специальное прояснение информационной структуры высказывания...». «Чем более непосредственным является контакт с собеседником, тем больше возможности для говорящего влиять на восприятие его речи собеседником и ставить себе специальные коммуникативные задачи...» (О. А. Л а ш т е в а, Перешенные вопросы теории актуального членения, ВЯ, 1972, 2, стр. 44).

меков. Отраженный в стихотворении момент глубокой душевной концентрации, постижения, «озарения» весь целиком пронизан движением к «новому» — и для нас, и, что особенно важно, для самого героя. Благодаря установке лирического жанра на краткость, напряженность и сконцентрированность всех душевных сил лирического героя на разрешении какой-то одной, важной для него, темы, вещи и события, пусть даже давно ему известные, благодаря внезапно открывшимся в них связям и сопоставлениям приобретают характер неожиданности и новизны, особенно по мере продвижения лирического сюжета к его результирующей итоговой концовке, к самому моменту познания некоей «истины»⁸. Информационная значимость каждого элемента высказывания здесь поэтому намного выше, чем в эпическом жанре.

Таким образом, если, согласно общезыковой точке зрения, как во множестве отдельных предложений практической речи, так и в высказывании в целом можно обнаружить движение от «данного» к «новому», то лирический текст отличается от прозаических высказываний (в том числе и от художественной прозы) тем, что область «данного» благодаря особой подаче материала максимально сужена и урезана, а само движение стихотворного текста можно было бы определить как движение от кратчайшего «данного» к «новому» и от этого «нового» — к «новейшему», иными словами — от исходной информации к информативному центру, а от информативного центра — к итоговому обобщению.

Актуальное членение в том системном виде, в каком мы его знаем по прозаическим текстам, в лирическом стихотворении тем самым обнаружить не удастся. Заранее известные истины из лирического текста по возможности исключены, семантическое движение в своей тенденции направлено на ступенчатое, часто расчлененное по отдельным строкам, но все же непрерывное в своей тенденции постижение «нового». Здесь скорее всего был бы применим термин, предложенный Т. М. Николаевой, а именно: «градуальное нарастание»⁹.

II. Однако при весьма существенных различиях двух интонационных форм — интонации практической или прозаической речи и интонации лирического стихотворения — нельзя все же уйти от того факта, что они, эти две формы, вырастают, в порядке альтернативы из одного и того же словесно-звукового материала.

Что же является общей исходной единицей для той и другой интонационной формы? Где общая материальная основа для различной интонационной интерпретации лирического текста? Думается, что в основе лирического текста лежит та же самая единица, которая является основой для всякого звуко-смыслового потока речи, но что она лишь по-иному интерпретируется в интонационном плане. Попробуем подойти к этому вопросу с большей лингвистической определенностью.

Вот что писал об этом Л. В. Щерба: «Звуковой поток в русском языке распадается на слова, благодаря тому, что каждое слово выделяется словесным ударением: мы читаем книгу научного содержания — 5 ударений и 5 слов. Правда, в русском существует некоторое число безударных

⁸ См.: Т. И. Сильман, Семантическая структура лирического стихотворения (к проблеме «модели жанра»), сб. «Philologica. Памяти акад. В. М. Жирмунского», Л., 1973, стр. 417.

⁹ Автор пишет: «Если актуальное членение... есть именно членение, то, напротив, идея градуального нарастания или убывания некоторого смыслового качества в высказывании (напряжения, коммуникативного динамизма и т. п.), строго говоря, не связана с членением предложения, а соотносится с поэлементной модификацией всего высказывания» (Т. М. Николаева, Актуальное членение — категория грамматики текста, ВЯ, 1972. 2, стр. 54).

слов — так называемых энклитик и главным образом проклитик, но это не меняет особенно дела, так как этих безударных словечек относительно немного и они имеют характер подвижных префиксов и суффиксов, а главное, так как нормально всякое ударное слово всегда сохраняет свое ударение на своем обычном месте»¹⁰.

Если учесть тот факт, что ударенное слово может приобщать к себе не только энклитические и проклитические словечки, но также и так называемые двойственные слова¹¹, то первичным ритмико-смысловым единством для русского языка, как и для некоторых других языков, явится, употребляя термин Л. В. Щербы, скорее одноударная «ритмическая группа»¹², а не отдельное слово. Мы будем далее именовать эти одноударные ритмические группы микросинтагмами — в отличие от «больших» синтагм, так называемых фраз, включающих в себя несколько ритмических групп, а разделяющие их паузы будем называть микропаузами.

Правда, в русском языке однословные микросинтагмы встречаются чаще, чем двусловные, а тем более трехсловные¹³. Важно то общее положение, что потенциально безакцентные слова, а среди них и такие важнейшие, как местоимения, не изменяя ударения основного слова, примыкают к нему и совместно с ним образуют некую первичную фонетико-смысловую единицу, которая является носительницей ударного слога, выступающего либо в окружении, либо с предварением, либо в сопровождении некоторого числа неударных слогов (практически в русском стихе от одного до пяти-шести псеударных максимально)¹⁴.

Микросинтагма является таким образом первичной ритмической единицей стиха, разительницей акцента; она образована либо одним ударным словом, либо различными сочетаниями (двух безударных слов с одним ударным и т. д., ср.: «И перед младшею столицей...» — здесь в первой микросинтагме пять неударных слогов группируются вокруг одного ударного).

Почему для стихотворения, как, впрочем, и для эпической прозы и вообще для всякого текста как целого, существенны не просто «слова», а именно микросинтагмы? Причина в том, что слово далеко не всегда входит в текст в качестве его первичной ритмико-грамматической единицы, как изолированная словоформа. а должно получить соответствующее оснащение в виде энклитик, проклитик и двойственных слов, — иначе говоря, сплошь да рядом данное слово может участвовать в конструировании синтаксически оформленного высказывания лишь в составе неоднословной микросинтагмы, и только тогда оно становится готовым текстовым звеном. В стихотворном тексте микросинтагмы (и однословные, и многословные) должны выполнять несколько задач одновременно: помимо того,

¹⁰ Л. В. Щерба, указ. соч., стр. 83.

¹¹ К ним относятся местоимения, однословные числительные и т. д. (см.: В. Жирмунский, Введение в метрику, Л., 1925, стр. 104 и сл.).

¹² Л. В. Щерба, указ. соч., стр. 84. О такого рода ритмических группах пишет, называя их ритмическими ячейками предложения, В. Г. Адмони: «Вокруг ударенного слога группируется обычно ряд неударенных слогов, не только в пределах одного слова, но и за пределами его — к ударенному слову „прислоняются“ неударенные слова, энклитики и проклитики, создавая ритмические группы, которые могут совпасть с синтагмой или оказаться лишь частью ее» (В. Г. Адмони, Введение в синтаксис современного немецкого языка, М., 1955, стр. 92).

¹³ В приводимом ниже стихотворении Пушкина «Я вас любил...» всего 50 отдельных слов, микросинтагм же 32, из них однословных — 16, двусловных — 14, трехсловных — 2: таким образом, однословные микросинтагмы составляют всего 50% всех микросинтагм данного стихотворного текста. Ср. по этому поводу: В. Жирмунский, указ. соч., стр. 184 и сл.

¹⁴ Ср.: И. Н. Голенищев-Кутузов, Словораздел в русском стихосложении, ВЯ, 1959, 4, стр. 23.

что они в результате своего сочетания образуют некое более или менее законченное по смыслу высказывание, подчиненное общим грамматическим нормам данного языка¹⁵, они должны также удовлетворять требованиям ритмического, мелодического и звукового движения стиха, его оснащенности рифмами, ассонансами, аллитерациями и другими элементами звуковой инструментировки, а также его членению на стиховые строки и строфы.

Поэтому особое значение для структуры стиха имеет акцент микросинтагмы, ибо находясь внутри (или на любой из границ) микросинтагмы, этот акцент является ее живым ядром, потенциальным элементом ее ритмического пульсирования внутри стихового текста, для которого данная микросинтагма предназначена.

Неравновеликость микросинтагм, их принципиальная асимметричность по отношению друг к другу, как по размерам, так и по расположению в них акцентного слога, создает основу для величайшей маневренности, ритмической вариативности русского стиха, его стиховых строк. Ударный слог, начиная с двусложных микросинтагм, благодаря свободному ударению в словах русского языка может «путешествовать» по микросинтагме в любом направлении, и расположение микропауз между микросинтагмами тоже очень по-разному делит стих на неравновеликие ритмико-мелодические отрезки, создавая особый узор — на фоне тенденции к симметрии ямбических, хорейских и дольниковых «стоп»¹⁶.

В прозаическом тексте самый факт пульсации данной микросинтагмы может сохраниться, но может и нейтрализоваться под давлением более масштабного — фразового или логического — ударения внутри более обширного синтаксического отрезка — «большой» синтагмы. Иначе говоря, акцент особенно отчетливо проявит себя в прозаическом тексте лишь в тех микросинтагмах, которые явятся носителями коммуникативно наиболее важных разделов текста, на фоне отрезков менее важных, которые, в особенности в разговорной речи, легко атонируются¹⁷. В тексте же поэтическом пульсация микросинтагм в результате их сочетания друг с другом отнюдь не подвергается нейтрализации, а напротив, превращается в фактор поэтической структуры данного текста, становится неотъемлемым показателем его поэтического качества, составляет его ритмический костяк. Наиболее ярко этот пульсирующий механизм микросинтагм проявляется в поэзии лирической, где он поддерживается предельной весомостью отдельных звуко-смысловых компонентов в силу той специфичности установки лирического текста, о которой говорилось выше.

Таким образом, интонационные формы — «прозаическая» и «стиховая» — вырастают на одной материальной основе: на ритмико-звуковом составе единого словесного ряда. Смена ударных и неударных слогов создает для них единый ритмический фундамент, на котором, при разной степени его использования, возникают различия в темпе, в членении на паузы, в мелодике — либо четкая ритмическая установка снимается и одерживают верх фразовые и логические ударения (прозаическая или «практическая» интонация), либо одерживает верх ритмическая установка,

¹⁵ Кроме опытов чисто «звуковой», десемантизированной поэзии.

¹⁶ В этом отношении немецкий стих сходен с русским, однако он колеблется в размерах микросинтагм наименьшего масштаба в связи с меньшими средними размерами слов в немецком языке. На противоположном полюсе находится французский стих, разделенный, как правило, одной паузой (цезурой) на две более или менее симметричные части, причем цезура совпадает обычно с паузой после фразового ударения.

¹⁷ См.: Л. Р. З и н д е р, *Общая фонетика*, Л., 1960, стр. 290. Исходя из рассмотрения главным образом прозаических текстов и высказывания, Л. Р. Зиндер говорит: «Синтагма (речь идет о „большой“ синтагме. — Т. С.) представляет собой интонационно неделимую единицу речевого потока» (там же, стр. 277).

и тогда возникает равноударная, изоморфная по мелодическому рисунку напевная стиховая интонация. Микропаузы между микросинтагмами во втором случае сохраняются полностью, а сами микросинтагмы не только не нейтрализуются в отношении своего акцента, но, наоборот, акцент этот приобретает особую отчетливость и весомость благодаря более медленному и напевному произнесению стихового текста¹⁸.

Во всякого рода переходных формах, в избылии представленных в поэзии: шутливые стихи «на случай», эпиграммы и т. п., моменты актуализации высказывания бывают выражены довольно отчетливо. Но даже и в подлинно лирических стихах лирическая интонация не всегда является целиком преобладающей: все зависит от общего эмоционального настроения и от конкретного тематического развития. Чаще всего элементы исходной информации, т. е. «данного», находят себе место в начале стихотворения, после чего происходит бурное развитие в сторону «нового» и «новейшего».

То, что оба типа интонаций могут «спорить» друг с другом на любом, даже самом малом отрезке стихового текста, доказывает, например, следующее рассуждение М. Л. Гаспарова: «Некоторую трудность при анализе словоразделов представляют те случаи, когда в междуударном интервале находится самостоятельное односложное и двусложное слово с ослабленным ударением. Такие слова легко атонируются и примыкают к предыдущему или последующему слову; но к предыдущему или последующему — это не всегда легко определить. Так, в стихе „Он шел и нес свое чудо...“ слово „свое“ явно теснее примыкает к последующему слову „чудо“, следовательно, словораздел окажется перед ним, т. е. будет мужским. Но в стихе „Кто знает, где это было?...“ слово „это“ одинаково тесно примыкает и к слову „где“ (произносительно), так что словораздел одинаково может стоять и перед ним — мужской, и после него — дактилический. В таких случаях опять-таки исследователю приходится полагаться на собственный слух, неизбежно внося элемент субъективности: так, мы в данном случае предпочли произносительную инерцию логической и считали „это“ энклитикой, хотя признавали правомерность и другой интерпретации»¹⁹.

Расхождение между полярно противоположными друг другу интонационными формами намечается, следовательно, уже в самих микросинтагмах, в трактовке их размеров и в их акцентировке²⁰. Расхождение это

¹⁸ С. И. Бернштейн называет подобный способ произнесения стихов «связанной» декламацией (по Э. Зиверсу — *gebundene Tonführung*). Таково, например, описание и графическое изображение в его статье произнесения стихов Андреем Белым: «В декламации Андрея Белого наблюдаем при общей напряженности звучания, определенную фонетическую фигуру, при известных условиях акцентно-слоговой структуры текста неизменно повторяющуюся из стиха: выделение середины стиха при помощи повышения соответствующего ударного слога и определенной форму паузального членения: при трех ударениях в стихе деление на 1 + 2 ударения при помощи длительной паузы после первого слова» (см.: С. И. Б е р н с т е й н, указ. соч., стр. 28).

¹⁹ М. Л. Г а с п а р о в, Русский трехударный дольник XX в., сб. «Теория стиха», Л., 1968, стр. 79—80.

²⁰ Так, например, П. А. Руднев интерпретирует некоторые стиховые строки стихотворения Блока «Все тихо на светлом лице» следующим, на наш взгляд, ошибочным образом, выстраивая лишнюю микропаузу после первого слога:

1. Все тихо на светлом лице... — М—Ж—Ж, т. е. 1 + 2 + 3 (+ 2);

2. Их росу убелила луна... — М—М—Ж, т. е. 1 + 2 + 4 (+ 2).

Мы имеем в виду два стиховых зачина, где при напевном произнесении строк двойственные слова «все...», «их...» несомненно атонируются и примыкают к последующим словам, образуя с ними вместе единую микросинтагму («Все тихо...»; «Их росу...»). Но автор, по-видимому, считает эти двойственные слова обязательными носителями акцента, а тем самым — самостоятельными ритмико-интонационными единицами, т. е. в нашем понимании — микросинтагмами, с чем невозможно согласиться. Нужно сказать, что термин «словораздел» в подобных случаях играет не столько проясняющую, сколько

нарастает далее на уровне микропауза, которые либо частично нейтрализуются, либо полностью сохраняют свое значение. Внимательный анализ различных образцов лирической поэзии заставляет отмечать частые более мелкие, а также и более значительные колебания в сторону той или иной интонационной формы как внутри лирических стихов небольшого размера, так и в крупных поэтических произведениях, в зависимости от конкретного тематического развития данного стихотворения²¹.

Так, в пушкинском стихотворении «Я вас любил...» известно накопление коммуникативной интонации можно наблюдать в повторном произнесении предложения «Я вас любил...»²². |

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

В первичном произнесении «данного» (т. е. не акцентированным элементом) является одно только местоимение я, обозначающее лирического героя (это слово, являясь в лирических стихах исходным, как само собой разумеющееся «данное», обнаруживает наибольшую тенденцию к атонации). Местоимение вас в первом произнесении несет примерно половинный акцент, при полностью ударном глаголе. Информативный центр, т. е. «новое», находится внутри самой фразы.

Во втором произнесении той же фразы частично атонируется также и местоимение вас, микропауза между местоимением вас и глаголом любил нейтрализуется, так что из двух микросинтагм образуется одна, более объемная, — притом это уже не микросинтагма в нашем понимании, она скорее приближается к обычной «большой» синтагме, фразе, носящей фразовое ударение: *Я вас любил*. Здесь, следовательно, произошел процесс увеличения объема «данного», которое распространилось на целый речевой отрезок по аналогии с прозаическим высказыванием. Интонационное движение в 5-й строке стихотворения теперь сместилось в сторону нового информативного центра, устремившись за пределы фразы *Я вас любил*, в сторону двух обстоятельств: *безмолвно, безнадежно...*, которые и являются основными выразителями «нового» в данном отрезке стихового текста.

Впрочем, полной идентификации с прозаической интонацией все же не происходит благодаря стиховой произносительной инерции: прозаическая интонация нейтрализовала бы микропаузу после глагола *любил* — либо здесь возникло бы эмфатическое ударение.

запутывающую роль (см.: П. А. Руднев, Стихотворение Блока «Все тихо на светлом лице...», сб. «Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти акад. В. В. Виноградова», Л., 1971, стр. 451).

²¹ Ср.: В. Е. Холшевников, Типы интонации русского классического стиха, сб. «Слово и образ», М., 1964, стр. 163.

²² Впрочем, повтор внутри стихового текста (ср. рефрен) никогда не является «пустым» повтором, поскольку он обогащает свое содержание и свою эмоциональную насыщенность на основе общего сюжетного движения лирического текста (см.: Т. Н. Сильман, От баллады к лирическому стихотворению, сб. «Стилистика романско-германских языков», Л., 1972, стр. 107—108).

В третьем произнесении и глагольный акцент уже тоже несколько ослаблен за счет интонационно утяжеленных, следующих за ним обстоятельственных микросинтагм-признаков (особенно четырехсложного *так искренно*) и поэтому по степени силы ударения приближается к половинному акценту, сохранившемуся на местоимении *вас*, — они теперь уравнены, и перед нами вновь две микросинтагмы. При прозаической интонационной трактовке вся эта первая фраза могла бы быть полностью атонирована, — однако стиховая произносительная инерция этого не допускает. Кроме того, *так искренно, так нежно* — здесь уже не самое «новое», оно перекрывается концовкой стихотворения, выражающей «новейшее»: *Как дай вам бог любимой быть другим*. Перед нами, таким образом, в конце стихотворения еще раз проходят все три фразы интонационного нарастания, характерные для интонационного движения лирического стихотворения в целом.

: |

Б. А. ПОЧХУА

ГРУЗИНСКАЯ ЛЕКСИКА В «НОСТРАТИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ» *

Давно замечено, что в грузинском языке встречаются такие слова, которые имеют фонетические и семантические параллели (одновременно) за пределами картвельских и горских иберийско-кавказских языков и которые нельзя причислить к очевидным заимствованиям. Таковы, например, *uçeli* «ярмо», *verçali* «серебро», *bi* «сова», *oropi* «удод», *tbili* «теплый», *kaça* «кошка», *qorani* «ворон», *piçvi* «сосна», *didi* «большой», *tura* «бурый», *karta* «левада, хлев», *kuvo* «бык-производитель»; созвучные им основы встречаются в индоевропейских, семитских, финно-угорских языках. Интересы грузинской исторической лексикологии требуют полного учета подобных основ, а выявление древнейших лексических встреч ставит сложные историко-генетические проблемы.

Естественно, что грузинская лексика (благодаря наличию в ней подобных элементов) привлекла к себе внимание тех специалистов, которые, обратившись к так называемой ностратической гипотезе, задалась целью развить ее в стройную теорию. Ностратическая гипотеза в нашей стране ныне связана с именами советских лингвистов В. М. Иллича-Свитыча и А. Б. Долгопольского. Ниже мы коснемся грузинских слов, вошедших в труды В. М. Иллича-Свитыча, одаренного ученого, рано ушедшего из жизни ¹.

В. М. Иллич-Свитыч так определял круг ностратических языков: «Ностратической мы называем большую языковую семью, включающую по крайней мере шесть языковых групп Старого света — индоевропейскую, алтайскую, уральскую, дравидскую, картвельскую и семито-хамитскую. Сравнение этих языковых групп (точнее, сравнение соответствующих шести реконструированных праязыков) с очевидностью свидетельствует об их родстве. На такое родство указывает прежде всего значительный объем общей для всех или части сравниваемых праязыков лексики, позволяющий сформулировать достаточно строгие фонетические соответствия и реконструировать исходную фонологическую систему ностратического языка-основы» («Материалы», 321).

В опубликованный «Краткий конспект сравнительного словаря», как называл его автор, вошло 600 единиц. Приблизительно к одной четвертой части их подобраны грузинские «соответствия». Автор опирался в основном на «Этимологический словарь картвельских языков» Г. А. Климо-

* Автор настоящей статьи в остро дискуссионной форме поднимает некоторые вопросы, связанные с возможностью вовлечения картвельского материала в круг исследований по ностратике; вся совокупность относящихся к ностратической гипотезе проблем в статье не рассматривается. Публикуя статью, редакция надеется, что ностратическая гипотеза послужит предметом всестороннего и непредвзятого обсуждения. — *Ред.*

¹ В. М. Иллич-Свитыч, Материалы к сравнительному словарю ностратических языков, сб. «Этимология. 1965», М., 1967 (далее в тексте «Материалы»); е г о ж е, Соответствия смычных в ностратических языках, сб. «Этимология. 1966», М., 1968 («Соответствия»); е г о ж е, Опыт сравнения ностратических языков. [I], М., 1971 («Опыт»).

ва²: В. М. Иллич-Свитыч в своей работе придерживался того мнения, что для восстановления праформ ностратического языка-основы пригодны лишь реконструированные основы сравниваемых праязыков; ЭСКЯ представляет собой именно опыт реконструкции пракартвельских форм.

Включение грузинского (и вообще — картвельского) материала в ностратический словарь недостаточно обосновано. Вот несколько примеров. «Материалы», 330: праностратическая основа **paɣa* «бить» реконструирована с помощью и.-е. праосновы **per-*, *perg-* «бить, резать», сем.-хам. **pr* «резать, разбивать» и, опираясь на ЭСКЯ, картв. **pir* «отбивать косу». Г. А. Климов справедливо отмечает, что данная глагольная основа является отыменной от **pir* «край», и в предыдущей словарной статье ЭСКЯ приводит картвельские варианты упомянутой именной основы: груз. *pir*- «рот, лицо край»; мегр. и чан. *piʒ-*, сван. *pil-*, *bil-* «край, губа» (дается ссылка на М. Броссе и др.). По Климову, «возможно сопоставление основы с материалом нахско-дагестанских языков» (ЭСКЯ, 153). Эта основа заимствована осетинским и армянским языками. Включение груз. *pir*- в ностратический словарь не оправдано: не обоснован исходный гласный в реконструированной («ностратической») основе, а с точки зрения семантической допущена явная ошибка. Дело в том, что *morirva*, которое Г. А. Климов правильно переводит через словосочетание «отбивать косу», в грузинском языке вовсе не связывается со значением «бить», как в русск. *отбивать*, а используется основа, обозначающая губу, край: *mo-pir-av-s* «заострит край (косы)», а не «бьет (по косе)». (Заметим, что в «Соответствиях», 339 та же грузинская основа сопоставлена с совсем иными основами индоевропейских, семито-хамитских и других языков.)

Другой пример («Соответствия», 347; «Материалы», 332): в ностратическом реконструирована **barda* «идти вброд» путем сравнения и.-е. **bhredh-*, **bhred-* «идти вброд, переходить вброд, бродить, бредить» и — с ссылкой на ЭСКЯ, 52 — картв. **bord-* или **bod-* «бродить, бредить». В ЭСКЯ, 52 эта основа представлена так: «**bod-* „бродить“: груз. *bod-* „бредить“; мегр. *bordiʒ*; чан. *bod-* „бредить, беспокойно сноваť (о наседке)“, она возводится к эпохе грузинско-занского языкового единства (груз. *bod-w-a*, чан. *o-bod-u*). В мегрельском эта основа, по-видимому, была контактирована с какой-то иной; этим можно объяснить ее незакономерно измененный облик. В груз. основа имела и значение „бродить“. Семантическая связь между „бродить“ и „бредить“ очевидна и находит аналогии в других языках. Ср. и.-е. **bhred(h)-* / *bhrod(h)-* (IEW, 164)». Сведения о семантической связи между «бродить» и «бредить» в грузинской основе, сообщаемые в ЭСКЯ, требуют уточнения: груз. *bodva* «бредить» не так легко связывается с чанск. *bod-* «беспокойно сноваť (о наседке)». Ничем не доказано наличие исконого значения «бродить» в грузинской основе.

Г. А. Климов в упомянутых картвельских основах видит аналогию семантической связи между индоевропейскими основами «бредить» и «бродить». Недостаточно полно и точно учитывая материал, представленный в ЭСКЯ, В. М. Иллич-Свитыч объявил генетически идентичными грузинскую основу, обозначающую «бредить», и индоевропейскую — «бродить» и сделал заключение о наличии основы **barda* «идти вброд» в праностратическом языке. При этом не принято во внимание, что фонема *r* налична из картвельских форм только в мегрельской, где она вторична (по словам Г. А. Климова, это след-

² М., 1964 (далее — ЭСКЯ). При отдельных основах в публикациях В. М. Иллич-Свитыча даются также ссылки на словари и труды Н. Я. Марра, И. А. Кишидзе, А. С. Чикобава и др.

ствие контаминации с иной основой), в индоевропейской же основе фонема *r* исконная. Не оправдано (по крайней мере, по данным картвельских форм) предположение вокального исхода праностратической основы. Наконец, увязывание картвельского значения «бродить» и, допустим даже, «бродить» с индоевропейским значением «идти вброд» (неправомерно: грузинской основе слова *vodva* приписывается значение «брод» («идти вброд») по аналогии с русск. *бродить*, основой которого является *брод*).

В «Соответствиях», 328 грузинский послелог *-ken* «по направлению к» сопоставляется с алтайско-уральско-дравидскими морфемами: «алт. **ka/-kä*, формант латива-датива ~ урал. **-kk(Δ)*, формант латива ~ драв. **kk(Δ)*, формант датива ~ картв. **-ken*, послелог „по направлению к“ (груз. *-ken*)». Здесь не принимается во внимание то, что *-ken* — вовсе не общекартвельская основа и представляет собой остаток самостоятельного грузинского слова *kerzo* «половина, сторона, край»; *kerzo* в древнегрузинском встречается и в функции послелога как с лативным падежом («куда»), так и с исходным («откуда»)³. Ауслатная фонема *n* (которая в «Соответствиях» предполагается также в одном из дравидских языков) явно вторична: *kerzi*: *kerzo* > *kerz* > *ke* > *ken*; она появилась, вероятно, по аналогии с другим послелогом *-gan*⁴. Таким образом, отнесение послелога *-ken* к общекартвельскому состоянию не оправдано ни фонетически, ни семантически.

Подобные неточности ставят под сомнение и другие случаи использования в словаре грузинского (картвельского) материала; для того чтобы отделить генетически общие слова от случайных совпадений по звучанию необходима дополнительная проверка (что касается значения, по словам самого автора, «семантическая реконструкция ностратических праформ весьма условна» — «Материалы», 321).

Так, в «Материалах» праностратическая **mag* реконструирована по данным и.-е. **még(h)*- «большой», драв. **ma* «великий» и, с некоторым колебанием (под вопросительным знаком), картв. **mag-ar* (опираясь на груз. *magar*- «сильный, крепкий»); в другом труде («Соответствия», 334) отсутствует индоевропейская основа, но картвельская приведена уже без колебания с значением «большой». Это значение не засвидетельствовано в опорном грузинском слове, но оно нужно автору для сближения (индоевропейско-)дравидско-картвельских основ. Во всех трех формах общими являются *ma/me*, а значения — весьма отдаленные: «великий» — «крепкий».

«Материалы», 372: праностратическая основа **han(g)* «язык» создана в результате сравнения индоевропейских и уральских праформ, а также картв. **(n)ina* (с ссылкой на ЭСКЯ, 173). Но Г. А. Климов, во-первых, реконструирует *nena* [не *(n)ina*]; во-вторых, он подчеркивает, что «основа имеет символический характер; отсюда ее близость ко многим аналогичным основам самых разных языков...» (ЭСКЯ, 147).

Нередко В. М. Иллич-Свитыч сопоставляет грузинскую основу с основой, зафиксированной лишь в одной группе ностратических языков, что делает малоубедительным предположение о ностратическом характере такой основы: например, груз. *vrek* «изгибаться» (сопоставляется с и.-е. **Herk-* «нечто изогнутое»), **glōv-* «скорбеть» (с дравид. **goḷ*), *jal-* «ремень» (с алт. **t'ajl'a*), **dum* «знать» (с семито-хамитским **dūm*). Даже если во всех этих случаях представлены несомненно идентичные основы, не исключена возможность, что это — следствие языковых контактов, а не

³ См.: А. Ш а н и д з е, Основы грузинской грамматики, Тбилиси, 1953 (на груз. яз.), стр. 622.

⁴ Ср.: А р п. Ч и к о б а в а, Об одном неизвестном пресвербе в грузинском языке, «Изв. ИЯМК», 1, Тбилиси, 1937 (на груз. яз.).

исконной генетической близости соответствующих языков. Примечательно, что подавляющее большинство (25 из 37) таких грузинских основ сближается с соответствующими основами индоевропейских и семито-хамитских языков, с которыми, вероятнее всего, грузинский язык имел непосредственные контакты.

В списке, содержащем 104 праностратические основы, с уральскими основами сближаются 84, с алтайскими — 80 и т. д. и лишь 57 — с картвельскими, причем из них 54 совпадают одновременно с индоевропейскими и семито-хамитскими основами (см. «Опыт», 18—37).

В. М. Иллич-Свитыч полагал, что ему удалось «сформулировать достаточно строгие фонетические соответствия» («Материалы», 321)⁵. Дело, однако, в том, насколько достоверны те лексические сопоставления, на базе которых выведены упомянутые фонетические соответствия; на наш взгляд, включенные в ностратический лексический фонд грузинские (картвельские) слова не могут служить надежным эмпирическим фундаментом для выведения таких соответствий. При ближайшем рассмотрении большинство этих соответствий окажутся просто одинаковыми звуками и поэтому не могут быть использованы в качестве достоверного критерия при разграничении генетически общих элементов и заимствований или случайных совпадений. Когда речь идет о дифференцированных основах, доказательную силу имеют, как известно, различия, имеющие регулярный характер⁶.

Изменения значений не объяснены, поэтому семантические сближения вообще далеки от желаемой точности; в лучших случаях они лишь правдоподобны и не обладают доказательной силой. А для ностратических основ они, к тому же, весьма условны: каким ориентиром может служить значение корня, например, в случаях семантической гипертрофии, когда одно и то же значение передано тремя-четырьмя и даже шестью-семью синонимами⁷, и не представляется возможным наметить диалектную филиацию семантики или установить определенную регулярность в этой пестрой картине. Бесспорно, выявить в грузинском общи с языками Евразии основы и вообще проследить древнейшие связи этих языков — одна из важных задач исторического языковедения. Однако сопоставления, примеры которых приведены выше, не могут способствовать решению этой большой проблемы.

Серьезные сомнения вызывают не только сопоставления отдельных основ, но и позиция, занимаемая сторонниками ностратической гипотезы, в вопросе определения места грузинского языка (и вообще картвельских языков) среди других языковых групп мира. С целью установления ностратического языка-основы сравниваются реконструированные праязыки индоевропейской, алтайской, уральской, дравидской, картвельской и семито-хамитской семей; таким образом, картвельские языки («пракартвельский язык») рассмотрены на уровне индоевропейской, дравидской и т. д. семей, между тем как горские кавказские языки не упоминаются. Выражение «п о к р а й н е й м е р е шесть языковых групп» («Материалы», 321; разрядка наша.— *Б. П.*) как будто не исключает и другие

⁵ Редактор посмертного издания «Опыта» (стр. XXXIV) характеризует эти фонетические соответствия даже как «совершенно строгую систему».

⁶ См. об этом: А. Мейер, Сравнительный метод в историческом языковедении, М., 1954, стр. 35; А. С. Чикобава, Общее языковедение, I, Тбилиси, 1935 (на груз. яз.), стр. 89; О. С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, М., 1966, стр. 441; И. М. Дьяконов, Языки древней Передней Азии, М., 1967, стр. 12.

⁷ В «Материалах к сравнительному словарю ностратических языков» дано около 400 семантических единиц, причем одна треть из них представлена синонимами, в том числе по пять синонимов приходится на такие значения, как, например, «рождать» и «хватать», а на «связывать» — даже семь синонимов.

языки, по отношению к горским иберийско-кавказским языкам — иное: «Многочисленные попытки показать генетическое родство картвельских языков с двумя группами северокавказских языков (так называемая „иберийско-кавказская“ гипотеза) не дали пока достаточно убедительных результатов» («Опыт», 53). Нам представляется, что при рассмотрении генетических связей картвельских языков нельзя игнорировать показания горских языков.

Так, например, груз. основа *gul-* «сердце» сопоставлена с алт. **gōl*(Δ), обозначающей в разных языках: «сухое русло; сухой дол; низменность, бассейн реки; небольшой арык; небольшая равнина среди песков; река, долина, сердцевина дерева, внутренность, середина; центр, река; река, пространство между горами вдоль русла реки; середина, русло реки; проходящая насквозь веревка, главный шов в одежде, сердцевина ствола, русло реки; долина, улица». Автор предполагает такое «семантическое развитие»: «сердцевина, середина» → «середина долины» → «русло реки». Сопоставление производится также с семито-хамитскими и дравидскими основами, обозначающими «сердце», «почки», «грудь» («Опыт», 231—232); эти праформы состоят из заднеязычного смычного, гласного и сонорного (обычно *l*).

При этом не принимаются во внимание те связи, которые имеет грузинская основа с основами других, не «ностратических» языков. Не учтены даже сведения, приведенные в ЭСКЯ, который служит одним из источников nostrатических реконструкций: «Основа [*gul-*] давно обращала на себя внимание как одно из ярких материальных схождений как с абхазско-адыгскими (абх. *-gъy*, адыг., каб. *gyъ*), так и, как принято думать, с нахско-дагестанскими языками (авар. *rakI*, лакск. *dakI*, дарг. *urkIи*, лезг. *rikI*, удин. *uk* и др.)» (ЭСКЯ, 66), из чего видно, что корень представлен здесь лишь анлаутным смычным *g/k*, а последующий гласный и сонант (*ul*) принадлежат суффиксу. Пока эти факты не будут надлежащим образом учтены (если же они неприемлемы, то должна быть доказана их неприемлемость), сопоставление грузинского слова *guli* (*g-ul-i*) «сердце», например, с корейск. *kol* «улица», с тувин. *zol* «сухое русло», тамилск. *kiṇṇi* «почки» и т. д. беспочвенно.

В. М. Иллич-Свитыч не принимал во внимание общий кавказский характер ряда других основ, представленных в нижеследующих грузинских словах: 1) *рза* «ость, кость рыбы», о котором в ЭСКЯ (стр. 194) сказано: «налицо очевидные материальные встречи как с абхазско-адыгским языковым миром (адыг., каб. *пъъy* „хрящ, остов“), так и, по-видимому, с нахско-дагестанским (чеч. *пъъa*, лакск. *хъъъa* < **пъъa-*, дарг. *рза-* „сухожилие, жила“); 2) *idaqwi* «локоть» — «одно из наиболее интересных материальных схождений картв. языков как с абхазско-адыгскими, так и с нахско-дагестанскими языками» (ЭСКЯ, 74); 3) *gorva* «катиться» (ЭСКЯ, 64); 4) *matli* «червь»⁸; 5) *zarxuli* «лето» («Абх.-картв.», 290—291) и др.

Таким образом, горские кавказские языки определенно исключаются из круга nostrатических языков, хотя они несравненно ближе к картвельским языкам, чем эти последние к дравидским, уральским, алтайским.

Гипотезу родства иберийско-кавказских языков разделяет большинство кавказоведов; но общеизвестно и то, что, по словам Г. Фогта, «под ней не все языковеды подпишутся без колебания»⁹. В частности, И. М. Дьяконов считает, что восточнокавказские (хуррито-урартские и

⁸ ЭСКЯ, 129; см. также Г. А. К л и м о в, Абхазоадыгско-картвельские лексические параллели, сб. «Этимология. 1967», М., 1969 (далее — «Абх.-картв.»), стр. 290.

⁹ См. рецензию Г. Фогта на восьмитомный Толковый словарь грузинского языка (NTS, XXI, 1967).

нахско-дагестанские), западнокавказские (абхазско-адыгские «и, возможно, хатский») и центральнокавказские (картвельские) языки представляют собой ветвь единой кавказской (над-) семьи¹⁰.

Г. А. Климов отмечает, что «дальнейшее накопление абхазоадыгско-картвельских материальных параллелизмов представляется наиболее перспективным направлением в разработке гипотезы внутреннего родства кавказских языков. Можно надеяться, что дальнейшее исследование расширит и объем соответствующего материала». Хотя, по его мнению, «в настоящее время едва ли имеются основания переоценивать открывающиеся в этом отношении перспективы», все же, говоря об «а ргіоі допустимом родстве кавказских языков», Г. А. Климов пишет: «Не исключено..., что такое родство в будущем удастся продемонстрировать только на уровне так называемого "ностратического" единства» («Абх.-картв.», 295).

Даже эти осторожные высказывания подразумевают, что отношения древнейшего грузинского словарного фонда (и вообще вопрос о древнейших связях картвельских языков) с индоевропейскими, семито-хамитскими и другими языками неправомерно рассматривать изолированно, а следует анализировать с учетом широкого контекста иберийско-кавказских языков (а также мертвых языков древней Передней Азии и баскского).

¹⁰ И. И. Дьяконов, указ. соч., стр. 24.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

М. Н. БОГОЛЮВОВ

АРАМЕЙСКАЯ ВЕРСИЯ ЛИДИЙСКО-АРАМЕЙСКОЙ БИЛИНГВЫ

В лидийско-арамейской билингве¹ содержится перечень видов собственности — арам. *trbšh byth qnyh tyn wšun*. При расстановке членов этого перечня в обратном порядке — *wšun tyn qnyh byth trbšh*, обнаруживается его удивительная близость к известному имущественному перечню Бехистунской надписи: *a-b-i-š-r-i-š gaiθamšā māniyamšā v'θbiššā*. Сходство станет полным, если удастся доказать, что др.-перс. *a-b-i-š-r-i-š* является не простым, а составным словом, равнозначным арам. *wšun tyn* «воды (мн. ч.) и земля». Сопоставление соответствующих мест билингвы и арамейской версии § 14 Бехистунской надписи позволит также надежно восстановить текст версии.

В арамейской части билингвы остается еще много неясного — не объяснены например, слова: *d/rd/rht'*, *'td/rt'*, *pd/rbd/r*, *spd/rb*, *yp/rth*; отсутствует единое мнение относительно того, как синтаксически расчленяется текст *wpd/rbd/r zy 'l spd/rb znh pd/rbd/rh*. П. Кале усматривал здесь определяемое и определительное придаточное предложение: «und der Vorraum, welcher bei dieser Grabkammer (?) deren Vorraum (ist)»². В хрестоматии Доннера и Рёллига часть *znh pd/rbd/rh* выделена как синтаксически самостоятельная: «und der Vorraum, der über der Grabkammer ist. Dies ist sein Vorraum»³.

Ни изолированное араб. *rudha(tun)* «занавеска (в палатке); ограда из камня», ни тем более перс. *diraxt* «дерево», не дали ключа к пониманию *d/rd/rht'* (= лид. *laqrisa-*). Значение «земельный участок» у *'trt'* (= лид. *qela-*), выведенное из арам. *'tr* «место» на основе значения лат. *locus*, не получило поддержки. В *spd/rb* видели лидийское заимствование, лид. *šfarva-*, которому придавалось значение «гробница». Установлено, однако, что лидийская надпись № 11, в которой засвидетельствовано *šfarva-*, не является эпитафией, и *šfarva-* не имеет указанного значения⁴. Написанию *pd/rbd/r* удовлетворяют др.-иран. **paṛi-bāga-* — наименование сооружения, библейское *paṛbār* (I Пар. 26 : 18) «притвор; ворота; портик», поддержанное эламским *ba-ri-ba-ra*⁵, и др.-иран. **paṛi-bāda-* — элам. *ba-ri-ba-taš* «ограда»⁶. Но лид. *błtarvod*, которому в арамейской версии соответ-

¹ Библиографию исследований билингвы см., например: Н. Д о н н е р, W. R ö l l i g, *Kanaanäische und aramäische Inschriften*, II, Wiesbaden, 1968, стр. 305, N 260. Фотография надписи помещена в следующих изданиях: E. L i t t m a n n, *Sardis*, VI, pt. 1, Leiden, 1916; W. H. В u c k l e r, *Sardis*, VI, pt. II, Leyden, 1924, pl. 1; И. Ф р и д р и х, Дешифровка забытых письменностей и языков, М., 1961, стр. 119.

² P. K a h l e, F. S o m m e r, *Die lydisch-aramäische Bilingue*, «Kleinasiatische Forschungen», I, Hf. 1, Weimar, 1927, стр. 80.

³ Н. Д о н н е р, W. R ö l l i g, указ. соч., стр. 306.

⁴ E. V e t t e r, *Zu den lydischen Inschriften*, «Sitzungsberichte der Österreichischen Akad. der Wissenschaften», 232, phil.-hist. Kl., Wien, 1959, стр. 53; R. G u s m a n i, *Lydisches Wörterbuch*, Heidelberg, 1964, стр. 83, 203.

⁵ См.: R. T. H a l l o k, *Persepolis fortification tablets*, «The University of Chicago Oriental institute publications», XCII, Chicago Ill., 1969, стр. 675 [I. Gershevitch].

⁶ Там же, стр. 675 [I. Gershevitch].

ствуует *pd/rbd/g*, толкуется теперь как «собственность: имущество». Значит, **pari-bāra-* или **pari-bāda-* не помогают прочтению и переводу *pd/rbd/g*. Лидийский глагол *fensālifid* «он повредит» передан двумя арамейскими — *yḥbl 'w uprk* «повредит или разобьет». По аналогии глаголы *ybdrwnh wuprh*, несмотря на то, что первый стоит в 3-м лице мн. числа, а второй — в 3-м лице ед. числа, принимаются за однородные сказуемые, передающие лид. *vzbaqēnt* «они разрушат». Рассмотрению перечисленных вопросов билингвы посвящена предлагаемая статья.

drht'. И. Гершевич, толкуя бактр. *axštriyo*, обозначающее приспособление для подъема воды, из *axš-* (от авест. *afš-* «вода») и *-triyo*, указав в связи со вторым компонентом на лат. *traho* «тащу; тяну; волоку»⁷.

С лат. *traho*, др.-исл. *draga*, англ. *draw*, нем. *tragen* (и.-е. **dhragh-*) «тащить» родственно русск. дрогá «брус, соединяющий переднюю и заднюю ось телеги», русск. дроги — род телеги, «погребальная повозка» (румын. *groagă* «похоронные дроги»)⁸. О сохранении родственных латинскому *traho* иранских слов, образованных от др.-иран. **drag-* «тащить; тянуть; волочить; нести» могут свидетельствовать иуд.-арам. *drḡš'*, *dargēšā*, *drḡyšun* (мн. ч.), сир. *drḡwšt'*, *drḡwšyt'* (мн. ч.), арм. *dargič* «носилки; паланкин; ложе», хорошо объясняющиеся из др.-иран. **dragīča-*.

Наряду с др.-иран. **drag-īča-* «носилки; ложе», которое отразилось в иуд.-арам. *drḡš'*, легко себе представить производное от **drag-* «тащить» — др.-иран. **dragā-* (ср. лат. *trahca* «сани») в том же значении «носилки; ложе». При нааализации **dragā-* — **drangā-* слово попало в ряд диалектных соответствий *-ng-*, *-ŋh-*, *-h-*, *-x-*, приобретаая также звучание **draxā-*. Такое *-x-* содержится в сир. *prsh'*, араб. *farsax*, арм. *hrasax* из др.-иран. **frasaxa-* при др.-иран. **frasanga-* (греч. *κρῶσαγγῆς*, перс. *farsang*), **frasāgha-*, **frasāha-*.

Считается, что лид. *laqīsa-*, которому соответствует арам. *drht'*, является именем во мн. числе. В чтении **draxātā* арам. *drht'* также является именем мн. числа. Его оформление по жен. роду, возможно, указывает на то, что древнеиранское слово имело в исходе долгий: **draxā-*, арам. **draxētā* (ед. число), **draxātā* (мн. число).

'*tdt'*. Чтение '*tdt'*» передает др.-иран. **ātā-dāta-* или **antā-dāta-*, поскольку '*tdt'*» можно рассматривать как вариант написания **'ntdt'*, ср. '*tt'*» и '*ntt'*» «женщина». Наряду с др.-инд. *ātā-* «дверная рама» и лат. *antae* «анты, род пилястров по обе стороны двери» в древнеиранском более распространен вариант с носовым — **antā-*. От **antā-* образовано авест. *aiθuā-*, **anθuā-* «дверной брус»: *yō stunā vīdārayeiti hərəzimitabe nṣānahe stawrā aiθuā kərənaoiti* Yt. 10 : 28 «который расставляет колонны ввысь устремленного дома, делает прочные дверные бруссы».

Производные от **antā-* отразились в согд. *rbund* «порог», пугн. *rabēnd* «порог», н.-перс. *palindīn* «косяки, притолка у двери», восходящих к **radī-antā-* «то, что в основании дверной рамы». Сюда же относятся арм. *dr-and* «порог»⁹. И. Гершевич определил **antā-* в осет. диг. *wāлиндzā* «крыша», буквально «то, что над столбами»¹⁰.

В надписи находим **ātā-dāta-* или **antā-dāta-*, образованное по типу **buna-dāta-* «то, что положено ввиз, в основание» > н.-перс. *bunyād*, *bunlād* «основание; фундамент»; **ātā-*, **antā-* «дверной проем», в данном

⁷ I. G e r s h e v i t c h, BSOAS, XXVI, pt. 1, 1963, стр. 193.

⁸ См.: М. Ф а с м е р, Этимологический словарь русского языка, I, М., 1964, стр. 540.

⁹ М. М а у р h o f e r, Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen, 2. Lief., Heidelberg, 1954, стр. 72.

¹⁰ I. G e r s h e v i t c h, The Avestan hymn to Mithra, Cambridge, 1967, стр. 182.

случае — «вход (в пещеру)»; *ātādāta-, *antādāta- «то, что помещено в дверной проем; преграда (из камня)». Лид. qela-, скорее всего, было термином, обозначающим камень или каменную кладку, преграждавшую доступ в погребальную пещеру. Переводчик, возможно, передал термин описательно.

srpb. В *srpb*, синониме араам. m'rt' «пещера», доставившем немало забот исследователям, осталось непознанным др.-иран. *srabra-, регулярно отражающее др.-инд. śvābhga- «трещина в земле; яма; нора; пещера». Написание *srpb* вместо ожидаемого *srbg больше походит на допущенную писцом перестановку букв, чем на метатезу. Метатеза подобного рода относилась бы к более позднему времени, ср. др.-инд. śubhṛā- «блестящий», др.-иран. *subra-, др.-перс. *θubra- — элам. Supra¹¹, но арм. surb «ясный».

Судя по араам. m'rt' «пещера» и др.-иран. *srabra-, араам. *srpb* «пещера», это значение было основным также и у лид. vāna-. Трудно ответить на вопрос, почему переводчик в двух случаях передал лид. vāna- через араам. m'rt' и в одном — через иран. *srabra-. Едва ли из стремления к лексическому разнообразию, ср. при двух лид. bltarvod три араам. pd/rbd/r.

prbr. В лидийском тексте последний член перечня est mrud eśšk [vapaš] laqrisak qelak «эта стела и эта [пещера] и ложа и преграда» передан описательно: kudkit ist ešl van [aš] bltarvod «и любое к этой пещере принадлежащее». Из иранских слов, которые укладываются в написание pd/rbd/r, значение лид. bltarvod «принадлежащее; собственность; имущество», как переводят это слово, могло бы передаваться посредством др.-иран. *fra-bāga- от глагола *fra-bar-. Последний, помимо «приносить» означает «отдавать во владение; дарить; давать». В хорезмийском, согдийском, сакском дериваты fra-bar- заняли место обычного глагола «давать». Осет. lāvar, согд. δβг из *fra-bāga- означают «дар; подарок».

Др.-иран. *bāga- от bar- «нести, приносить» — н.-перс. bāg «ноша; груз» запечатлелось в аккад. bāgu, baggu «налог; подать». Др.-иран. *fra-bāga- «приношение; то, что отдается, отдано во владение, в собственность» в результативном аспекте могло пониматься как «то, что стало принадлежностью, собственностью; принадлежащее; собственность; имущество». Сохраним, однако, в переводе «приношение» как основное значение *fra-bāga-.

При таком понимании *prbr* арамейская фраза zu 'l *srpb* znh *prbrh* «то, что этой пещере ее приношение» полностью соответствует лидийской kudkit ist ešl vānaš bltarvod. Возможно, переводчик часть bš в bltarvod отождествил с местоимением bi- «он» — дат.-местн. пад. bš «ему; ей» — и снабдил поэтому *prbr* энклитическим местоимением 3-го лица -h. В строках (5) — (6) переводчик обошелся одним *prbr* — lqbl zu *prbr* lm'rt' znh «тому, что (является) приношением этой пещере». У иранских слов, находящихся в определенном состоянии, в надписях иногда отсутствует алер определенного артикля, ср.: hwn znh «эта ступка», 'bšwn znh «этот пест», в этой надписи — 'l *srpb* znh «к этой пещере», ср. также написания drht, 'pššy. Остается неясным, обусловлено ли отсутствие буквы алер определенного артикля орфографией, или оно имеет морфологическое значение — *prbr* «(любое) приношение». В последнем случае фрагмент надписи получит следующий перевод: wrprbr zu 'l *srpb* znh *prbrh* «и любое приношение, которое (является) приношением этой пещере», lqbl zu *prbr* lm'rt' znh «у того, что (является) приношением этой пещере».

¹¹ I. Gershevitch, *Amber at Persepolis*, «Studia classica et orientalia A. Pagliaro oblata», II, Roma, 1969, стр. 229.

srwkn'. Слово вписано мелким шрифтом между строками (3) и (4). Предпоследняя буква — nwn, хорошо видна: она походит на kar, но ствол и верхние зубчики у нее короче, чем у kar; ни в коей мере не напоминает уод лапидарной формы¹², характерной для данной надписи. Предлагавшееся чтение srwky' отпадает.

Слово составлено из лид. siluk(a)- — имени лица или названия местности — и иранского относительного суффикса -akāna-: *sirukakāna- с гаплогогией слога ka: *sirukāna-. С иран. -akāna- образованы араб. Swnkn (pl. Swknkn, Swknny') «происходящий из Сиены; житель Сиены» — *Suwānakāna-; Spytkn «происходящий из Spyt; житель Spyt»¹³; Twskn¹⁴ имя собств. («происходящий от Tws») ¹⁵.

Как лид. silukali-, так и араб.-иран. *sirukāna-, имеют значения «происходящий от Силука» или «происходящий из Силука». Не исключена возможность, что имя собственное Селевк — греч. Seleukos, аккад. Si-lu-uk-ku, является лидийским по происхождению. В этом случае лид. silukali- и араб. srwkn' представляют родовое наименование.

urph. Вторая буква определено re. Писец, как и в sprb, переставил буквы, написав urph вместо utph. Аналогичный случай встречается в надписи на песте (№ 26 : 3)¹⁶, где Dsptrwk следует читать как Dstprwk <*dastararwa-ka- «первый по способностям» (или Rstprwk <*rāsta-frawāka- «правдивый в речах»). Личная форма от Р'Н «сокрушать»¹⁷ utph — 3-е лицо ед. числа муж. рода имперфекта породы hitp. — «он будет сокрушен; он будет поражен; он погибнет».

Лидийское имя общего рода Artimūš «Артемид» воспринято переводчиком как имя муж. рода. Это проявилось в форме прилагательного 'pššy «эфесский» и в личной форме ybdrwn от глагола BDR (pa'el) «уничтожать»: 'rtmw zy klw w'pššy... ybdrwnh wurph букв. «Артемид из Колои и (Артемид) эфесский... ему уничтожат и он погибнет».

туп wmyu. Перечень видов собственности в обеих версиях имеет ритмическое строение. В лидийской он составлен из трех парных аллитерирующих союзных словосочетаний. Притяжательное местоимение bilā, относящееся ко всем членам перечня, а не только к неопределенному местоимению, объединено со сказуемым в отдельном стихе:

aaral	biral-k
klidal	koful-k
qiral	qelal-k
bilā	vzbagant

Арамейский перечень состоит из двух восьмисложных стихов. В первом из них притяжательное местоимение (-h) придано каждому слову; во втором, слова которого соединены союзом, притяжательным местоимением, также относящимся ко всем членам группы, оформлено только последнее слово:

trhsh byth qnyh
 тып wmyu wmuđ'mth.

¹² См.: J. N a v e h, The development of the Aramaic script, «Proceedings [of the Israel Academy of sciences and humanities], V, 1, Jerusalem, 1970, Fig. 11 : 3.

¹³ A. C o w l e y, Aramaic papyri of the fifth century B. C., Oxford, 1923, papyri 24 : 33, 33 : 6, 67 N 3 : 1, N 26 : 9, 22.

¹⁴ G. B. D r i v e r, Aramaic documents of the fifth century B. C., Oxford, 1957, 1 : 2, 2.

¹⁵ E. B e n v e n i s t e, Titres et noms propres en iranien ancien, Paris, 1966, стр. 15.

¹⁶ R. A. B o w m a n, Aramaic ritual texts from Persepolis, Chicago, Ill., 1970, стр. 98.

¹⁷ См.: И. Н. В и н н и к о в, Словарь арамейских надписей, «Палестинский сборник», вып. 13, 1965, стр. 218.

Неопределенное местоимение (лид. *qel-* от *qesi-* «что-либо», араб. *mnd'mt* — мн. число от *mnd'm* «что-либо») выполняет в перечне второстепенную лексическую роль.

Представим теперь, что составитель арамейской версии привнес данный порядок имущественных наименований, стремясь придать фразе ритмическую структуру, и по этой же причине употребил *qnyn*, а не его синоним *pksp* «имущество; скот». Изменим этот порядок на обратный: *myt w'tyn qnynh byth trbšh* и сравним соответствующие места билингвы и Бехистунской надписи.

Бехистунская надпись, древнеперсидская версия: *a-b-i-č-r-i-š gai-θāmčā māniyamčā v'θbiščā*;

арамейская версия: *lnksyhwm btyhwm*;

арамейская версия билингвы: *myt w'tyn qnynh byth trbšh*.

Совпадение текстов двух разнородных письменных памятников (*nksyhwm btyhwm/qnynh byth*) не может быть случайным. Естественно напрашивается вывод, что оба текста воспроизводят в вариантах существовавшую имущественную формулу. А если это так, то мы получаем возможность восстановить утраченные части арамейского текста § 14 Бехистунской надписи в следующем составе: *{myt w'tyn} nksyhwm btyhwn {trbšyhwm}*.

Обращает на себя внимание сходство в оформлении компонентов перечня в текстах древнеперсидской и арамейской версий § 14 Бехистунской надписи: *a-b-i-č-r-i-š* лишено энклитики, три других слова сопровождаются энклитическим союзом *-čā*; так же *myt w'tyn* не имеет энклитики, но *pksp*, *bty*, *{trbšy}* оформлены энклитическим местоимением.

Др.-перс.: *a-b-i-č-r-i-š gaiθāmčā māniyamčā v'θbiščā*

Арам. : *{myt w'tyn} nksyhwm btyhwm {trbšyhwm}*.

Особенно важно соотношение др.-перс. *a-b-i-č-r-i-š* и араб. *myt w'tyn* буквально «воды и глина, земля». Как составное слово копулятивного типа оно походит на персидские *āb-u-havā* «климат; погода», буквально «вода и воздух»; *zamīn-u-zamān* «мир; вселенная», буквально «земля и время»; *nān-u-ab* «доход; прибыль», буквально «хлеб и вода»; *nān-u-nišān* «сведения; давные», буквально «имя и знак». Подобно современному персидскому *āb-u-gil* буквально «вода и глина; вода и земля» и в переносном значении — «участок земли; земельное владение», *myt w'tyn* могло означать в переносном употреблении «землепользование; землевладение».

В древнеперсидской клинописи геминированный согласный передается как простой. Например: *uša* для **ušša* < **ušša* из **ušθra-* авест. *uštra* «верблюд»; *ašiu* «тогда» для **aššiu* при авест. *atšit*; *yašiu* «что-нибудь» для **yaššiu* при авест. *yašit*, др.-инд. *yāścit*; *pasā* «после» для **passā* из **pasčā*, авест. *pasča*, др.-инд. *pasčā*; *abiš* «воды» (Бех. I 86) для **abbiš* из ар-*biš* твор. падеж мн. числа (= им., вин. падежи мн. числа) от ар-«вода».

Представим др.-перс. *a-b-i-č-r-i-š* в виде **a-bb-i-(č)č-r-i-š* из **a-bb-i-šč-r-i-š*, считая, что под влиянием конечного *š* вследствие диссимилиации консонантная группа *šč* упростилась, утратив *š*, или свелась к геминату *šš*. Поделив теперь **a-bb-i-šč-r-i-š* на **a-bb-i-š* и **č-r-i-š*, получим две падежные формы:

1. *abi(š)*, т. е. *abbi(š)* из ар-*biš*, — твор.-вин.-им. падеж мн. числа от ар-«вода» — «воды»,

2. *čagiš* — вин. падеж мн. числа от **čaga-* «пашня» — «пашни», ср. авест. *čagāna* «поле», *yavō-čagāna-* «нива; пашня», от *ka-* «проводить борозду», афг. *kāra* «пахать; возделывать землю», руш. *čēr* : *čērt* «пахать», *čēgiz* «пахать», барт. *čagiz* «пахать».

Составное слово *abbi(š)čariš*, в нормализованной транскрипции — *abi-čariš*, образованное на основе соположения падежных форм (*juxtaposition*), буквально «воды — пахотные земли», как имущественно-правовой термин обозначало возделываемую землю и ирригационные устройства. Такое толкование др.-перс. *abičariš* существенно изменяет представление о составе имущественной формулы § 14 Бехистунской надписи: *abičariš gaiθamčā* «воды — пашни и скот».

Лидийско-арамейская билингва		Бехистунская надпись		
лид.	арам.	др.-п.	элам.	арам.
<i>kāida-</i>	<i>kofu-k</i>	<i>tyñ wmyñ</i>	<i>*arbiš-čariš</i>	<i>lutaš</i> [myn wtyñ]
<i>qira-</i>	<i>qnyñh</i>	<i>gaiθamčā</i>	<i>aš</i>	<i>nksyhwñ</i>
<i>bira-</i>	<i>byth</i>	<i>maniyamčā</i>	<i>kurtaš</i>	<i>btyhwm</i>
<i>aaga-</i>	<i>trbšh</i>	<i>viθbiščā</i>	<i>ulhi</i>	[trbšyhwm]

Значения арам. *byt'* «дом; домочадцы» и *trbš'* «двор; имение» как терминов четко проявляются в следующих строках письма сатрапа Аршама: *'p mn 'tr 'hrñ grd 'mn wšpzn špyq b'w whñ'lw btrbš' zyly wštrw bšnt' zyly w'bdw 'l byt' zyly* (VII : 7) «также из разных мест наберите значительный разнородный контингент мастеровых людей и приведите в мое имение и заклейте моим клеймом и присоедините к моему дому (к моим домочадцам)».

Текст арамейской версии билингвы

- 1) *b III II lmrhšwn šnt X 'rthšš mlk'*
- 2) *bsprd byrt' zñh stwn' wm'rt' drh̄t*
- 3) *'tdt' wprbr zy 'l sprb zñh prbrh 'hr*
- 4) *zy mny br kmly srwkn' wmn zy 'l stwn' zñh 'w*
- 5) *m'rt' 'w ldrh̄t' lqbl zy prbr lm 'rt'*
- 6) *zñh 'hr mn zy yh̄bl 'w yprk mnd'm hr*
- 7) *'rtmw zy klw w'pššy trbšh byth*
- 8) *qnyñh tyñ wmyñ wmnđ'mth ybdrwnh wypt̄h*

Перевод

«(1) 5-го (дня месяца) мархешвана, в 10-й год (правления царя Артаксеркса [394/348 г. до н. э.]), (2) в крепости Сарды. Эта стела и пещера, ложа, (3) преграда и любое приношение, которое этой пещере ее приношение, вот, (4) (собственность) Мане, сына Кумли, происходящего от Силука (или: из Силука).

И тот, кто у этой стелы или (5) пещеры или у ложей, у того, что (является) приношением в пещеру (6) эту, вот, тот, кто повредит или разобьет что-нибудь, вот, (7) Артемида из Колои и (Артемида) эфесская его двор, его дом, (8) его скот, его пашни (буквально землю и воды) и все прочее ему уничтожат, и он погибнет».

При наличии элам. *Irtašduna* (муж. и жен.) и греч. Ἄρτεμιώνη (жен.), в которых отразились др.-иран. **Rta-stūna-*, **Rta-stūnā-* «Тот (Ta), кто является опорой Истины» или «Тот (ta), которому (которой) Истина является опорой», теперь есть гораздо больше оснований вывести персидское личное имя *Bystwn*, вариант *Bhstwn*, из др.-иран. **Baga-stūna-* «Тот, кто является опорой бога, богов, Митры» или «Тот, кому опорой бог, боги, Митра», чем из «Лишенный опоры» (*Bystwn*) или «Хорошая опора» (*Bhstwn*)¹⁸. Возможность объяснения *bu°*, *bh°* из **baga-* находит поддержку в топониме *Bystwn*, *Bhstwn*, в котором видят др.-иран. **Baga-stāna-* «ме-

¹⁸ F. Justi, *Iranisches Namenbuch*, Marburg, 1895, стр. 69, 360.

сто (обитания) бога, богов». Если, однако, отбросить весьма проблематичный в данном случае переход $\bar{a} > \bar{u}$, то и для топонима *Bystwn*, *Bhstwn* можно будет предположить в качестве исходного композит **Baga-stūna-*. Др.-иран. *stūna-* «столб; колонна; опора» выступает в билингве в значении «стела с надписью» в соответствии с лид. *mgū-* «стела», которое связывают по происхождению с авест. *mgū-* «говорить», лик. *mgββ(a)-* «речь; слова». Так же в **Baga-stūna-* под *stūna-* понимались столбцы надписи. Компонент *baga-* «бог» указывал на исключительность и величие надписи, подобно тому, как с *šāh* «царь» образованы персидские слова: *šāhkār* «шедевр» — *kār* «дело», *šāhrāh* «главная дорога» — *rāh* «дорога», *šāhbayt* «лучший бейт» — *bayt* «бейт», *šāhrūd* «большая река» — *rūd* «река»; ср. **Baga-stūna-* «Великие столб(ц)ы (с надписями); Стелы богов».

Греч. *Bagistane* не мешает возведению топонима *Bystwn*, *Bhstwn* к **Baga-stūna-*: форма **Bagastāna-* могла получиться из **Baga-stūna-stāna* «место, где находятся Великие стелы», подобно тому, как перс. *āstān* «порог» через **ālstān* восходит к др.-перс. *ardastāna*¹⁹ «подоконник», стяженной форме от **arda-stūna-stāna*²⁰ «место, где укрепляются оконные, дверные столбы».

¹⁹ W. B. Henning, The «coin» with cuneiform inscription, NC, 6-tb] Series XVI, 1956, стр. 328, примеч. 1.

²⁰ W. Wüst, *Altpersische Studien*, München, 1966, стр. 22.

В. Н. ЖОСАН

**О ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ФОНЕМНОГО ИНВЕНТАРЯ
КОРЯКСКИХ СОГЛАСНЫХ МЕТОДОМ ДИСТРИБУТИВНОГО
АНАЛИЗА**

Классификация фонем и определение их различительных признаков на основе дистрибутивного анализа нашли отражение во многих фонологических работах, однако методологические основы систематики не получили еще однозначной оценки¹. В настоящей статье сделана попытка функциональной классификации фонемного инвентаря согласных корякского языка, которая опирается на их различную комбинаторную способность.

Для целей классификации надо решить, на основании каких критериев и с помощью какой процедуры возможно организовать классы фонем и определить характер их взаимодействия. В основу выбора критерия классификации фонемного инвентаря могут быть положены следующие свойства фонемных оппозиций. Группа фонем в определенной позиции может обнаруживать некие общие свойства, на основании которых их можно объединить в класс. Если в другом положении все члены этого класса проявляют другие общие свойства, то можно говорить о том, что элементы, организующие указанный класс фонем, сами образуют систему особого рода. Этим обуславливается выбор критерия классификации. Таким критерием может быть сочетаемость/несочетаемость согласных фонем в интервокальной консонантной группе СС: фонемы, не встречающиеся в определенной позиции, образуют изолированный класс. Применение критерия классификации автоматически организует фонемный инвентарь.

Разбиение фонем на классы на основе индивидуальной сочетаемости относительно первого или второго элемента группы СС позволяет ограничить слабые и сильные позиции таким образом, что их можно рассматривать как частные случаи сочетаемости и несочетаемости.

Принадлежность фонемы классу обуславливает ее различительные признаки. Если фонема принадлежит классу, все члены которого обладают свойством (х), и одновременно принадлежит другому классу, характеризующемуся свойством (у), то она будет обладать признаками (х) + (у).

На основании сочетаемости фонем можно считать, что одиннадцать фонем корякского языка /р, т, к, џ, м, п, ц, w, l, l', j/ представляют собой систему, так как все они встречаются перед /k/. Эта система характеризуется тем, что две любые фонемы встречаются в указанной позиции, образуя оппозиции на уровне системы. Поскольку общий член, перед которым могут встречаться фонемы на уровне системы, характеризует их все, то для каждой из них это свойство является иррелевантным; значимым для каждой фонемы становится способность сочетаться с другими фонемами, т. е. принадлежность к определенному классу.

¹ См.: Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 272 и сл.; Л. Блумфилд, Язык, М., 1968, стр. 129—141; E. Fischer-Jørgensen, Définition des catégories des phonèmes sur une base distributionnelle, «Langages», 20, 1970; F. H i n t z e, Zum Verhältnis der sprachlichen «Form» zur «Substanz», «Studia linguistica», an. 3, 2, 1949; W. L e h f e l d t, Distributionelle Phonemähnlichkeit, «Phonetica», 27, 2, 1973.

Рассмотрим механизм взаимодействия фонем под этим углом зрения. На основе сочетаемости фонем в группах СС можно сделать вывод, что если для разбиения фонем на классы взять критерий невстречаемости, то невстречаемость /p/, /t/ перед /m/ говорит о том, что эти фонемы образуют класс по этому признаку. Однако этого критерия недостаточно для характеристики класса, поскольку надо определить не только то, что объединяет группу фонем /p, t/, но и то, чем они отличаются друг от друга. Если на основании сочетаемости фонем обнаружится, что /p/, /t/ не могут встречаться перед каким-либо согласным, то справедливо будет считать, что согласный, перед которым /p/, /t/ не встречаются, а именно /m/, и согласный, перед которым они встречаются, представляют собой взаимно обусловленную систему.

Анализ показывает, что позиции, в которой бы встречались только /p/, /t/, а остальные фонемы не встречались, нет. Отсюда можно сделать вывод, что в корякском языке фонеме /m/ не соответствует никакая другая фонема, перед которой встречался бы только класс /p — t/, иначе говоря, отсутствует коррелят /m/. Из этого с необходимостью следует вывод, что критерия невстречаемости для получения класса /p — t/ достаточно, но этот критерий не объясняет, чем различаются между собой его члены.

В классификационных целях проведем разбиение фонем на основе уже выбранного критерия. Процедура его применения состоит в том, чтобы найти определенную закономерность в невстречаемости класса /p — t/ перед какой-либо другой фонемой, кроме /m/; эта процедура может быть осуществлена при условии, что один из элементов гипотетического класса (в данном случае /p — t/) должен образовывать другой класс с элементом, по отношению к которому выделяется сам класс /p — t/. В первом случае разбиения получается класс /p — t/ на основе невстречаемости перед /m/. Вторично используя этот критерий и отмечая, что /p/ и /m/ не встречаются перед /w/, разбиение на классы можно представить в таком виде: /p, t/ образуют класс, не встречающийся перед /m/; /p, m/ образуют класс, не встречающийся перед /w/.

Иначе говоря, если класс /p — t/ организован по тому принципу, что все его члены не встречаются перед /m/, то группы /p, m/, /t, m/ должны образовывать свои собственные подклассы, члены которых отличаются друг от друга способностью не встречаться перед другими фонемами.

Из анализа сочетаемости фонем видно, что /p/, /m/ образуют свой собственный подкласс на том основании, что они не встречаются перед /w/; что же касается группы /t, m/, то она самостоятельного подкласса не образует. Действительно, система оппозиций

$$\begin{array}{l} /p - m - w/ \\ /t - m - w/ \end{array}$$

фиктивна; хотя /p/, /t/ не встречаются перед /m/, это не дает права считать, что /w/ играет ту же самую роль по отношению к /t/, как и к /p/: /p/ не встречается перед /w/, а /t/ перед ним встречается потому, что обладает иной дистрибуцией.

Как видно, только /p—m—w/ удовлетворяют критерию классификации; что же касается класса /t—m—w/, то он удовлетворяет только первому разбиению на основе критерия невстречаемости. Вторичное применение критерия систематизации показывает, что /t/ — /m/ образуют класс на уровне системы и, значит, эти фонемы принадлежат разным классам.

Строго говоря, систему отношений, обусловленную критерием невстречаемости, можно представить в виде классов /p—m—w/ и /p—t/. Это дает право считать /p—m—w/ особым классом фонем, организованных по иному принципу, чем группа фонем /t, m, w/: /p—t/ образуют класс на основе не-

встречаемости перед /m/, а /p—m/ образуют класс на основе невстречаемости перед /w/. Таким образом, получена часть системы фонем, которая по условию представляет собой пересечение двух классов.

При классификации корякских согласных надо различать явления сочетаемости фонем на уровне системы и на уровне класса: все фонемы составляют систему по определенному признаку, но поскольку этот признак является для них иррелевантным, актуальность приобретает принадлежность фонем к классам. Как было видно, /m/, организующий класс /p—t/, совершенно по-разному ведет себя в реальном классе /p—m/ и гипотетическом классе /t—m/.

Для целей классификации было бы удобно, если бы /w/, организующий класс /p—m/, в свою очередь вместе с /p/ составлял класс по отношению к /m/. Это, однако, противоречит действительности; подкласс /w—p/, организованный относительно /m/, не существует.

На основании невстречаемости /p/, /m/ перед /w/ организован класс /p—m/, однако критерий для включения /w/ в класс /w—p/ и соответственно в класс /p—m—w/ совершенно иной — возможность включения /w/ в один класс с /m/ на уровне системы.

Таким образом, включение /w/ в один класс вместе с /p/ и /m/ является оправданным; одновременно оно сигнализирует о том, сколько раз можно применять критерий классификации (невстречаемость) в стремлении достичь того, чтобы фонемы составляли отношения на уровне системы. Повторное применение этого критерия является необходимым и достаточным для организации фонемного класса корякских согласных.

Рассмотрим статус фонемы /t/, входящей в класс /p—t/. Системность фонологических единиц вынуждает при анализе исходить из отношений между фонемами: если /p/ и /t/ принадлежат одному классу, то невстречаемость фонемы /t/ должна иметь место перед /m/, а /t/ и /m/ должны образовывать класс по отношению к третьей фонеме, ибо только таким условиям удовлетворяют члены класса /p—m—w/.

Поскольку это не соответствует реальному положению вещей, подбираем фонемы так, чтобы они удовлетворяли критерию классификации по отношению к /t/. Из анализа сочетаемости видно, что /t/ и /m/ удовлетворяют ему частично, так как /t/ и /m/ взаимно не образуют класс по отношению ни к одной другой фонеме, т. е. образуют класс на уровне системы. Имея в виду, что невстречаемость одной фонемы перед другой есть уже само по себе частное применение избранного критерия классификации (так как одна фонема представляет сама по себе изолированный класс), эмпирически можно определить, какие фонемы удовлетворяют критерию систематизации, если известен один член искомого класса — /t/. Такой фонемой оказывается /n/.

Подобный метод поисков фонем, принадлежащих одновременно разным классам, прост: необходимо, чтобы элемент, по отношению к которому выделяется класс фонем, вместе с какой-либо фонемой класса составлял бы другой класс по отношению к иной фонеме. Пользуясь этим приемом, легко можно найти эти фонемы по таблице сочетаемости: например, /t/ не встречается перед /q/ и, следовательно, образует класс вместе с /q/, который тоже не встречается перед /q/. Согласно заданному условию, /t/ или /q/ должны вместе с /q/ образовывать класс по отношению к какой-либо третьей фонеме по критерию невстречаемости. Этого, однако, не наблюдается; /q/ и /q/ образуют класс только на уровне системы, они, следовательно, не удовлетворяют условию, так как не являются пересечением двух классов. Аналогичным образом /t/ и /q/ не образуют класса.

Со своей стороны, невстречаемость /t/ перед /n/ имеет другой характер: /t/ и /n/ образуют класс по отношению к /l/. Поскольку имеет место клас-

сификация такого рода:

/p—t/ образуют класс на основе невстречаемости перед /m/,

/p—m/ образуют класс на основе невстречаемости перед /w/,

/t/ образует класс на основе невстречаемости перед /n/,

/t—n/ образуют класс на основе невстречаемости перед /l/, то можно утверждать, что /t/, как и /p/, является пересечением двух классов фонем и по тому же критерию невстречаемости образует класс /t—n—l/. Это можно представить в виде пересечения классов:

$$\begin{array}{l} /p - m - w/ \\ /t - n - l/. \end{array}$$

Поскольку удовлетворен критерий классификации, то имплицитно предполагаемая нетождественность классов не существует и, следовательно, отношения /t/ : /n/ и /t/ : /l/ аналогичны отношениям /p/ : /m/, /p/ : /w/.

Процедура классификации фонемного инвентаря была основана на дистрибутивном анализе; тот факт, что предложенная модель соответствует языковой реальности, может быть проиллюстрирован следующими примерами. Рассмотрим глаголы, основы которых оканчиваются на согласный: /jalʏetək/ «кочевать» (основа /jalʏet/), /jəlqetək/ «спать» (основа /jəlqet/ ~ /jəlqat/), /vetatək/ «работать» (основа /vetat/). При образовании некоторых глагольных форм аффиксальным способом обнаруживаются следующие случаи взаимодействия фонем на морфемном шве. /jalʏetək/ «кочевать» и показатель лица-числа /laj/ дают форму прошедшего времени /jalʏəllaj/ «они (мн.) кочевали». Аналогичные явления отмечаются и у остальных глаголов: /jəlqetək/ + /laj/ = /jəlqəllaj/ «они спали», /vetatək/ + /laj/ = /vetəllaj/ «они работали». /vetat/, основа глагола /vetatak/ «работать», при образовании формы 3-го лица дв. числа сослагательного наклонения с помощью показателей /nh... net/nat/ имеет вид /nhəvetənnat/ «они бы двое поработали». Подобные явления обнаруживаются на морфемном шве и у остальных глаголов: /nhəjəlqənnət/ «они бы двое поспали», /nhəjalʏənnat/ «они бы двое кочевали».

Актуализация системы фонем в реальном языковом материале подтверждает, что найденная модель соответствует действительности, а взаимодействие фонем в ряду /t—n—l/ необходимо рассматривать как парную систему нейтрализуемых оппозиций /t/ : /n/ и /t/ : /l/.

Рассмотрим различительные признаки фонем в выделенных классах. Обратимся к классам согласных фонем /p—m—w/ и /t—n—l/. В классе /p—m—w/ отношение /w/ : /m/, как и отношение /p/ : /w/, описывается на основе одного и того же критерия классификации, в то время как отношение /p/ : /m/ отличается от отношений /p/ : /w/ и /w/ : /m/ тем, что оно является результатом первого применения критерия классификации фонемного инвентаря: класс /p—t/ образован на основе невстречаемости перед /m/, а класс /p—m/ — на основе невстречаемости перед /w/.

Анализ этих фактов показывает, что отношение /p/ : /w/ не аналогично отношению /p/ : /m/, но отношение /p/ : /w/ аналогично /m/ : /w/, так как /p/ и /m/ принадлежат одному классу. Это значит, что фонемы, описываемые отношением /p/ : /m/, не обладают общим признаком, который имеется у отношения /p/ : /w/ или /m/ : /w/. Если бы это было не так, то фонемы не различались бы между собой, и нужен был бы другой критерий для их классификации.

Если считать, что фонемы, участвующие в оппозиции по отношению к тому элементу, на основании которого они образуют упорядоченный класс, отличаются каким-либо условным признаком, то надо допустить, что оппозиции /p/ : /w/ и /p/ : /m/ обладают не этим общим признаком, а раз-

ными. Иначе говоря, этот признак и его отсутствие не может быть одновременно у /w/ и /p/. Если бы это было не так, то /m/ и /w/ не различались бы между собой. Следовательно, /m/ обладает неким признаком (x), который не противопоставляется (-x) как внутренний (или различительный) признак /p/. Это возможно только тогда, когда /m/ и /p/ обладают этим признаком.

Рассмотрим признаки фонем, принадлежащих классу /p—m—w/, где взаимоотношения между фонемами описываются согласно критерию классификации как /p/ : /m/, /p/ : /w/ и /m/ : /w/. Считается, что все члены этого класса обладают неким общим для его членов признаком (x).

Формально определим, какие признаки фонем могут соотноситься между собой для /p/ : /m/, причем известно, что /p/ и /m/ обладают общим признаком (x). Можно предполагать, что отношение /p/ : /m/ осуществляется за счет противопоставления другого, отличного от (x), признака (y) для /p/ и (-y) для /m/, т. е.

$$\begin{aligned} /p/ &= (x) + (y) \\ /m/ &= (x) + ? \end{aligned}$$

Если бы это было противопоставление (x), принадлежащего /m/, и (y), принадлежащего /p/, предположение о том, что /p—m—w/ образуют класс, было бы неверным. Поэтому отношение /p/ : /m/ можно представить только как оппозицию признаков (y) : (-y):

$$\begin{aligned} /p/ &= (x) + (y) \\ /m/ &= (x) + (-y). \end{aligned}$$

Поскольку оппозиции /p/ : /m/ и /p/ : /w/ не могут осуществляться как взаимодействие признаков (y) : (-y), так как отношение /p/ : /m/ выделено при первом применении критерия классификации, а /p/ : /w/ — при втором его применении, то отношение /p/ : /w/, в отличие от отношения /p/ : /m/, можно представить как взаимодействие признаков (z) : (-z).

Зная, что существует отношение /m/ : /w/, выведенное на основе второго применения критерия классификации, надо определить, по каким признакам соотносятся эти фонемы. Отношение /m/ : /w/ не может описываться соотношением признаков (-y) : (-z), поскольку они однозначно не соответствуют один другому. Можно ввести некоторый четвертый признак для описания этого отношения, однако это нецелесообразно, поскольку мы стремимся к описанию фонетически многомерных оппозиций посредством одномерных и привативных. Из-за введения четвертого признака исчезнет возможность проверить истинность тезиса Н. С. Трубецкого о характере нейтрализуемых оппозиций².

Итак, если /p/ и /m/ принадлежат одному классу, а /p/ противопоставляется /w/ как (z) : (-z), то следует считать, что отношение /m/ : /w/ осуществляется за счет противопоставления (z) : (-z). Иначе говоря, отношения членов класса /p—w—m/ можно представить как взаимодействие признаков (x), (y) и (z):

$$\begin{aligned} /p/ &= (x) + (y) + (z) \\ /m/ &= (x) + (-y) + (z) \\ /w/ &= (x) + (-y) + (-z). \end{aligned}$$

В фонологии Н. С. Трубецкого система таких отношений квалифицируется как нейтрализация оппозиций /p/ : /m/ и /m/ : /w/.

Фонотактические условия позволяют определить взаимоотношения между классами /p—m—w/ и /t—n—l/. При наличии в инвентаре /l/ фонемная систематика позволяет включить /t'/ и /n'/ в класс фонем

² Н. С. Трубецкой, указ. соч., стр. 87.

$/t'-n'-l'/$, хотя $/t'/$ и $/n'/$ не входили в инвентарь фонем, так как они не выделялись процедурой синтагматического членения. На основе критерия классификации отношения между членами всех трех классов можно представить так: $/t-l/$, $/t'-l'/$ попарно образуют класс по отношению к $/j/$; $/t-n/$ и $/t'-n'/$ образуют класс по отношению к $/l/$; $/n-l/$ и $/n'-l'/$ образуют класс по отношению к $/j/$.

Поскольку $/p/$ и $/m/$, с одной стороны, $/t'/$ и $/n'/$ — с другой, образуют класс по отношению к $/w/$, их можно считать функционально тождественными, т. е. $/p/ : /m/ = /t'/ : /n'/$, а поскольку $/t-n/$ и $/t'-n'/$ попарно образуют класс по отношению к $/l/$, то можно продлить ряд отношений: $/p/ : /m/ = /t'/ : /n'/$ и $/t/ : /n/ = /t'/ : /n'/$.

Из этого вытекает очень важное следствие, которое характеризует систему в целом: хотя и существует функциональная аналогия отношений между фонемами в классах $/p-m-w/$ и $/t-n-l/$, однако характер оппозиций фонем в рядах коренным образом различается. Если в классе $/p-m-w/$, говоря терминами Н. С. Трубецкого, нейтрализуемые оппозиции образуют пары $/p/ : /m/$ и $/m/ : /w/$, то в классе $/t-n-l/$ нейтрализуемые оппозиции образуют пары $/t/ : /n/$ и $/t/ : /l/$. Это значит, что нейтрализация оппозиций в этих классах происходит посредством разных механизмов.

На основании всего сказанного выше осуществляется классификация согласных фонем корякского языка. Итоговые результаты могут быть представлены системой коррелятивных фонем, состоящих, по терминологии А. Мартине, из трех серий — щелевых носовых $/w, l, j, l'/$, носовых смычных $/p, t, č, t'/$, носовых смычных $/m, n, n'/$ и трех рядов — лабиального $/p, m, w/$, апикального $/t, n, l/$ ³ и апикально-палатального $/t', n', l'/$. Вне корреляций находятся $/k, q, ɕ, ɣ, h/$.

При этом следует иметь в виду, что выбор группы СС в интервокальной позиции для исследования диктуется следующими соображениями. Отмеченные закономерности проявляются только в середине слов. Иной механизм взаимодействия фонем наблюдается в позиции абсолютного начала и конца слова⁴ (например: $/tnup/$ «сок», $/nəvetat(ə)n/$ «пусть он поработает») и на стыке морфем, когда одна из них начинается согласным, являющимся результатом восстановления начальных согласных основы в префиксальных формах глагола (например, глагол $/jaččəhavək/$ «укладывать спать» имеет медиальную форму $n'aččəhav-$). На стыке показателя 1-го лица мн. числа субъекта $/mət-$ с медиальной формой глагола ассимиляция не происходит: $/mət'n'aččəlavnaw/$ «мы их уложили спать»). В отдельную группу с точки зрения отмеченных явлений следует отнести заимствования из русского языка (например: $/otnako/$), а также собственные имена ($/atna/$ — мужское имя).

³ К ряду апикальных относится $/č/$, который вместе с $/j/$ образует неполный ряд: со своей стороны, $/j/$, для которого релевантен только способ образования, должен расцениваться по принадлежности к разряду щелевых носовых.

⁴ См.: А. Н. Ж у к о в а, Грамматика корякского языка, Л., 1972, стр. 28—29

И. А. ФЕДОСОВ

ВАРИАНТНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКАЯ СИНОНИМИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Синонимия и вариантность фразеологических единиц (ФЕ) связаны между собой, поскольку часть фразеологических синонимов возникает и существует в языке на основе вариантов ФЕ. Фразеологические варианты представляют собой фонематические, лексические, словообразовательные, морфологические и синтаксические разновидности одной и той же ФЕ, имеют одно общее значение, одинаковую структуру и лексический состав, могут отличаться одним только словом, вносящим незначительные смысловые или стилистические изменения, и относятся к одному функционально-стилистическому пласту. Однако эти различия настолько незначительны, что они не приводят к образованию вариантных синонимов ФЕ. Вопрос о вариантах слов и ФЕ и о разграничении вариантности и синонимии ФЕ еще не решен¹.

Фразеологическое варьирование может быть основано на фонематическом варьировании одного слова. Однако такие варианты ФЕ в литературном языке — редкое явление: *ноль (нуль) без палочки, стать на дыбышки (дубошки)* (донск.)².

Словообразовательные варианты ФЕ могут отличаться отсутствием или наличием суффикса субъективной оценки³ в одном из компонентов. Словообразовательная вариантность ФЕ широко распространена в современном русском языке, ср.: *прикидываться дураком (дурачком), глаза (глазоньки) бы не глядели, животы (животики) надирать, как на ладони (ладонке), на глаз (глазок), не выросла та яблоня (яблонька), чтобы ее черви*

¹ См.: Ф. П. Ф и л и н, О слове и вариантах слова. Морфологическая структура слова в языках разных типов, М.—Л., 1963, стр. 29. Определение лексических вариантов фразеологизмов дает В. П. Жуков: «Такие словесные видоизменения, которые не вносят каких-либо экспрессивно-смысловых оттенков в содержание фразеологизма, мы и называем лексическими вариантами фразеологизма» (В. П. Ж у к о в, Фразеологизмы с переменным составом компонентов, «Уч. зап. Ленингр. пед. ин-та», 257, 1965). См. также: Н. М. Ш а н с к и й, Лексикология современного русского языка, М., 1972, стр. 192. Несколько иное понимание фразеологических вариантов предложено Ю. Ю. Авалиани и Л. И. Ройзензон: «Фразеологические же варианты, наоборот, при общности значения характеризуются тождеством образной структуры и экспрессивно-стилистической окраски, что и создает возможность параллельного их функционирования в разных контекстах» (Ю. Ю. А в а л и а н и, Л. И. Р о й з е н з о н, О разграничении синонимии и вариантности в области фразеологических единиц, «Вопросы фразеологии и составления фразеологических словарей», Баку, 1964, стр. 72). Слишком широко трактует фразеологическую вариантность Н. А. Кирсанова (см.: Н. А. К и р с а н о в а, Варианты фразеологических единиц, «Очерки по русскому языку и стилистике», Саратов, 1967, стр. 172). При расширенном понимании стирается различие между фразеологическими вариантами и синонимами.

² Пример Ю. Ю. Авалиани и Л. И. Ройзензона.

³ Вопрос о том, представляют ли собой слова без суффиксов субъективной оценки и соответствующие слова с этими суффиксами явление словообразования или формообразования, иначе, являются ли они отдельными словами или формами одного слова, спорен. См. об этом: Ф. П. Ф и л и н, указ. соч., стр. 129.

не точили, песня (песенка) спета, руки (рученьки) опустились, свернуть голову (головку) кому-либо, середина (середка) на половине (половинку), слюни (слюнки) потекли, теплое (тепленькое) место (местечко), у кого-либо в голове редко (реденько) засеяно, хорошего (хорошенького) понемногу (понемножку), червяка (червячка) заморить, что за штука (штучка), яблоко (яблочко) от яблони (яблоньки) недалеко падает. Приведенные варианты отличаются разной степенью эмоционально-экспрессивной окраски. Вместе с тем наблюдаются случаи, когда оба словообразовательных варианта имеют суффиксы субъективной оценки, однако такие случаи редки: *фиговый листок (листочек)*. Словообразовательные варианты ФЕ обычно вследствие бытового характера входящей в их состав лексики являются разговорными. Их разговорность подтверждается и контекстом: «... и у Хины потекли слюнки, что все эти безделушки можно будет приобрести за бесценок» (Мамин-Сибиряк, Приваловские миллионы); «Р а и с а. Вот золотое-то было времечко! Есть чем вспомнить» (Островский, За чем пойдешь, то и найдешь).

Однако не все ФЕ допускают словообразовательные варианты, например: *гусиные лапки, избушка на курьих ножках, кончилась лавочка*. Много таких ФЕ, в которых есть слова с суффиксами субъективной оценки, но которые не имеют соотносительных бессуффиксальных вариантов ФЕ: *встретиться на тесной дорожке, делать глазки, закрыть лавочку, из чужой спины ремешки кроить, маковой росинки во рту не было, молчать в тряпочку, наше вам с кисточкой, по пьяной лавочке, рожки да ножки, сделать кому-либо ручкой, сесть на своего конька, с хвостиком*.

Одна из причин отсутствия словообразовательных фразеологических вариантов состоит, видимо, в традиционности употребления ФЕ. Другая причина заключается в особенностях ритмо-мелодики, рифмы, гармонии звуков, свойственных русскому языку вообще и значительной части ФЕ в частности. Фонетические факторы, влияющие на отсутствие вариантов, преимущественно свойственны пословичным ФЕ. Порой отсутствие вариантов форм можно объяснить акцентологическими условиями: *быломестишко, да отбил хмелишко; выкоржил змейку на свою шейку; на скотинку по хворостинке*. Нельзя сказать: *выкоржил змею на свою шею*.

Широко распространены фразеологические варианты, образуемые лексическими средствами — заменой одного компонента синонимичным, вносящим незначительные смысловые или стилистические изменения, ср.: *свихнуться (спятить) с ума*; оба варианта просторечны, второй грубее. Примеры разговорных лексических вариантов ФЕ: *вогнать в краску (пот), дикий восторг (радость), крошечная тьма (мгла), мороз по коже пробегает (подирает), налететь (вцепиться) коршунном, смешинка в рот попала (залетела), утопающий за соломинку держится (звтаается, цепляется и т. п.)⁴.*

Однако следует иметь в виду, что не всякая замена близких по семантике и стилистической окраске слов создает фразеологические варианты. Лексические варианты ФЕ образуются лишь в том случае, если варианты слова не вносят сколько-нибудь значительных смысловых различий и не изменяют функционально-стилистического пласта ФЕ, т. е. если в результате замены слова не происходит образования вариантных синонимов.

Варианты ФЕ могут создаваться морфологическим путем за счет формообразования: *шевелить мозгой (мозгами)* (престореч.). Фразеологические варианты создаются окончаниями *-а* и *-у* в существительных в род.

⁴ Многочисленные лексические варианты фразеологических сочетаний представлены в кн.: Ю. А. Гвоздарев, Фразеологические сочетания современного русского языка, Ростов-на-Дону, 1973.

падеже ед. числа. Окончание *-у* по сравнению с окончанием *-а*, как правило, не изменяет функционально-стилистической окраски разговорных ФЕ. В абсолютном большинстве случаев допустимы оба окончания, однако предпочитается окончание *-у* как типичное разговорное в этом падеже. Фразеологические варианты с *-а* и *-у* различаются меньшей и большей степенью разговорности. Широкое употребление окончания *-у* в разговорных ФЕ вполне закономерно: *веку(а) не будет, дать маху(а), нужен до зарезу(а), уморить со смеху(а)*. Ср.: «С м и р н о в. Да помилуйте, как же мне не сердиться? Нужны мне до зарезу деньги...» (Чехов, Мужики). Наличие двух вариантов у одного из компонентов ФЕ фиксируется в некоторых толковых словарях, например, в 17-томном словаре. Правда, вариантность, к сожалению, отмечается редко: *приступу(а) нет*. В отдельных случаях по соображениям ритмо-мелодики, рифмы допустимо только окончание *-у*. Это характерно для ФЕ пословичного типа: *и без перцу подошло к сердцу; не зная броду, не суйся в воду*.

Синтаксическая вариантность ФЕ может быть основана на различии союзов: *вынь и (да) положь, кожа и (да) кости, с бору и (да) с сосенки, тля и (да) лял, шито и (да) крыто*. Все эти варианты носят разговорный характер, причем наиболее разговорен вариант с *да*. Фразеологические варианты могут создаваться за счет варьирования форм словосочетания, ср.: *наговорить с три короба — наговорить три короба*, или за счет изменения порядка слов, ср.: *валять дурака — дурака валять, видеть насквозь — насквозь видеть, жить анахоретом — анахоретом жить*.

Синтаксические варианты ФЕ могут быть результатом эллиптического опущения отдельных элементов, ср.: *как дважды два — как дважды два; на все сто процентов — на все сто; совсем с ума спятил — с ума спятил — совсем спятил; чтоб тебе лихо было — чтоб тебе; чтоб тебя разорвало — чтоб тебя*. Вторые и последующие варианты в приведенных рядах экспрессивнее, иногда даже фамильярнее.

Фразеологическими синонимами являются ФЕ, имеющие одно общее значение и различающиеся семантическими или стилистическими оттенками, иногда тем и другим⁵. Например, в синонимическом ряду с общим значением «много» ФЕ отличаются смысловыми оттенками и расположены по степени увеличения количества: *хоть лопатой гребь — хоть от баблэй — хоть пруд пруди — как песку морского — тьма-тьмушая видимо-невидимо*. Функционально-стилистически они равноценны, разговорны. Стилистическое значение первых четырех ФЕ создается лексическими факторами, бытовыми словами, последних двух — тавтологичностью. В синонимическом ряду со значением «глухой» ФЕ различаются функционально-стилистическими признаками и расположены по степени увеличения сниженности и грубости: *пороха не выдумает (разг.) — без царя в голове (разг.) — не все дома (разг., близко к простореч.) — винтиков(а) не хватает (простореч.) — на верхнем этаже не все меблировано (груб.-простореч.) — не хватает (одной) клепки в голове (груб.— простореч.) — олух царя небесного (груб.-простореч.)*.

Разновидностью фразеологических синонимов являются функционально-стилистические синонимы. Если первые могут иметь одинаковую и разную функционально-стилистическую окраску, то вторые обязательно относятся к разным функционально-стилистическим пластам. Функционально-стилистическое значение синонимов зависит от стилистического значения вариантов слов, входящих в ФЕ. К функционально-стилисти-

⁵ Ср. другие определения синонимии: Ю. Ю. А в а л и а н и, Л. И. Р о й з е н з о в, указ. соч., стр. 72; Н. М. Ш а н с к и й, указ. соч., стр. 194; И. И. Ч е р н ы ш е в а, Фразеология современного немецкого языка, М., 1970, стр. 35.

ческим относятся фразеологические синонимы, имеющие одинаковую семантику и структуру, одинаковый лексический состав (может варьироваться одно слово, что ведет к незначительным смысловым или эмоционально-экспрессивным изменениям), но различающиеся фонематическими, акцентологическими, словообразовательными, морфологическими и другими особенностями; обуславливающими эту их отнесенность к разным стилистическим пластам. Ср., например, *поднять на смех* и *поднять на смехи*. Они имеют одинаковое значение, в плане выражения различаются словообразованием и относятся к разным функционально-стилистическим пластам — первый к разговорному, второй к просторечному. Другие примеры: *и мы не в лесу родились, не пеньком молились* — *и мы не в лесу родились, не пенью молились*; *кто старое вспомнит, тому глаз вон* — *кто старое вспоминает, тому глаз вон*. Первые ФЕ разговорны, вторые просторечны. Показателем стилистического значения вторых являются просторечные слова и формы *пенью, вспоминает*.

Такие синонимы могут создаваться и фонематическим путем. Приставной звук в начале слова или просторечное чередование звуков внутри его приводит к образованию просторечной ФЕ. Ее синонимом является разговорная ФЕ с отсутствием этого явления: *острить зубы* — *вострить зубы*; *держат ухо остро* — *держат ухо востро*; *как сквозь землю провалился* — *как скрозь землю провалился*; *напугать до смерти* — *напужать до смерти*. Здесь и далее ФЕ первого ряда разговорны, второго — просторечны. Просторечный характер ФЕ подтверждается контекстом: «Добротворский. Сегодня строгости пошли. Это так точно. Анна Петровна. Скажите, пожалуйста! Беневоленский. Нынче уж держи ухо востро» (Островский, Бедная невеста). Фонематические особенности собственных имен также способствуют созданию просторечных ФЕ: *хитрый Дмитрий* — *хитрый Митрий*; *у всякого Моисея своя затея* — *у всякого Мосея своя затея*. Вариантные функционально-стилистические синонимы могут создаваться и за счет просторечного ударения, ср.: *ни за чтб, ни про чтб* — *ни за что, ни про что*; *по сытому брюху зоть обузом* — *по сытому брюху зоть обузом*.

В основу образования функционально-стилистических синонимов могут быть положены лексические различия, в одном из них находится нейтральное или разговорное слово, в другом — просторечное; *гнуть спину* — *гнуть хрип*; *дать руку* — *дать лапу*; *запустить руку* — *запустить лапу*; *намять бока* — *намять горб*. Функционально-стилистические синонимы могут быть результатом просторечного или устаревшего словообразования различных частей речи, входящих в состав ФЕ: *в зубы заглядывать* — *в зубы заглядать*; *душа не принимает* — *душа не примаает*; *после драки нечего рукава засучивать* — *после драки неча рукава сучить*; *ставить на ноги* — *становить на ноги*. Синонимы могут возникать путем одновременного присоединения к слову двух приставок: *рога свернуть* — *рога по-свернуть*; *спасть с лица* — *поспасть с лица* (Мамин-Сибиряк).

Одним из источников образования вариантных функционально-стилистических синонимов является просторечное формообразование разных частей речи в составе ФЕ. Наблюдается несколько разновидностей формообразования. Для существительных, местоимений, глаголов продуктивно формообразование, основанное на употреблении флексий, создающих просторечные формы слов, ср. в ед. ч.: *на этот раз* — *в этом раге*; *сладкая жизнь* — *сладкя жизнья*; *и все тут* — *и вся тут*; во мн. ч.: *бодливой корове бог рогов не дает* (редко) — *бодливой корове бог рог не дает*; *наши пути сойдутся* — *наши путя сойдутся*; *сам с усами* — *сам с усаж*; *с первого раза* — *с первыж разов*; *только и дел(а)* — *только и делов*. Одним из способов создания функционально-стилистических синонимов путем формо-

образования является окончание у частицы *нет*. Такая форма создает просторечный характер ФЕ, синонимом к ней является ФЕ с нейтральной формой частицы *нет*: *пропасти на тебя нет — пропасти на тебя нету*. Форма мн. числа отвлеченных существительных и других существительных, не употребляемых во мн. числе, в составе ФЕ также приводит к созданию вариантных функционально-стилистических синонимов. Она придает ФЕ просторечный характер, ср.: *быть (кому-либо) семь веков в людской памяти — быть семь веков в людских памятях; в ту пору — в те поры; на (чьей-либо) памяти — на (чьих-либо) памятях; по всей видимости — по всем видимостям; чай да сахар — чаи да сахара*. Однако в подобных случаях не всегда образуются синонимы. Помехой могут оказаться фонетические условия (рифма, ударение и проч.), что свойственно пословичным ФЕ: *кому страсти-напасти, кому смежи-потехи*.

Вариантные функционально-стилистические синонимы базируются на просторечном или устаревшем суффиксальном формообразовании: *навоз ухнет, а что потяжелее останется — навоз ухльвет, а что потяжелее останется; согнуть не паривши — согнуть не паримши; и туда и сюда — и туды и сяды; куда ветер, туда и он — куды ветер, туды и он; корм красивее коня — корм коня краше*. Склонение кратких прилагательных также создает просторечные ФЕ. Разговорными синонимами к ним являются ФЕ с полными прилагательными: *в сухом да в теплом — в сухе да в тепле; с дурного ума — с дурна ума*. Функционально-стилистическими синонимами оказываются такие, в одном из которых слово употреблено в особой просторечной форме, а в другом его синоним в литературной форме: *вот-вот — во-во; я тебе задам — я те задам; вот тебе крест — вот те крест; вот тебе клюква — вот те клюква; не пили не ели — не пито не едено*.

Таким образом, вариантные фразеологические синонимы являются функционально-стилистическими. Они характеризуются оппозицией «разговорное (редко нейтральное) — просторечное» и не имеют семантических различий.

Довольно трудно, но можно провести границу между вариантами ФЕ, не являющимися синонимами, и вариантными синонимами. Сложность решения этого вопроса заключается в том, что смысловые и стилистические оттенки ФЕ могут наличествовать в большей и меньшей степени. Граница же между этими степенями неясна и весьма шатка. Поэтому в одних и тех же вариантах одни фразеологи видят синонимические различия, т. е. считают, что такие варианты различаются семантически или стилистически (часто тем и другим), другие не замечают этих различий и считают их только вариантами.

Синонимия — явление более широкое, чем вариантность. Следует разграничивать следующие явления:

1. Невариантные фразеологические синонимы, основанные не на вариантных различиях ФЕ, а на различиях лексических. Они имеют разный лексический состав: *с гулькии нос — кот наплакал*.

2. Фразеологические варианты. Они почти ничем не отличаются друг от друга или отличаются совершенно незначительными семантическими или стилистическими оттенками: *валять дурака — валять дурачка*. Незначительное отличие их заключается в эмоционально-экспрессивной окраске.

3. Вариантные функционально-стилистические синонимы. Они имеют одинаковую общую семантику, но различаются семантическими или стилистическими оттенками (иногда тем и другим), всевозможными вариантами и обязательно относятся к разным функционально-стилистическим пластам: *в зубы заглядывать — в зубы заглядать*.

Фразеологические синонимы и фразеологические варианты представляют собой мощный источник изобразительных стилистических средств русского языка. Поэтому в толковых, фразеологических, фразеологосинонимических и других словарях должны фиксироваться как фразеологические синонимы, так и фразеологические варианты. Фразеологические синонимы необходимо снабжать функционально-стилистическими пометами (книжн., нейтр., разг., простореч., жарг.).

Суффиксы субъективной оценки в ФЕ приводят к созданию фразеологических вариантов, а не синонимов. Многие разговорные ФЕ допускают вариантное употребление одного из компонентов: с суффиксом субъективной оценки и без него. Отсутствие вариантов в таких случаях объясняется традицией, особенностями ритмо-мелодики, рифмы, ударения, гармонии звуков, свойственных русскому языку вообще и значительной части ФЕ в частности.

Е. М. УШАКОВА

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ НЕСКЛОНЯЕМЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ

Специфической особенностью древнерусского языка было существование несклоняемых прилагательных на -ь. К несклоняемым прилагательным относились: *испълнь*, *различь*, *соугоубь*, *прѣпрость*, *свободь*, *оудобь* (*неоудобь*), *послѣдь* и под. Ф. И. Буслаев относил к их числу и слово *прѣдь*: «... напр., *прѣдь*, в дс. — *прѣдь* не только предлог, но и прилагательное несклоняемое, в смысле „присутствующий“, оттуда *прѣд-ок*»¹. А. Шахматов присоединял к ним слово *ниць*: «... в древнерусском сюда относятся *испълнь* (в Жит. Феод. им. ед. — *испълнь*, вив. ед. — *испълньнѣ*), *ниць* (в Лавр.: *падъ ниць*) и некоторые другие»².

Морфологическую природу несклоняемых прилагательных вследствие их древнего происхождения трудно установить. А. А. Шахматов предполагает, что «быть может, эти прилагательные восходят к древним основам на -i»³. Хотя в древнерусский период прямую генетическую соотносительность несклоняемых прилагательных с конкретными именными основами и формами обнаружить уже нельзя, их именное происхождение не вызывает сомнений (как и многих наречий на -ь: *всплать*, *послѣдь*, *окръсть* и под.).

Возможно, несклоняемые прилагательные отражают определенный этап в функционировании системы имен прилагательных с определенным соотношением словоформ, например, несклоняемые — *удобь*, *свободь*; именные склоняемые — *удобь* (*удобьнѣ*), *свободьнѣ*; местоименные — *удобный*, *свободный*. Вследствие слабой морфологической оформленности несклоняемых прилагательных (аффикс -ь морфологически мало выразителен) они могли закрепиться в определенной форме (наподобие застывших падежных форм супина и инфинитива). «Формы неизменяемых слов способны закрепляться в некоторых особых случаях, и тогда они уже не подчиняются общим правилам морфологии того языка, к которому они принадлежат»⁴. Изменение парадигматических свойств имен, в частности, форм склонения — широкий процесс в славянских языках, который приводил к закреплению имени в определенной словоформе в силу изменения его синтаксических функций, как это произошло с именными прилагательными. Ср. также процессы адвербиализации и субстантивации имен.

Хотя количество несклоняемых прилагательных в текстах памятников древнерусского языка было ограничено, использовались они довольно регулярно наряду со склоняемыми. Лишенные морфологических признаков прилагательного — форм рода, числа и падежа, несклоняемые прилагательные функционировали в предложении в качестве атрибута (что и отмечается исследователями старославянского и древнерусского языков).

¹ Ф. Б у с л а е в, Историческая грамматика русского языка, М., 1959, стр. 160.

² А. А. Ш а х м а т о в, Историческая морфология русского языка, М., 1957, стр. 119.

³ Там же, стр. 119.

⁴ А. М е й е, Введение в сравнительную грамматику индоевропейских языков, Юрьев, 1911, стр. 296.

Функция несогласованного определения являлась для них основной, например: *свобода мужь обученъ же дьсертъ къ латиньскымъ книгамъ* (Усп. сб., л. 109а 12 «свободный муж научен хорошо латинским книгам»); *свѣскри же кмиа различа къ дьортъ* (там же, л. 116а 17 «построил кельи различные во дворе»); рече ей Иисусъ: *встаньга братъ ти · радосъгно саско и соугоуба имѣта цѣльбу* (там же, л. 228а 27 «сказал ей Иисус: воскреснет брат твой, радостное слово и чудесное имя исцеление»); и бѣ покинута га покорьма и свѣршима касъ испѣна манишаскымъ чинъ (там же, л. 104г 14 «повинаясь с покорностью и совершая весь полный монашеский обычай»); и неюдасъ тако ходати пѣтма минути · мимо ходати немъ (Син. пат., л. 126об. «и хотел неудобным путем пройти, когда он (лев. — Е. У.) мимо пойдет»); единъ сынъ отъ трица къ дѣтъ есастѣтъ вожегъто и часкѣчестко, испана челоукъъ по вачелѣчнню а не прикидѣнемъ но испана богъ по кожегъту а не протѣ челоукъъ (Слово Илар. — «один из троицы в двух естествах — божество и человечность: полный человек в человеческом облике, а не привидение, полный бог в божестве, а не простой человек»)⁵; *вѣдкни . . . порадосаса · яко соугоуба цѣрь [хоташе быти* (Усп. сб., л. 74в 31 «Седекия обрадовался, так как великим цезарем хотел быть»).

Несклоняемые прилагательные использовались в качестве несогласованных определений к субстантивам различных форм рода, числа и падежа: *соугоубъ цѣльбу*, *соугоубъ пришествие*, *соугоубъ грѣхъ*, *неудобъ путьмъ* и под. На сочетаемость их с различными формами имен указывают авторы грамматик старославянского языка: «*испльнь (-ънь)* встречается в Синайской пс. 4 раза в качестве им. п. ед. ч. ж. р., один раз в функции им. п. мн. ч. (91,5)»⁶. В функции несогласованного определения несклоняемые прилагательные приобретали грамматические значения только в зависимости от определяемого существительного, сочетаясь с ним аналитически, с помощью примыкания. По отношению к субстантиву несклоняемые прилагательные могли занимать как постпозитивное, так и препозитивное положение в соответствии с общими принципами употребления атрибута в древнерусском предложении.

Однако синтаксические функции несклоняемых прилагательных этим не ограничивались. Наблюдения над употреблением несклоняемых прилагательных в текстах древнерусских памятников⁷ приводят к выводу о том, что они обладали валентными свойствами склоняемых, могли образовывать адъективные обороты на основе управления, т. е. служить распространяемыми определениями: *шъ обьзванию испѣна беззаконна* (Усп. сб., л. 221а 19 «о целование, преисполненное беззакония»); *Баше нѣкъто Ѡходанъ чраноризца · испѣна к'его добра* (Син. пат., л. 171об. «был некто живущий в миру монах, преисполненный всяческих добродетелей»); *цѣльба · кзши друга другоу глзъ испѣна соуци* (Усп. сб., л. 132в 6)⁸ и др. Использовались несклоняемые прилагательные и в роли именной части составного сказуемого (со связкой и без нее), например: *яко благодатию га . . . свобода быста цѣркы Ѡ касаконъ свѣарны* (Син. пат., л. 22—22 об.); *испѣна во уста ползвы слово се касѣмъ поглосушамцимъ* (Усп. сб., л. 26г 4); *испѣна касъ земля ꙗслакъ юго* (там же, л. 235 в 12).

⁵ «Слово о законе и благодати митрополита Илариона», в кн.: «Памятники духовной литературы времен великого князя Ярослава I», изд. А. В. Горского, М., 1844.

⁶ Н. В а н - В е й к, История старославянского языка, М., 1957, стр. 279.

⁷ «Синайский патерик», под ред. С. И. Коткова, М., 1967; «Успенский сборник XII—XIII вв.», под ред. С. И. Коткова, М., 1971; «Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку», СПб., 1910; «Грамоты Великого Новгорода и Пскова», М.—Л., 1949, и др.

⁸ Несклоняемое *испльнь* и именное *испльнь* активно используются во всех жанрах древнерусской письменности.

Таким образом, несмотря на морфологическую ущербность и отсутствие связи согласования с субстантивом, несклоняемые прилагательные употреблялись в тех же синтаксических функциях, что и склоняемые. Этот факт свидетельствует о том, что прилагательные, лишённые флексий, а значит и согласования, могли выражать атрибутивную и что неизменяемость слова могла служить в древнерусском языке особым способом выражения признака и предикативных отношений.

При этом следует учесть, что переводчики и авторы древнерусских сочинений использовали эту категорию прилагательных с полным осознанием их морфологических и синтаксических качеств, они учитывали их многозначность, как и соответствующих именных склоняемых прилагательных. Так, в предложении *сучнику дакъ соугоуба дхъ емиги мило/с/га приимъ соугоуба чюдеса сътвори* (Усп. сб., л. 103в 22) четко отграничивается несогласованное определение (*соугоубъ духъ*) от однокоренного согласованного (*соугоуба чюдеса*).

И все же, несмотря на довольно устойчивое положение в системе прилагательных и относительно регулярное использование, несклоняемые прилагательные были оттеснены и к XV в. исчезли из активного употребления в письменных памятниках древнерусского языка. Они оказались в противоречии с некоторыми процессами и тенденциями в развитии древнерусского языка.

Одной из важнейших внутриязыковых тенденций в развитии атрибутивных словосочетаний явилась тенденция к морфологизованному согласованию как главному средству выражения атрибутивных связей в предложении. Отсутствие флексий у прилагательного препятствовало формальному скреплению членов атрибутивных словосочетаний. Вследствие того, что именные и местоименные прилагательные были полнее оформлены аффиксально и интенсивно развивались в древнерусский период, они легко вытеснили несклоняемые прилагательные как в атрибутивной, так и в предикативной функциях. Об этом свидетельствует соотношение однокоренных склоняемых и несклоняемых прилагательных в текстах памятников: так, в Успенском сборнике XII—XIII вв. *свободъ* представлено дважды (лл. 109а 11, 136г 17), *свободѣнь* — один раз (л. 250а 21), а *свободный* — четырежды; *различъ* наблюдается только в трех случаях (лл. 105а 26, 116а 18, 118а 17), а склоняемое *различьнь* — в 17 и *различный* — в 10 случаях. Согласующиеся прилагательные способствовали более прочной позиции определения в предложении, содействовали развитию атрибутивных словосочетаний и замещали редкие формы несклоняемых прилагательных.

Неустойчивость и противоречивость несклоняемых прилагательных усугублялась их омонимией с наречиями на -ь (субстантивного происхождения), которая вызывала затруднения в разграничении атрибутивной и обстоятельственной функции слов на -ь. Например, в предложении *сѧ во прѣдѣжи огаблѣни соугоуба чарпѣши рану* (Усп. сб., л. 252в 21) слово *соугоубъ* может быть отнесено к существительному *рану* («тяжелую терпел рану»), и к глаголу («тяжело переносил рану»), и даже к причестию («сильно ослабленный»).

То же отмечают авторы грамматик старославянского языка: «...иногда трудно решить, относить ли эту форму к прилагательному или к наречиям, нпр.: *не оудоба еста. . .кнѣти* (Марк., 10, 24, Зограф., Мар.), *выста соугоуба всгъ къ коупѣ и челоуцкъ* (Требн., 67а 20)»⁹. Этим же обстоятельством вызвано замечание А. Вайана: «... эти прилагательные на -ь

⁹ Н. В а н - В е й к, указ. соч., стр. 279.

отличаются от наречий на -ь лишь своим употреблением»¹⁰. Если же связь слов на -ь с глаголами ясна, то их наречная природа и обстоятельственная функция выявляется отчетливо: и пада ница прогана прощаниа (Пов. вр. л., л. 121); послѣда же гла ми (Син. пат., л. 160 об.), ница пада плакаши са (там же, л. 174 об.) и под.

В силу того, что несклоняемые прилагательные в оригинальных памятниках древнерусской письменности («Слово о полку Игореве», летописи, грамоты) наблюдаются в единичных случаях, следует признать их наследием старославянского языка.

Таким образом, вытеснение несклоняемых прилагательных было закономерным процессом древнерусского синтаксиса. Причина этого вытеснения заключалась в их слабой морфологизации, малочисленности, омонимии с наречиями на -ь, а также в противоречии с тенденцией к установлению прочной, формально выраженной синтаксической связи слов в атрибутивных словосочетаниях. Оказавшись избыточной формой, несклоняемые прилагательные как особая категория исчезли из языка. В современном русском языке они обнаруживаются лишь в единичных реликтовых выражениях типа *особь статья*, *неудобь сказуемое*, *ни снъ пороху*, которые превратились в ходячие архаичные формулы.

Несклоняемые прилагательные — преходящее явление в формировании прилагательного как части речи. Но именно их бывшее существование выявляет те внутриязыковые преобразования в древнерусской морфологической и синтаксической системе, которые в совокупности создают отличия языкового состояния одного периода от другого и обуславливают этапизацию в развитии языка, в данном случае — переход от языка восточнославянской народности к языку великорусской народности. С этой точки зрения вопрос о месте несклоняемых прилагательных и их грамматических признаках приобретает актуальность не только в плане общей характеристики категории прилагательных, но и в плане общего развития грамматической структуры языка.

¹⁰ А. В а й а н, Руководство по старославянскому языку, М., 1952, стр. 204.

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Э. В. СЕВОРТЯН

Н. К. ДМИТРИЕВ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЮРКОЛОГИЯ

Возникновение, становление и развитие советской тюркологии теснейшим образом и навсегда связано с именем Н. К. Дмитриева. Количественно Н. К. Дмитриев написал не так уж много — меньше, чем иные из ныне здравствующих тюркологов. Однако его пример вновь напоминает, что вклад ученого в науку определяется не числом созданных им работ, а их значением для дальнейшего поступательного движения той отрасли знаний, которой он отдал все силы.

Н. К. Дмитриев был абсолютно свободен от нередкого в научной среде недуга — многоречия: для его работ характерен безупречный стиль, блестящий и лапидарный язык. Ученый обладал счастливым даром облекать крупные творческие идеи, глубокие и многообразные наблюдения в кратчайшую, чеканную и очень емкую по содержанию словесную оболочку, когда, по известному выражению, словам тесно, а мыслям просторно.

Вот почему, читая Н. К. Дмитриева, мы нередко открываем в уже знакомых, казалось бы, строках новую грань мысли, новый угол зрения в освещаемом языковом явлении, неожиданные ассоциации в связи с вскользь брошенным замечанием. Сказанное относится ко всем работам Н. К. Дмитриева, в том числе и к работам сравнительного и сравнительно-исторического порядка.

В сравнительно-исторических занятиях Н. К. Дмитриева ясно различаются два этапа. На первом этапе предстояло выяснить строение всех составных частей фонетики и грамматики тюркских языков по показаниям современных языков, после чего намечалось перейти ко второму этапу — созданию сравнительно-исторической грамматики тюркских языков.

Начальный этап приходится на 20-е, частично 30-е годы, т. е. совпадает со временем первых публикаций ученого, большая часть которых посвящена вопросам фонетики различных тюркских языков. В этих работах с самого же начала определяются две области научных интересов Н. К. Дмитриева: 1) собственно история тюркских языков и 2) тюркско-иноязычные языковые связи. В качестве образцов исследований Н. К. Дмитриева по истории тюркских языков можно назвать «*Th in the modern Turkish languages*»¹ и отчасти «*On the pronunciation of the common Turkish R*»². В первой работе в соответствии с приемами сравнительно-исторических исследований, выработанными в трудах П. М. Мелиоранского и других отечественных тюркологов, и с учетом аналогичных изысканий в индоевропейском языкознании в первые десятилетия XX в. Н. К. Дмитриев исследовал историческое положение интердентальных *ʒ* и *ʒ* и, с целью установить их происхождение, прежде всего обратился к старейшим тюркским текстам — словарю Махмуда Кашгарского, показаниям енисейско-орхонских и других памятников. Выяснив, что языковые памятники до-

¹ N. K. Dmitriev, *Th in the modern Turkish languages*, «Le monde oriental», XXIII, 1929; см. перевод: Н. К. Дмитриев, Звук *ʒ* в современных тюркских языках, в его кн. «Строй тюркских языков», М., 1962.

² N. K. Dmitrijev, *On the pronunciation of the common Turkish R*, JRAS, 1927, July; N. K. Dmitriev, *Étude sur la phonétique bashkire*, JA, CCX, 1927.

створно свидетельствуют лишь о наличии согласного ζ в определенных древнеязыковых зонах, а происхождение глухого ζ таким путем едва ли может быть установлено, Н. К. Дмитриев привлек к изучению данные современного туркменского и башкирского языков, предварив подобный прием следующим принципиальным тезисом: «Хотя... мы и не можем установить точные закономерности развития звуков δ и θ из древнетюркского, тем не менее мы имеем право сравнить слова с δ и θ с соответствующими им словами в других языках. Это единственно возможный метод»³.

Так Н. К. Дмитриевым была вкратце сформулирована еще в 20-е годы правомерность привлечения современных тюркских языков для освещения вопросов их исторической эволюции. Названное положение было, как это стало очевидным в последующие годы, программной установкой в разысканиях Н. К. Дмитриева, и он не изменял ей в продолжение своей деятельности исследователя, главы школы, организатора науки и воспитателя научных кадров: она имела глубокие корни в исследовательском опыте русской тюркологии, но вместе с тем она была и личным научным достоянием Н. К. Дмитриева благодаря тому, что он начинал свой путь в науке изучением не одного, а многих тюркских языков одновременно: турецкого, башкирского, туркменского, кумыкского, татарского, крымско-татарского, а затем и азербайджанского. Для него, как и для немногих других советских тюркологов, начало деятельности которых относится к 20 — началу 30-х годов, стало очевидным в результате собственных наблюдений, что разыскания по истории тюркских языков в отдельности и в их совокупности, трактовка и решение проблем исторического или сравнительно-исторического порядка в тюркском языкознании невозможны без всемерного привлечения материалов живых тюркских языков и их диалектов.

Само собой разумеется, что научные занятия на таком уровне предполагают определенные субъективные предпосылки. Н. К. Дмитриев располагал ими полностью, рано достигнув высокой лингвистической культуры, сродни культуре его прославленных предшественников.

Нельзя, однако, забывать и другого. Разносторонняя кипучая и напряженная деятельность Н. К. Дмитриева как организатора науки и педагога (с 1937 г. — руководителя сектора тюркских языков Института языка и письменности народов СССР АН СССР, вскоре руководителя тюркологической работы в Академии педагогических наук, а с 1943 г. — создателя и руководителя Восточного отделения филологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и одновременно заведующего кафедрой тюркской филологии, постоянное участие в работе ВАК'а, многочисленных комиссий и т. д.) оставляли слишком мало времени для систематической исследовательской работы, даже для простой фиксации на бумаге его наблюдений, важных для истории тюркских языков. Наблюдения и научные идеи чаще удавалось заносить на бумагу лишь урывками, многое же оставалось в памяти ученого и щедро раздавалось его слушателям в часы лекций и на ученых заседаниях в Московском и Ленинградском университетах, в Баку и в Симферополе, в Ашхабаде и Уфе.

Итак, начав со второй половины 20-х годов свои исторические разыскания в духе традиций индоевропейского и отечественного исторического языкознания, Н. К. Дмитриев вскоре был захвачен новыми горизонтами, которые открылись перед ним в области изучения основных особенностей строя тюркских языков, равно важных как для современного, так и прошлого состояния этих языков.

³ Н. К. Д м и т р и е в, Звук ζ в современных тюркских языках, стр. 15.

Такой ход научных занятий естественным образом подготавливал почву, на которой могла постепенно зародиться идея синтезирующего труда о строе тюркских языков. Она сложилась скорее всего в 40-е годы, и некоторые элементы этого синтезирующего труда нашли свое отражение в программной во многих отношениях «Грамматике башкирского языка»; в предисловии к ней прямо говорится о том, что «... автор старался на материале башкирского языка проверить и изложить свои теоретические взгляды на отдельные проблемы грамматики тюркских языков»⁴.

В конце 40-х годов контуры труда о строе тюркских языков, как и общий композиционный план его, определились, и в секторе тюркских языков Московского отделения Института языка и мышления АН СССР началась коллективная работа над темой, которая с осторожностью и трезвостью, свойственными инициатору и ее руководителю Н. К. Дмитриеву, была названа «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков». Для понимания задуманного направления труда характерно обсуждение его названия в авторском коллективе. Были предложены и другие названия коллективной работы, в частности — «Материалы по сравнительной грамматике тюркских языков». Однако такое название увело бы авторский коллектив в сторону, так как речь шла именно об известном теоретическом построении, в котором должны были быть синтезированы накопившиеся в науке наблюдения и сведения, относящиеся к строю тюркских языков.

Ныне «Исследования», вышедшие в четырех частях⁵, хорошо известны в кругах специалистов и более широкой аудитории. Но даже и спустя десять с лишним лет после выхода в свет всего труда временами раздаются голоса: что это — синхронная или сравнительно-историческая работа о тюркских языках? Некоторые из зарубежных востоковедов прямо называют труд сравнительно-исторической грамматикой тюркских языков⁶. Однако «Исследования» не являются сравнительно-исторической грамматикой, и об этом ясно говорится во вступительной статье ко всему труду, написанной его руководителем. «Исследования» — это труд о строе тюркских языков, представленном в известной исторической перспективе и с преимущественной опорой на современные языки.

В настоящее время тюркологи знают о тюркских языках, вероятно, больше, чем два десятилетия тому назад. Но теоретическая основа «Исследований», самый принцип изучения строя тюркских языков в их целом или по отдельности, как в статике, так и в динамике, с опорой на показания современных языков и их диалектов остается в силе, и это составляет то новое, что было внесено трудами Н. К. Дмитриева в теоретический арсенал тюркского языкознания. Как известно, в русской дореволюционной тюркологии данные живых языков и их диалектов в принципе рассматривались только как дополнительный источник⁷.

Выдвижение на первый план свидетельств живых языков и их диалектов с учетом показаний памятников письменности в советской тюркологии ныне принимается как нечто весьма привычное, и лишь тюркологи старшего и среднего поколений знают, кому мы обязаны этим направлением в нашей отрасли науки.

⁴ Н. К. Дмитриев, Грамматика башкирского языка, М.—Л., 1948, стр. 3.

⁵ «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. I — Фонетика, М., 1955; ч. II — Морфология, 1956; ч. III — Синтаксис, 1961; ч. IV — Лексика, 1962.

⁶ G. Doerfer, Bemerkungen zur Methodik der türkischen Lautlehre, «Orientalistische Literaturzeitung», 66, 7/8, 1971.

⁷ См., например: П. М. Мелиоранский, Араб филолог о турецком языке, СПб., 1900, стр. II.

Описываемый подход получил в советской тюркологии распространение и отчетливо выступает в работах историков языка — Э. Р. Тенишева, А. М. Щербака, Н. Э. Гаджиевой, А. Г. Гулямова, Б. М. Юнусалиева, В. М. Насилова, Д. М. Насилова и других.

Показания живых тюркских языков (в значительно меньшей степени — диалектов) учитываются также в зарубежной тюркологии, подчас даже реконструкции строятся на одних лишь материалах современных тюркских языков. Но к этому приему в зарубежных работах обычно прибегают в тех случаях, когда памятники не дают нужных сведений или же когда привлекаемые показания живых языков лишь подкрепляют данные, извлекаемые из старых текстов. В принципе же за свидетельством языковых памятников сохраняется решающее слово.

Обратимся ко второму направлению историко-лингвистических занятий Н. К. Дмитриева, связанных с проблемой тюркско-иноязычных контактов. Исследования на эту тему были начаты немного ранее разысканий историко-фонетического характера. Стимулом послужили основательные познания в области славистики, накопленные Н. К. Дмитриевым до его занятий тюркскими языками. Первой работой из этой большой серии были «Этюды по сербо-турецкому языковому взаимодействию. I—V»⁸, в которых впервые получил свои очертания и круг научных интересов Н. К. Дмитриева в области тюркско-иноязычных (главным образом, тюркско-русских) и иноязычно-тюркских языковых связей, и само понимание языкового взаимодействия.

Для отечественной тюркологии было традиционным изучение тюркизов в русской лексике по данным письменных источников. Н. К. Дмитриев, расширив научные представления об этом предмете, определил направления разысканий в сфере языковых контактов. Языковое взаимодействие он рассматривал как двусторонний исторический процесс, который при соответствующих условиях может распространиться не только на лексику, но и на другие уровни контактирующих языков. В послеоктябрьское время Н. К. Дмитриев был одним из первых тюркологов, который проводил свои наблюдения в области тюркско-русских или русско-тюркских языковых контактов в указанном аспекте.

Кроме «Этюд по сербо-турецкому языковому взаимодействию» к теме языковых контактов имеют отношение «Материалы Верковича как тюркологический памятник» (Прага, 1932). Все остальные работы этого цикла касаются тюркско-русских языковых связей. Три из них посвящены русско-башкирским и башкирско-русским языковым отношениям, одна — тюркизмам в русском словаре.

Башкирский язык Н. К. Дмитриев начал изучать в 20-е годы, охватив все уровни языка: фонетику, грамматику, лексику, а также диалектологию, участвовал в диалектологических экспедициях и вел полевые записи. Как и при изучении других тюркских языков, Н. К. Дмитриев ознакомился с башкирским языком, окунувшись в стихию живой речи. Отсюда глубина и точность наблюдений Н. К. Дмитриева, так же глубоко исследовавшего и область русско-башкирских языковых контактов. Общая картина этого двустороннего процесса ярко представлена в статье «Русско-башкирские языковые отношения»⁹, вышедшей в свет, когда автора уже не было в живых. На материале многочисленных и разнообразных личных наблюдений (в том числе и над русско-башкирскими аргами), свидетельств краеведов и этнографов, известных публицистов, языковедов, писателей (С. Т. Аксакова, В. И. Даля, Д. Н. Мамина-Сибиряка, Н. П. Краше-

⁸ ДАН СССР, Серия В, 1928, 2, 12; 1929, 5—6.

⁹ Н. К. Дмитриев, Строй тюркских языков, стр. 465—482.

нинникова, С. Злобина, Н. В. Ремезова) Н. К. Дмитриев показал взаимопроникновение элементов русского и башкирского языков (во фразеологии, терминологии, топонимии, а также в грамматике — фонетическая, синтаксическая, морфологическая адаптация). В работе особо освещены пути, по которым исторически осуществлялось русско-башкирское языковое взаимодействие.

В более ранней статье рассматриваются русизмы в живой речи башкир с характерными для этих заимствований особенностями¹⁰. Н. К. Дмитриев указывает на возрастание русских заимствований в башкирских диалектах по мере приближения диалектных территорий к заводам; отмечает, что наиболее часто заимствуются слова, выполняющие коммуникативную (а не номинативную) и эмоционально-экспрессивные функции, причем в живую башкирскую речь проникают многие служебные элементы русского языка (что характерно и для других тюркских языков). Подробно рассматривается аналитическое глаголообразование на базе русского инфинитива, а также некоторые синтаксические кальки из русского. От внимания исследователя не ускользнули обратные заимствования восточных слов в башкирский язык из русского, тенденция к народноэтимологическому сближению русизма с башкирским корнем. Некоторые семантические переходы в заимствованиях истолкованы как обусловленные бытом и другими культурно-историческими факторами в жизни башкир. Источником русизмов в речи башкир в первые десятилетия XX в., как подчеркивал Н. К. Дмитриев, являются разговорные и диалектные формы, что получает свое отражение в фонетике заимствований. Систематизированное рассмотрение материала завершается приложенным к статье словарем русизмов в речи башкир. К теме заимствований в башкирском языке ближайшее отношение имеет также работа Н. К. Дмитриева «Арабские элементы в башкирском языке»¹¹.

Русско-тюркские языковые контакты всегда понимались Н. К. Дмитриевым как важный раздел в истории формирования конкретного тюркского языка или русской диалектной, а также узко профессиональной речи на этнически смешанных территориях. В этом плане выполнены наблюдения ученого над тюркизмами в русских арго¹², из которых не все увидело свет. Опубликована лишь одна статья по данной теме языковых контактов, в которой получили освещение иноязычные пласты в этом своеобразном разделе русской лексики. Главными в своих исследованиях по арго Н. К. Дмитриев считал два вопроса: 1) определить ближайший тюркский язык, откуда слово вошло в русское арго, и 2) установить время этого заимствования. Вместе с тем, учитывая, что при состоянии тюркологии конца 20 — начала 30-х годов (т. е. времени, когда писалась его статья) вопрос о хронологизации не может получить положительного решения, основное внимание он направлял на выяснение конкретного языка — источника тюркизмов в русских арго с предварительным и обязательным выяснением того, как фонетические черты конкретного тюркского языка, отраженные в том или ином слове, преломляются в русской передаче. Эти методические установки нашли свое конкретное воплощение в приложенном к статье словарику тюркизмов.

Тема языкового взаимодействия была в работах Н. К. Дмитриева одной из центральных и любимых. Он расставался с ней лишь на короткое

¹⁰ Н. К. Дмитриев, Варваризмы в башкирской речи, «Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее АН СССР» (далее — ЗКВ), IV, Л., 1929, стр. 73—105.

¹¹ ЗКВ, V, Л., 1930, стр. 119—135.

¹² Н. К. Дмитриев, Турецкие элементы в русских арго, сб.: «Язык и литература», VII, Л., 1931.

время с тем, чтобы вновь вернуться с новой энергией. Наблюдения накапливались, расширялся их круг. Постепенно складывались контуры итогового труда о тюркизмах в русском словаре — традиционной и близкой сердцу русских филологов теме отечественной тюркологии.

Исследования тюркских элементов русского словаря велись в суровые месяцы осени и зимы 1941—1942 гг. в настороженной и затемненной Москве. С неизменным томиком Горация в руках приходил Н. К. Дмитриев в Институт языка и письменности народов СССР АН СССР, где в одной из неотапливаемых комнат полуподвального этажа в тесном кружке слушателей, среди которых были А. А. Реформатский, С. И. Ожегов и другие, читал свою работу о тюркизмах в русской лексике¹³.

Как и в других трудах, Н. К. Дмитриев прежде всего определил историко-культурные предпосылки изучаемого им лингвистического феномена, его место среди близких явлений, разработал методiku исследования русских тюркизмов. В широком плане вопрос о тюркизмах в русском языке ученый понимал как часть большой проблемы о языковых связях Ближнего Востока и славянского мира. Вслед за В. В. Бартольдом он считал, что культура Ближнего Востока исторически представляла собой определенный комплекс явлений, характеризуемый известными общими чертами. Поскольку история тюркских и славянских народов, в частности, русского, теснейшим образом связана между собой с давних пор, то научное изучение языкового взаимодействия во всей полноте исторического контекста составляет непреложную задачу языкознания, и в ее разработке в равной мере должны участвовать как тюркологи, так и русисты и слависты вообще. Для славистов, развивал свою мысль Н. К. Дмитриев, проблема тюркизмов — это вопрос об одном из основных источников по истории славянской лексики, а в известной мере — и славянских языков вообще, поскольку тюркское влияние распространилось в разных славянских языках не только на лексику, но также на синтаксис, морфологию и фонетику. Для тюркского языкознания изыскания в области тюркизмов — это дополнительный и нередко важнейший источник по истории тюркских языков.

Н. К. Дмитриев указывал, что, принимаясь за разработку данной темы, необходимо ясно представлять себе ее источники, методы исследования, наконец, самое историю ее разработки в науке. Основным среди методов обработки словарных тюркизмов Н. К. Дмитриев признавал этимологию, понимая ее в данном случае шире, чем обычно, а именно — как анализ происхождения слова вместе с историко-культурным комментарием к нему. Непременным дополнением к этимологии тюркизмов ученый считал выяснение путей проникновения заимствования, перехода его из одного языка в другой, изучение чего, однако, нередко наталкивается на неодолимые трудности.

В силу необходимости исследователю приходится часто довольствоваться изучением «истории одного слова или термина, т. е. по существу минимальной единицы, которую мы условно выделяем из потока культурной истории народа. Между тем, как всем известно, слово-термин живет в историко-культурном контексте, и брать его изолированно, вне системы, уже в силу одного этого представляется искусственным»¹⁴. Таким образом,

¹³ Н. К. Дмитриев, О тюркских элементах русского словаря, «Лексикографический сборник», 3, М., 1958. К этой же теме имеет отношение ранняя работа Н. К. Дмитриева «Турецкие лексические элементы в номенклатуре соколов царя Алексея Михайловича» (ДАН СССР, Серия В, 1926, 1, стр. 67—70), а также его статья «Ударение в русских словах тюркского происхождения» («Сборник памяти профессора М. В. Сергиевского», М., 1961, стр. 96—104).

¹⁴ Н. К. Дмитриев. Строй тюркских языков. стр. 507.

заклучал Н. К. Дмитриев, «заимствование можно понять только в разновременном плане, а в процессе этимологизации оно рассматривается в одновременном плане»¹⁵, и именно в этом усматривается слабое место этимологизации.

Пока тюрколог не имеет ни документальных данных по истории каждого тюркизма в славянских языках, ни сведений об эпохе заимствования и конкретных социально-экономических отношениях, в которых находились оба народа в ту эпоху, остается единственный путь: изучать тюркизмы только в контексте какого-нибудь цельного исторического памятника определенной эпохи, высокие образцы чего хорошо известны в истории русской науки, и Н. К. Дмитриев напоминал о научном споре между П. М. Мелиоранским и Ф. Е. Коршем по поводу тюркских элементов в «Слове о полку Игореве»¹⁶. «... эта методика, — подчеркнул Н. К. Дмитриев, — остается для нас руководящей и по настоящее время»¹⁷.

Что касается приемов обработки тюркизмов в славянских языках, то Н. К. Дмитриев выделял следующие три приема: 1) рассмотрение тюркизмов не только в фонетическом плане, но одновременно и в плане семантики, морфологии, если можно, и синтаксиса; 2) семантический анализ тюркизмов в тесной связи с его историко-культурным контекстом; 3) общая, а где можно — конкретная, частная, локализация тюркизма (т. е. выяснение того, к какой части тюркоязычной территории относится тюркизм).

Конкретные результаты применения всех этих методических требований, т. е. разработанные с их помощью этимологии, ученый делил на три группы по степени достоверности полученных решений: 1) сопоставление тюркизма с реальным тюркским словом, а priori вполне допустимое, которому не хватает лишь исторической документации; 2) сопоставление, нуждающееся еще в дополнительных материалах по существу; 3) сопоставление, которое выдвигается лишь в порядке гипотезы.

Все сказанное выше Н. К. Дмитриев показывает на ярких и доказательных анализах русских тюркизмов и руководствуется сформулированными им принципами и приемами в разработанном им словаре тюркизмов в русской лексике.

По скромности свое исследование Н. К. Дмитриев квалифицировал как «один из многих возможных комментирующих этюдов к лексике современного русского литературного языка»¹⁸.

Нетрудно видеть, что вся теоретическая часть этого фундаментального исследования тюркизмов в русском языке вместе с методическим аппаратом явилась прямым продолжением и дальнейшим обогащением принципов и методов, которые были разработаны классиками отечественной тюркологии П. М. Мелиоранским и Ф. Е. Коршем в области сравнительно-исторической лексикологии тюркских языков и по проблеме тюркских заимствований в русском словаре, в частности. По богатству изложенных научных идей исследование Н. К. Дмитриева представляет собой новое слово в сравнительно-исторической лексикологии тюркских языков.

¹⁵ Там же.

¹⁶ См.: П. М. Мелиоранский, Турецкие элементы в языке «Слова о полку Игореве», ИОРЯС, 1902, VII, кн. 2; Ф. Е. Корш, Турецкие элементы в языке «Слова о полку Игореве», там же, 1904, VIII, кн. 4; П. М. Мелиоранский, Вторая статья о турецких элементах в языке «Слова о полку Игореве» (ответ Ф. Е. Коршу), там же, 1905, X, кн. 2; Ф. Е. Корш, По поводу второй статьи проф. П. М. Мелиоранского «О турецких элементах в языке „Слова о полку Игореве“», СПб., 1906 (отд. оттиск из: ИОРЯС, 1906, XI, кн. 1).

¹⁷ Н. К. Дмитриев, Строй тюркских языков, стр. 508.

¹⁸ Там же, стр. 519—520.

Мы остановились более подробно на взглядах и теоретических принципах Н. К. Дмитриева в области сравнительно-исторической лексикологии по той причине, что в настоящее время, во-первых, начинаются подготовительные работы по созданию этимологических словарей конкретных тюркских языков либо уже ведется сама разработка некоторых из них, а во-вторых, разворачивается работа по изучению тюркизмов в славянских языках. Остается пожелать, чтобы исследования в данной области, имеющие почти полуторавековую давность в отечественной тюркологии, поднялись на такую же научную и методическую высоту, какой они достигли в разысканиях П. М. Мелиоранского, Ф. Е. Корша и Н. К. Дмитриева.

Направление и ход исследований в области лексикологии подводили Н. К. Дмитриева к идее труда, в котором было бы суммировано все главное, что могла сказать современная тюркология о тюркском словаре в его целом. Ученый ясно видел очертания этого труда и шел к нему — к этимологическому словарю тюркских языков. Он шел к нему тем же путем в два этапа, что и к сравнительно-исторической грамматике тюркских языков.

В области лексикологии первым, предварительным этапом должно было явиться выяснение тематических групп и стратиграфии лексических пластов общетюркского словаря. Собственные труды ученого о различных лексических группах (глаголы движения, действия, речи, мышления)¹⁹, равно как и задуманное им коллективное исследование о тематических группах общетюркского словаря, мыслились как подготовительные работы на этом первом этапе. Сюда же в сущности относилось и его исследование о тюркизмах в русском словаре, а также интересные разыскания о ботанических названиях, к которым он неоднократно возвращался в последние годы жизни. После завершения всех этих работ он надеялся приступить к этимологическому словарю тюркских языков. Но Н. К. Дмитриев не дождался всего этого: коллективные «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков» и «Историческое развитие лексики тюркских языков» (М., 1964), как и его собственный труд «О тюркских элементах русского словаря», вышли в свет, когда его уже не было среди нас.

Сегодня мы с глубоким удовлетворением видим, как замыслы и заветы учителя и воспитателя нескольких поколений тюркологов — Н. К. Дмитриева — находят свое материальное воплощение. Созданы первые в истории современной тюркологии сравнительно-историческая фонетика тюркских языков, опыт сравнительно-исторического синтаксиса тюркских языков, древнетюркский словарь. Началась работа над сравнительно-исторической грамматикой тюркских языков, которая П. М. Мелиоранскому представлялась отдаленной целью тюркологии. И во всех этих работах незримо присутствует научный вклад, который внес в тюркское языкознание Н. К. Дмитриев.

Время — лучший судья в оценке того, что сделал для науки ученый за свою жизнь. Труды Н. К. Дмитриева и сегодня остаются тем, чем они были всегда: источником фундаментальных сведений о строе тюркских языков, но в еще большей степени аккумуляцией научных идей, неиссякаемым током высокого напряжения, способным вызывать движение научной мысли в новых направлениях. С высоты его кругозора мы каждый раз видим явления тюркских языков в их взаимной связи, проникаем в их сущность и историческую глубину, чувствуем живой пульс безостановочной жизни громадной семьи тюркских языков.

¹⁹ Н. К. Дмитриев, В. М. Чистяков, З. Н. Бакеева, Очерки по методике преподавания русского и родного языков в татарской школе, М., 1952, стр. 161—242.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

«Сучасна українська літературна мова». Вступ. Фонетика — Київ, «Наукова думка», 1969, 436 стр.; Морфологія — 1969, 581 стр.; Синтаксис — 1972, 515 стр.; Лексика і фразеологія — 1973, 439 стр.; Стилістика — 1973, 588 стр.

В 1973 г. вышли две последние книги фундаментального пятитомного исследования «Современный украинский литературный язык», осуществленного коллективом Института языковедения им. А. А. Потебни АН УССР под общим руководством акад. И. К. Белодеда. Столь обстоятельно и всесторонне украинский язык никогда ранее не описывался.

Первая книга этого исследования, изданная в 1969 г., содержит общую характеристику современного украинского литературного языка и описание его фонетической и фонологической системы. Раздел «Язык украинской социалистической нации» (автор И. К. Белодед), представляющий собой введение к пятитомнику, кратко, но содержательно характеризует место украинского языка среди других языков, его современные функции и достижения, его развитие и расцвет за годы советской власти. Теоретически весомым представляется обоснованное И. К. Белодедом положение, что функции языка и формы национальной культуры — это пересекающиеся, но отнюдь не совпадающие категории (стр. 8—9).

Из фонетических разделов книги особенно впечатляет добротной выполненной первый — «Звуковая характеристика современного украинского литературного языка». Здесь очень четко, точно и скрупулезно, с широким использованием экспериментальных данных описаны гласные (автор Н. И. Топкая) и согласные (автор Л. И. Прокопова) звуки. Принципиально важным является, в частности, хорошо аргументированное и, по-видимому, окончательное определение укр. *и*₁ как гласного переднего ряда и верхнего подъема (раньше он квалифицировался как гласный передне-среднего ряда и верхне-среднего подъема), укр. *а* как гласного заднего (а не среднего) ряда. Существенно наблюдение, что ударные гласные украинского языка в 2—3 раза дольше безударных (стр. 130). В состав сонорных звуков справедливо включены *ʃ* и губно-губные *в*, *в'*. Убедительно рассмотрены формы и степени смягчения согласных. К сожалению, анализ согласных произведен только с арти-

куляционной точки зрения, тогда как у гласных изучены и артикуляции, и акустика.

Фонологическая же характеристика украинского языка (автор П. П. Коструба) выглядит менее убедительной. Вопрос о фонематичности укр. *и* и *і* будет еще не раз дискутироваться. П. П. Коструба и вслед за ним другие авторы книги считают *и* и *і* разными фонемами. Этим как будто бы решается вопрос о серии смягченных согласных, которые выступают только в позиции перед *і* и поэтому при фонематическом различении *і* — *и* могут рассматриваться как вариации соответствующих твердых фонем.

Однако различение фонем *и* и *і* усложняет одну сложность, но в то же время создает ряд других. Характерно, что П. П. Коструба приводит минимальную пару *дим* — *дім* для доказательства фонематичности *и* — *і* (стр. 237), но пару *там* — *тім* — уже для доказательства фонематичности *т* и *т'* (стр. 239). А ведь *ѳ* и *ѳ'* — это несомненно разные фонемы украинского языка. Различны они и в паре — *дім* — *дім*. Их нельзя поменять местами, а это значит, что *и* и *і* находятся здесь в отношениях дополнительной дистрибуции, т. е. не являются разными фонемами (ср. *лис* — *ліс*, *рис* — *ріс* и т. д.). Фонологически естественней считать особыми (позиционно связанными) фонемами мягкие губные, шипящие и заднеязычные. Пара *сват* — *свят* (род. падеж. мн. числа) различается прежде всего твердым либо мягким *в*. Точно то же имеем в парах типа *вітер* — *вiтер*, *кіт* — *кит*, *біла* — *била* и т. д. Фонетические же аргументы такого рода, что в украинском языке упомянутые группы согласных — не мягкие, а только полумягкие (стр. 237), фонологического смысла не имеют. Л. И. Прокопова констатировала, что «иногда степень палатализации [r] перед [i] меньше всех согласных украинского языка» (стр. 165), что несколько не мешает мягкому *р'* быть особой фонемой. Некоторые сомнения вызывает также полное отрицание долгих согласных фонем в украинском языке.

Вывод о том, что в современном украин-

ском языке есть 6 гласных и 32 согласных фонемы (стр. 258), не представляется окончательным. Возможно, гласных фонем на одну меньше, а согласных намного больше. Поэтому межславянские количественные сопоставления фонем (стр. 258—260) явно преждевременны. Автор, например, констатирует отличие украинского языка по количеству гласных фонем (6) от русского (5). Но ведь в русском проблема *и* — *ы* не отличается принципиально от проблемы *і* — *и* в украинском. В русском можно с таким же успехом выделить разные фонемы *и* и *ы* и насчитать 6 гласных фонем, о чем и говорится в другом месте рецензируемой работы (стр. 296, примеч.).

Вместе с тем надо отметить, что в целом фонологический очерк, а равно и краткое описание украинской морфологии (стр. 261—294) являются шагом вперед в изучении украинского языка. Это еще в большей степени относится к последующим разделам обсуждаемой книги.

Впечатлителен раздел «Частотность и сочетаемость фонем современного украинского языка», квалифицированно выполненный В. С. Перебийнос. Следует лишь заметить, что написан он трудноватым, слишком математизированным языком и что значительная часть этого раздела, направленная на фонологическое размежевание стилей украинского языка, была бы, видимо, более уместной в заключительной пятой книге исследования. Содержательно, в целом нестандартно описаны также слог и слоговоеделение (В. М. Брахов), ударение и орфоэпические нормы (Н. Ф. Наконечный), украинский алфавит и принципы орфографии (М. А. Жовтубрюх).

Эти разделы, как и книга в целом, опираются на принцип системности языка, хорошо аргументированы, обобщают большой фактический материал. Надо отметить также экономичность изложения. В книге почти нет повторений. Одно из немногих — описание слоговоеделения в разделе об орфоэпических нормах (стр. 371—372) при наличии специального раздела, посвященного этому вопросу, причем изложение этих вопросов не полностью согласовано (ср. слоговоеделение *се-стра* у Н. Ф. Наконечного, стр. 372, и *сес-тра* у В. М. Брахова, стр. 356).

В том же 1969 г. вышла вторая книга исследования об украинском языке, посвященная словообразованию и словоизменению. Авторский коллектив создал развернутое, основанное на громадном материале, теоретически углубленное описание морфологической системы украинского языка. Книга вносит очень много нового в научную разработку украинской морфологии. Хотя теоретические основы морфологии и важнейшие грамматические понятия рассмотрены во «Введении» (автор И. И. Ковалик), стремле-

ние не просто описать факты, а теоретически их осмыслить характеризует и все последующие разделы исследования, посвященные отдельным частям речи.

В разделе об имени существительном (автор И. Г. Матвиш) выделяется углубленное описание категории рода (стр. 50—60), интересны комментарии ко многим надежным формам. Обстоятельно и оригинально рассмотрены многообразные переходные явления имени прилагательного (автор Д. Х. Баранник). Четкую и глубокую грамматическую характеристику получил глагол, раздел о котором (автор В. М. Русановский) представляется наиболее удачным. Интересно описаны служебные части речи и в частности предлоги (автор А. С. Колодязный) и союзы (авторы Л. И. Коломиец и А. В. Майборода). Завершается книга разделом «Частота аффиксов и их омонимия», который на хорошем уровне выполнен М. П. Муравицкой.

Говоря о дискуссионных аспектах морфологического тома, следует обратить внимание на некоторые вопросы размежевания лексических и грамматических явлений, а также явлений словообразовательных и словоизменительных. В описании существительного вместе с категориями рода, одушевленности — неодушевленности, числа и падежа, которые действительно являются грамматическими категориями этой части речи, имеющими четкое формальное выражение, рассматриваются категории собственных и нарицательных названий, конкретности и абстрактности, собирательности, вещественности, которые являются лексическими, а не грамматическими и не имеют четкого формального выражения. Примечательно, что обсуждение формального проявления этих категорий сводится лишь к формам числа (стр. 73, табл.), да и то сопровождается многочисленными оговорками. Выделение же в существительных категории лица (стр. 72—74) не имеет грамматических оправданий.

Все выделенные в существительном категории именуется «лексико-грамматическими» или «семантико-грамматическими». И действительно, все категории существительного значимы, все так или иначе отражают объективную действительность. Но одни из них приобрели также и значимость грамматическую, обрета регулярное и строгое формальное проявление. Они и стали грамматическими категориями имени существительного. Другие же такие категории как грамматические не оформились, в них не развились регулярные формальные показатели, а потому и нет четкой системы грамматических оппозиций. Эти категории (собирательность и под.) остаются лексическими, считать их грамматическими достаточных оснований нет. По этим же соображениям приходится возражать против выделения в имени при-

лагательном категорий безотносительной меры качества и субъективной оценки.

В отмеченных случаях лексические явления причислены к грамматическим. Противоположным фактом представляется выделение «предикативных наречий» (стр. 440—443) и «модальных наречий» (стр. 443—444), которые с грамматической точки зрения представляют собой особые классы слов. Достаточно ввести указанные «наречия» в хорошо продуманную классификационную таблицу на стр. 25, чтобы убедиться в их грамматической самостоятельности. Кстати, в пятом томе рецензируемого исследования (стр. 260—261) названные группы слов рассматриваются фактически как особые части речи, хотя и здесь они включены в раздел «Наречие».

Граница между словообразованием (которому в рассматриваемой второй книге исследования вообще уделено меньше внимания, чем следовало бы) и словоизменением оказывается подчас нарушенной при анализе глагольных форм. Трудно согласиться, скажем, с тем, что в форме *нес-и* морфема *-у* — не флексия, а суффикс (стр. 303).

Третий том коллективной монографии увидел свет в 1972 г. Здесь всесторонне рассмотрена синтаксическая система украинского языка. Многие его разделы, написанные А. С. Мельничуком, важны для общей теории синтаксиса. Особенно это относится к вступительному теоретическому разделу «Общие вопросы синтаксиса украинского языка» (стр. 5—50). Система четких и оригинальных дефиниций (отметим, в частности, определения синтаксиса — стр. 8, предложения — стр. 14, словосочетания — стр. 37), глубокое, нестандартное описание основных синтаксических понятий (синтаксических конструкций, синтаксических средств, синтаксических категорий), очень интересное разграничение синтаксического и несинтаксического в структуре предложения (особенно стр. 14), обоснованное разделение и содержательная характеристика внешне-синтаксической и внутренне-синтаксической структуры предложения, — эти и другие аспекты данного раздела ценны в теоретическом отношении.

В этом разделе, как и во всей книге, предложение рассматривается традиционными методами, без привлечения идей «порождения». В предисловии к книге отмечено, что применение новых специальных методов и приемов анализа было признано нецелесообразным ввиду стремления авторского коллектива к максимально доступному изложению материала (стр. 3). Само по себе это стремление можно только приветствовать, однако жаль, что материал описания не включает современных достижений.

Конкретное описание структуры предложений украинского языка (авторы —

А. П. Гриценко, Л. А. Кадомцева, П. С. Дудик, И. Р. Выхованец, А. С. Мельничук) выполнено в традиционном плане. Здесь подробно описаны дополнения, определения неопределенно-личные номинативные предложения, сложноподчиненные предложения с придаточными подлежащими и разделительные сложно-сочиненные предложения. Ценность этого описания — не в принципиально новых подходах, поиски которых столь характерны для современного синтаксиса, но в подробности и точности. Если не касаться малосущественных частности, описание отличается содержательностью и добротностью. В этой связи обращает на себя внимание характеристика сложных бессоюзных предложений (Л. А. Кадомцева), построенная на экспериментально-фонетических данных.

Описание синтаксической системы украинского языка начинается разделом «Словосочетание» и кончается описанием синтагмы (автор А. С. Мельничук). Такая композиция обоснована последовательным разграничением понятий «словосочетание» и «синтагма», первое из которых понимается как синтаксическая единица, используемая в качестве строительного материала предложений, а второе интерпретируется как интонационно-смысловая единица, вычленяемая в существующем, уже готовом предложении. Известна сложность вопроса и многообразие взглядов на синтагму. Излагаемая в книге концепция словосочетания и синтагмы (как единиц разных и разноплановых) также вполне правомерна. Развивается данная концепция последовательно, описание словосочетаний и особенно синтагм, давно и успешно изучаемых автором¹, является стройным и внутренне непротиворечивым. Однако принятое в книге понимание синтагмы (стр. 435), хотя оно и перекликается с идеей непосредственно составляющих, как будто бы относится преимущественно к несинтаксической стороне предложения, которая во вступительном разделе четко отделена от его синтаксической стороны и выведена за пределы объекта синтаксической науки (стр. 14).

В обсуждаемой книге был бы излишним раздел о синтаксической организации текста, о синтаксических средствах связи независимых предложений. Заметим, что стилистический аспект этого вопроса очень интересно рассмотрен в заключительной, пятой книге исследования.

В четвертой книге рецензируемого исследования анализируется лексика и фразеология украинского языка. Основное

¹ Ср.: А. С. Мельничук, Порядок слов и синтагматическое членение предложений в славянских языках, Киев, 1958.

внимание авторского коллектива приковано, разумеется, к лексике. С обстоятельностью, еще не представленной ни в одной публикации, рассмотрена украинская лексика с точки зрения ее происхождения (автор А. А. Бурячок). Словарный состав современного украинского языка разделен — в целом удачно и убедительно — на индоевропейский, праславянский, древнерусский и собственно украинский слои. Поскольку речь идет о времени появления определенных слов в языке, то автор, во-первых, ориентируется именно на слова, а не на корни, и, во-вторых, рассматривает в каждом слое как исконную лексику, так и лексику заимствованную, разумеется, с разграничением этих групп. Заимствованная лексика, помимо этого, рассматривается также и отдельно, по языкам-источникам.

Убедительность этих принципов описания вместе с богатым и удачно интерпретированным материалом предопределили успех раздела. В ряде случаев, однако, правомерность отнесения слов к тому или иному слою представляется сомнительной. Например, явно общеславянское слово *держава* отнесено к собственно украинским, да еще таким, что заимствованы в другие языки из украинского (стр. 114). Другое общеславянское (исконное!) слово *качан* «кочан» признано тюркизмом (стр. 130).

Если говорить об уязвимых местах раздела, речь следует вести прежде всего не об отдельных ошибках, а о двух общих явлениях. При рассмотрении заимствованных слов нет надлежащей четкости в размежевании языка-источника и языка-передатчика. Именно поэтому слово *осел* у автора оказывается то латинизмом (стр. 109), то германизмом (стр. 131). А ведь есть еще и слова, созданные в одном языке из «строительного материала» другого языка. Исследователь справедливо квалифицирует слово *лифтер* как восточнославянское новообразование советского периода (стр. 121). Но зачем относить к заимствованиям из греческого языка, скажем, термин *астероид* (стр. 126), созданный в начале XIX в. английским астрономом В. Гершелем? Слов этого типа среди «гречизмов» и «латинизмов» слишком много, чтобы ими пренебрегать.

Собственно украинский лексический слой представляется несколько увеличенным. Здесь непонятны критерии отбора. Почему, например, в этой группе оказались предлоги *між* и *під* (стр. 120)? Первый из них — явно древнерусский, фиксируемый у И. И. Срезневского (*межь*), а другой — праславянский. Фонетическое же преобразование этих предлогов в украинском языке (появление *і*) не дает оснований для лексических выводов. По крайней мере древнерусскими являются также слова *роакшійний* (ср. русск. *рскошійний*), *чарівний* (ср. др.-

русск. *чаровный*), *цур* (ср. белорусск. *цур*, русск. *чур*) и др. (стр. 114—120). Внутри собственно украинской лексики не проведено различие между словами, созданными в этом языке после выделения его из древнерусского, и заимствованиями из других языков (в частности, из русского).

В книге кратко, но очень содержательно описана стилистическая дифференциация украинской лексики (М. А. Жовтобрюх), а также ее дифференциация на общенародную, диалектную и профессиональную (В. А. Винник). Это же самое можно сказать о разделе, посвященном стилистическим закономерностям украинской лексики (М. П. Муравицкая). Интересные и существенные соображения содержит раздел о развитии словарного состава украинского языка в советскую эпоху (автор Л. С. Паламарчук). К сожалению, изучаемый в разделе материал по сути перекрывается пунктом «Неологизмы» предыдущего раздела «Активная и пассивная лексика в современном украинском литературном языке» (автор Т. К. Черторизская).

В разделах книги довольно много повторений. Гораздо удобнее было бы ввести систему внутренних ссылок. Отметим также, что повторное обращение к одним и тем же вопросам приводит подчас и к противоречиям. Так, Т. К. Черторизская выделяет группу лексико-семантических диалектизмов (стр. 216), а В. А. Винник очень убедительно разграничивает отдельные группы лексических (стр. 183) и семантических (стр. 189) диалектизмов. Во второй книге морфология определена как «учение о строении слов и их парадигмах» (стр. 5). Определение это, относящее к морфологии также и словообразование, практически реализовано содержанием второй книги. В третьей книге морфология определена глубже, но в том же духе (стр. 8). В четвертой же книге включение словообразования в морфологию решительно (и справедливо!) отрицается (стр. 7).

Лексическое описание украинского языка начинается краткой ознакомительно-историографической характеристикой лексикологии (М. А. Жовтобрюх) и завершается таким же очерком лексикографии (Л. С. Паламарчук). Общетеоретические же функции возложены на большой раздел «Слово в лексической системе украинского языка», написанный И. С. Олейником. Однако с функциями этими раздел, при многих его достоинствах (здесь, в частности, хорошо описаны синонимы), справляется не в полной мере. Он содержит ряд нечетких либо сомнительных положений (разграничение переносного значения и переносного употребления слов и группировка этих семантических явлений; отнесение к антонимам слов типа *муж* — *жена* и др.). Но главный недостаток заключает-

ся в том, что понятие системы имеется только в заглавии раздела. Трудно описать лексическую систему языка без идеи парадигматических и синтагматических оппозиций, без привлечения признаков и свойств системности.

В этом свете особенно благоприятное впечатление производит заключающий книгу раздел «Фразеология» (автор Л. Г. Скрипник). Л. Г. Скрипник сумела очень четко и убедительно описать украинскую фразеологию, включая и ее особенности, и ее структурные типы, и ее системные связи.

Завершается пятитомное исследование современное украинского литературного языка книгой о стилистике. Книга эта — одна из наиболее удачных, а возможно и самая лучшая в пятитомной коллективной монографии. В обширном и основательном «Введении» его автор И. К. Белодед, опираясь на определение стиля, предложенное В. В. Виноградовым (стр. 21), и исходя из хорошо сформулированной мысли Р. А. Будагова, что стилистика — «душа» каждого развитого языка (стр. 41), глубоко анализирует основные понятия, методы и задачи стилистического исследования применительно к украинскому языку.

Обращает на себя внимание всесторонность стилистического обследования украинского языка. В книге есть очень интересный раздел «Ритмомелодика» (автор И. К. Белодед), есть разделы о стилистических аспектах фонетики (В. В. Кошчилов), морфологии (В. С. Ващенко), словообразования (Н. Н. Пилинский). Особенно хорош последний из них. Автор последовательно строит стилистическое описание на сопоставлении оттенков, раскрывая возможности стилистического выбора (ср. описание суффикса *-уаат-*, стр. 318—320, и вообще словообразования прилагательных). В разделе есть материал для полемики. Маловероятно, например, что суффиксы *-ч-* и *-к-*, ср. *вікно* — *віконце*, *хата* — *хатка*, представляют разные степени эмоциональной оценки (стр. 297—298). Но в целом раздел хорошо раскрывает систему стилистических потенций украинского словообразования.

В разделах о фонетике и морфологии, особенно во втором из них, основной упор делается на стилистическое функционирование, на безотнositельное описание стилистических ресурсов соответствующего языкового яруса. Описание это осуществлено квалифицированно, глубоко. Но идея стилистического выбора и его мотивировки подчас оказывается приглушенной. Мысль о том, что омертвевшие, рудиментарные параллельные формы лишены семантико-стилистического наполнения (стр. 281), представляется сомнительной. Яркость строк Юлии Дружинной «Над Россией шумели крыла похоронок, Как теперь воробьиные крылья

шумят» создается прежде всего столкновением обычной и необычной (рудиментарной!) форм мн. числа слова *крыло*. Анализ стилистического функционирования, т. е. выявление стилистических оттенков, наслаивающихся на основную языковую функцию, обнаруживает лишь результаты действия стилистической системы языка, тогда как анализ стилистического выбора, т. е. сопоставление разных стилистических оттенков, обнаруживает саму стилистическую систему.

Основные разделы книги по вполне понятным причинам посвящены стилистической характеристике лексики (авторы Г. П. Ижакевич и А. В. Лагутина) и синтаксиса (авторы И. К. Белодед, В. С. Ващенко, С. Я. Ермоленко). Это серьезные исследования, в которых синтезируются важнейшие достижения отечественной стилистической лексикологии и синтаксиса и выдвигаются новые важные направления стилистического анализа. Здесь тоже есть спорные моменты. Сомнительно, например, что омонимы одной этимологии чаще выступают в каламбурах, чем омонимы разной этимологии (стр. 108—109; любопытно, что этот тезис доказывается среди прочих примером омонимов *Капа* — *Капитолина* и *капа* «какает»). При стилистическом анализе взаимодействий надо, по-видимому, различать взаимодействия общезыковые (*карагач*, *аскакал*) и индивидуально-авторские, ср. *ме гаваге карі* у П. Г. Тычины (стр. 78—82). Здесь наблюдается полная параллель с языковыми и индивидуальными неологизмами, которые, как известно, стилистически четко разграничены. Понятие инверсии представляется слишком расширенным. Вряд ли можно, например, с помощью инверсии дополнений создать неупрощенность интонации (стр. 445): инверсия как раз предполагает какую-то форму принужденности. В целом же успех, высокое качество раздела о лексике и синтаксисе, как всего стилистического тома, является бесспорным.

Книга содержит также раздел о стилистике фразеологизмов (автор Г. П. Ижакевич), где в понятие «фразеология» включается гораздо больше языковых фактов, чем в соответствующем разделе четвертой книги исследования. Интересны своими мыслями и обобщаемыми фактами и два заключительных раздела книги — «Стилистика устной речи» (автор Д. Х. Бараник) и «Характеристика функциональных стилей» (автор В. С. Перейбийнос).

Завершение пятитомного исследования «Сучасна українська літературна мова» — большой успех украинского советского языковедения. Исследование это является важным этапом в изучении украинского языка.

Ю. А. Карпенко

Gabor O. Nagy. Abriss einer funktionellen Semantik. — Budapest, 1973. 124 стр.

Рецензируемая книга — «Очерк функциональной семантики» — написана на основе курса лекций, прочитанных автором в Гёттингенском университете в 1968 г. Этим обстоятельством объясняются некоторые особенности книги: немногочисленность библиографических справок, характер иллюстративного материала и др. Автор — Г. Надь — известный венгерский лексикограф, один из редакторов семитомного толкового словаря венгерского языка (1959—1962), составитель фразеологического (1966), малого толкового (1972), синонимического словарей этого языка, теоретически обобщает в ней некоторые стороны своей лексикографической практики. Таким образом, книга представляет интерес преимущественно в аспекте теоретической лексикографии, которая сформировалась в последние десятилетия как особая отрасль языкознания благодаря работам ученых, обобщавшим свой опыт составления словарей¹.

Одной из сложнейших теоретических и практических проблем лексикографии является соотношение между языком и речью в словаре: словарь показывает отдельные слова, тогда как люди говорят фразами. Анализ этой проблемы и посвящена большая часть книги. Автор выступает как убежденный «контекстуалист», «речевик», подчеркивающий важность контекста для лексикологических и лексикографических работ. Контекстуальный подход, оппозиция языка и речи побуждает автора ввести соответствующие терминологические разграничения. Лексической единице (слову, устойчивому словосочетанию) и ее значению в языке соответствует семема и ее функция в речи. Семема определяется, следовательно, как единица смысла речи, выступающая в форме слова или фразеологической единицы.

¹ Именно на основе теоретического осмысления собственного опыта был создан и первый труд, положивший начало теоретической лексикографии как науке: «Опыт общей теории лексикографии» Л. В. Щербы, так же как и последующие работы Х. Касареса, Б. Мильорини, О. С. Ахмаковой и др. (см. библиографию в кн.: L. Z g u s t a, Manual of lexicography, Прага, 1971, стр. 10—12). Эта серия работ по теоретической лексикографии в последние годы дополнялась книгами: J. R e u - D e b o v e, Etude linguistique et sémiotique des dictionnaires français contemporains, The Hague—Paris, 1971; J. D u b o i s, Cl. D u b o i s, Introduction à la lexicographie: le dictionnaire, Paris, 1971; «Slovo a slovník», Bratislava, 1973; В. П. Берков, Вопросы двуязычной лексикографии, Л., 1973.

Развивая взгляды венгерского лингвиста З. Гомбоца, Г. Надь определяет функцию семемы как ее способность вызывать в сознании говорящих определенное представление, понятие. Задачу лексикографа автор видит в том, чтобы переходить от единиц смысла в речи (семем) к установлению значений абстрагированных от контекста слов.

Контекстуальный подход обуславливается самой общественной функцией языка. Язык — средство общения, но люди говорят при этом внутреннее строение (анатомию) объекта, но не его реальную жизнь в естественной среде (стр. 14). Вопреки тому, что иногда полагают, лексикограф, создавая словарь, отнюдь не уничтожает и не разрушает контексты: последние представлены в словаре в типизированном, обобщенном виде, показывая различные функции слова. В словаре живые контексты преобразуются в «скелеты контекстов», в «элементарные контексты», откуда устраняется все единичное, чисто речевое. Итак, отправляясь от единичных речевых актов, научная лексикография не должна останавливаться на них, но двигаться к обобщенным фактам языка. Две опасности подстерегают исследователя, исходящего из контекста: а) он не «поднимается» от речи к языку, б) он не учитывает системность языка, трактуя словарные единицы как разрозненные факты. Книга ставит себе задачей показать пути преодоления этих трудностей. После изложенной нами вводной главы («Цели и методы исследования») следует глава «Виды и свойства контекста», поскольку функциональный анализ семем начинается с их исследования в контексте; затем в отдельных главах рассматриваются три основные выделяемые автором функции семем: номинативная, грамматическая, стилистическая. Книга завершается главой «Синонимия», где обсуждаются пути построения системы семем.

В главе «Виды и свойства контекста» автор обосновывает точку зрения, согласно которой не всякий языковой акт должен использоваться как лексикографический материал. Он различает понятия: к о м м у н и к а т и в н а я е д и н и ц а (любое сообщение) и к о н т е к с т (коммуникативная единица, обладающая определенными свойствами: понятностью, правильностью с точки зрения данного языкового коллектива). Только контекст может быть объектом для функционального анализа семем. Однако не всякий контекст подходит для этой задачи. Различаются ситуативно обусловленные и внеситуативные контексты. В связи с этим

Г. Надь отмечает два понимания речевой ситуативности: а) связанность речевого акта с обстоятельствами, в которых он осуществляется (в этом смысле все говоримое ситуативно), б) определенная зависимость понимания смысла высказывания от этих обстоятельств (в этом случае и можно различать ситуативно связанные и внеситуативные контексты). Иногда взятые вне ситуации контексты не могут быть использованы для функционального анализа семем. Так, контекст *Я хотел бы купить масла* ничего не говорит о функции, т. е. о соотносительности с объектом семемы *масло*, если мы не знаем, идет ли речь о продовольственном магазине или о бензоколонке. Во внеситуативных контекстах функции семем определяются отношениями между ними (например, *Рим стоит на семи холмах*).

В разделе «Отношения в контексте» автор раскрывает диалектику устойчивого и изменчивого, бытия и становления в содержании языковых элементов, причем упор делается на выявление динамического, неустойчивого, субъективного в контекстуальных употреблениях семем, смысл которых в контексте не всегда совпадает с понятием, обозначаемым соответствующим словом. Отмечается одностороннее и обоюдное влияние семем в контексте. Так, в сочетаниях *kleines Fenster* «маленькое окно» и *kleines Geld* «мелкая монета» значение прилагательного зависит от существительного, тогда как значения существительных не зависят от прилагательных. Но в *ein großes Haus* (*führen*) меняется значение и прилагательного (= «богатый») и существительного (= «хозяйство»). Автор подчеркивает, что носители языка не всегда отдают себе отчет в контекстуальных сдвигах в предметной отнесенности слов, которые словарь, однако, должен фиксировать. Например, *ближко* имеет локальное значение в *Лес близко от города* и временное — в *Весна уже близко*. Отмечаются следующие аспекты отношений, которые должны приниматься во внимание при функциональном анализе семем: 1) отношение семемы к смыслу; 2) ее отношение к специфическому характеру контекста (во внеситуативном контексте семема может указывать не на конкретный объект, но на весь класс объектов); 3) отношение ее к другим элементам контекста; 4) отношение контекста к речевой ситуации; 5) роль рецептора в речевом акте. Так, в предложении *Сегодня опять плохая погода* понимание того, какая именно стоит погода: холодная, жаркая, дождливая, будет зависеть от того, какую погоду хотел бы видеть говорящий в данной ситуации. Творческий характер языка автор видит в том, что в каждом новом высказывании создается заново не только звуковая, но и смысловая сторона языковых элементов в их соединении. Но Г. Надь учитывает, что по-

стоянное создание заново отношения наименования, зависимость от ситуации, субъективность — лишь одна сторона речевого акта. Другая сторона, без которой речь была бы непокойной, — устойчивость, социальная детерминированность значения языковых элементов. Предполагается, что рецептор знает существенные моменты каждого значения используемых семем, что и обеспечивает понимание. Это постоянное представление, связанное со словом, составляет «внутреннюю форму смысла» (*die innere Form des Wortsinns*), которая статична, социально детерминирована и может рассматриваться как рамка, которая в речи заполняется переменными элементами содержания, которые, однако, для понимания менее существенны, чем эта стабильная внутренняя форма. Когда мы говорим *Он уронил письмо*, слово *письмо* значит не вообще «письменное сообщение, направленное отсутствующему», но конкретный лист бумаги с таким сообщением. Последнее составляет содержание семемы, тогда как приведенное общее определение — ее внутреннюю форму. То, что в языке-системе статично, объективно, то в речевых актах динамично, изменчиво, субъективно. Бытие и языкового элемента превращается в речи в его становление. Без этого диалектического единства бытия и становления язык не мог бы функционировать, т. е. не могли бы иметь место речевые акты и достигаться взаимопонимание между говорящим и слушающим. Надо отметить, однако, что если рассматривать проблему в противоположном — ономастологическом — плане, то отношение, возможно, окажется обратным: обозначаемый референт будет выступать как постоянный элемент, тогда как способ обозначения («внутренняя форма») как переменный, субъективный аспект речевого акта.

В следующем разделе главы о номинативной функции семем показывается эксплицитным образом, как преобразуются контексты и снимается в словаре противоречие, состоящее в том, что, с одной стороны, значение семемы следует искать в контексте, а с другой, постоянные лексические языковые значения слов не могут быть установлены вечно изменяющемся контексте (стр. 38). Чтобы отделить подвижное от устойчивого, необходимо рассматривать семему во многих контекстах, упростить контексты так, чтобы отделить их от конкретных ситуаций. Автор показывает, что лексикографическая редукция контекстов проходит через ряд этапов-трансформаций: полные (живые, ситуативно обусловленные) контексты → типы контекстов → упрощенные контексты → элементарные контексты (ЭК). Процедура наглядно показывается на примере глагола *fühlen* (стр. 40). Фраза из *l'été* «... So nimm auch den schönsten krug, den wir mit

dem frischem trunk gefüllt» — полный контекст — преобразуется в упрощенный контекст: *Wir füllen den Krug mit frischem Trunk*. Упрощенные контексты данного типа сводятся в элементарный контекст: *Jemand oder eine Abfüllmaschine füllt einen Behälter**. Некто или особый аппарат наполняет емкости (сосуд). ЭК представляет собой «глубинную» структуру контекстов данного типа, выражаемую формулой: *S* (лицо, аппарат) + *füllen* + *Od* (емкости). Другой тип контекстов с тем же глаголом сводится к элементарному контексту с формулой: *S* (лицо, аппарат) + *füllen* + *Od* (жидкое, сыпучее или кашеобразное вещество). Так, при помощи ЭК четко различаются два значения глагола: «наполнять что-л. (чем-л.)» и «наливать, насыпать, накладывать что-л. куда-л.». Так же выделяются и другие типы контекстов с глаголом *füllen*, причем каждый из них характеризуется особой формулой и специфическим значением глагола. Всякий тип контекста может быть символизирован своим «репрезентантом» (например, тип I: *Некто наполняет жидкостью сосуд*). Однако, если для слов-акциденций (глаголов, прилагательных) установление ЭК сравнительно несложно, то для слов-субстанций (существительных) ЭК выявляются с трудом. Автор вводит понятие виртуальных элементарных контекстов, которые формулируются не в виде костяка реальных фраз, но отражают лишь отношения. Так, сравнивая репрезентанты контекстных типов: 1) *ein Haus bauen*; 2) *die Tür eines Hauses*; 3) *ein Freund des Hauses*; 4) *das ganze Haus ist verweist*, мы обнаруживаем, что в первом случае семема может быть соотнесена только с понятием здания, тогда как во втором — с группой людей. Отсюда автор делает вывод, что можно говорить о виртуальных ЭК, которые ограничивают значение слова *Haus* как «дом» или «семья». Элементарные контексты достигают высокого уровня абстракции, так что не всегда можно установить, относятся ли они к языку или к речи. Во всяком случае, они существуют в сознании говорящих и выступают как образцы при создании новых ситуативных контекстов. Полный контекст, определяющий актуализированное значение семемы, соотносится с определенным контекстным типом, в котором воплощается уже лексическое, языковое, общепринятое значение. Так выявляется подчиненность конкретного всеобщему в значении слова. Речевой акт представляет собой не только синтез статического и динамического, но и единство конкретного и абстрактного.

Автор подчеркивает роль контекста и при разграничении значений слова. Взяв под сомнение эффективность переводного, синонимического и определительного методов выяв-

ления значения слов, он видит более надежный критерий в различении тех типов контекста, в которых встречается слово. Однако такое различие, вытекающее из синтагматических связей слов, релевантно лишь в том случае, когда значению все же можно дать четкое определение. Вместе с тем и здесь автор стремится показать диалектику стабильного и изменчивого, дискретного и недискретного. Между значениями слов нет четких границ: типы контекстов в их совокупности подобны цветовому спектру, где краски переходят одна в другую постепенно, так что границы между ними могут проводиться различно. Поскольку объект, обозначаемый словом, обладает разными признаками, то в основу определения могут отбираться различные признаки в зависимости от точки зрения говорящего, отчего одно и то же слово в том же значении может получать различные определения. Автор считает, что лексикографическое определение призвано не столько раскрыть признаки понятия, обозначаемого словом, сколько показать те признаки, по которым пользующиеся словарем могут отождествить имя со смыслом. Это положение ведет к выводу, что в толковом словаре примеры (контексты) могут играть большую роль, нежели определения².

Контекст оказывает большое влияние на изменение значения слов, на развитие многозначности. В ходе исторического развития устанавливается новая общепринятая для данного коллектива номинативная функция семем. Автор рассматривает три аспекта влияния контекста на семантическую функцию системы.

1. Отказываясь от терминов «понятийное поле» и «лексическое поле», получивших многозначность в современной науке, Г. Надя, вслед за чехословацким лингвистом Б. Филиппом, пользуется термином «к о о р д и н и р о в а н н ы й ряд слов» (*koordinierte Wortreihe*) для обозначения группы слов, «смысл которых в понятийном отношении соотносится с одним и тем же родовым понятием». Таковы названия дней недели, месяцев, цветов, народов и т. п. Слова одного

² Интересный опыт осуществления этого принципа мы находим во французском толковом словаре: M. D a v a u, M. S o h e n, M. L a l l e s a n d, *Dictionnaire du français vivant*, Paris, 1972. Значения слов здесь иллюстрируются типовыми фразами (= «репрезентанты типов контекстов» у Г. Надя), за которыми следуют краткие определения и синонимы. Показательно, что этот принцип оказался приемлемым для глаголов и прилагательных, тогда как для существительных, напротив, определение более эффективно, чем пример, который в этом случае не приводится.

ряда встречаются в одинаковых типах контекстов, в каждом из которых они реализуют определенный оттенок значения (семантическую функцию). Так, названия учреждений (институт, театр, библиотека и т. п.) имеют значения: а) «организация»; б) «общность людей, коллектив»; в) «здание, помещение», которые выявляются соответственно в таких «репрезентантах типовых контекстов», как: *Директор института (театра, библиотеки)*; *Весь институт (театр) уже анал.*; *Встретиться у института (театра)*. К ним можно было бы добавить четвертую семантическую функцию: время, проведенное в данном учреждении: *после института (театра, библиотеки)*. Семантическая структурность лексики, как отмечает Г. Надь, состоит в том, что любое слово, в том числе и неологизм, попадающее в данный ряд, получает обязательно все соответствующие значения. Это явление, которое автор называет «приспособлением слова к новому значению» (*Bedeutungsanpassung*, стр. 62) лежит в основе ряда процессов, отмечавшихся в общей семантике: регулярной или скрытой многозначности, скольжения значения слов.

2. Тип контекста рассматривается автором как своеобразное семантическое управление, при котором значение слова зависит от значения того слова, с которым оно связывается. Понятие семантического управления позволяет отличить метафору от нового значения слова (так называемой стершейся метафоры). В сочетаниях *ножка стула (стола, кровати)* мы имеем не метафору, но самостоятельное значение семемы *ножка*, поскольку здесь — определенный тип контекста, и любое слово, входящее в тот же координированный ряд, что *стол* и *стул*, вызовет то же значение у слова *ножка* при сочетании с ним. Если же при сочетании слов контекстный тип не образуется, так что данный контекст остается единственным в своем роде, то создается метафора.

3. Номинативная функция семемы изменяется в связи с различием информативной ценности слова в контексте. В контекстах *Он был два месяца в Италии* и *В чудесном месяце мае* семема *месяц* имеет одинаковое значение «двенадцатая часть года». Однако в первом случае слово не может быть устранено без изменения информации, но может быть заменено другими словами того же координированного ряда (*год, неделя*) с изменением смысла сообщения, но без ущерба для его грамматической правильности. Во втором примере оно может быть опущено, но не может быть заменено. Здесь оно утрачивает свою информативную значимость и десемантизируется. Аналогичное явление автор прослеживает в других контекстах с иными словами.

В свете своей контекстуальной теории Г. Надь стремится дать определение и фразеологии. Фразеологизм есть сочетание слов, не образующее типового контекста, формирующее лишь единственный контекст. Основываясь на известных положениях Ш. Балли и В. В. Виноградова, он развивает свою концепцию фразеологизма, показывая его отличие от пословиц, изречений и других явлений, которые изучаются в паремологии. Он насчитывает семь типов устойчивых сочетаний слов (речения, сравнения, биномы типа *коротко и ясно*, глагольные аналитизмы типа *иметь намерение*, терминологические выражения типа *железная дорога*, крылатые слова, нефразеологизированные пословицы). Последние два типа не включаются им в состав фразеологии. В заключение этого раздела делается попытка классификации свободных сочетаний с точки зрения связанности их компонентов, их совместности. Из выделяемых здесь четырех типов для лексикографии наибольшее значение имеют сочетания, отражающие характерные для данного языка употребления слова (*зарабатывать деньги, поддерживать добрососедские отношения* и т. п.). В целом в разделе о фразеологии советский читатель найдет мало нового материала. В некоторых случаях автор повторяет известные положения, нуждающиеся, однако, в критическом анализе. Так, вряд ли безусловно правильно положение о немоделированности фразеологизмов. Если во фразеологизмах видеть не языковые случайные курьезы, но особый тип лексических единиц, то необходимо выявлять и исследовать модели, по которым они создаются (в их структурном и семантическом аспекте). Эти модели могут быть более или менее продуктивны, как это имеет место в отношении словообразовательных моделей при построении слов, но они, по-видимому, существуют, и их анализ — важная задача фразеологов. Касаясь аналитических сочетаний типа *die Absicht haben (= beabsichtigen)*, *иметь намерение (= намереваться)*, автор утверждает, что они лишние и непропорциональные в языке, что их использование придает стилю отпечаток канцелярского языка (*des Papierdeutsch ober des Kanzlei-deutsch*), что они встречаются главным образом в книжной речи и их можно заменить одним глаголом. Это мнение нередко высказывается, когда речь идет об аналитических глагольных речениях, и оно заслуживает того, чтобы на нем остановиться. Словосочетания указанного типа с «опустошенным» глаголом и транспозицией глагольной семантемы в существительное, свойственны не только «бумажному» или «канцелярскому» языку. Они отмечаются и в бессмысленных языках, в истории любого языка на самом раннем этапе его развития, они чрезвычайно употребительны в разговорной ре-

чи, нередко заменяя синонимичные простые глаголы. Видимо, такие словосочетания являются языковой универсалией, связанной со стремлением давать процессу название в номинативной форме, как и материальным объектам, а также с тем, что они позволяют выразить залоговые, видовые, фазисные, модальные и другие оттенки действия более дифференцированно, чем отдельные глаголы.

В главе о грамматических функциях семем подчеркивается неразрывная связь этих функций с номинативной функцией; рассматриваются функции, позволяющие семеме уточнять или проявлять свою определенную номинативную функцию в контексте. К таким грамматическим функциям автор относит прежде всего принадлежность слова к определенной части речи, управление, грамматический род.

Стилистическая функция и ее семема, в которой отражается многосторонний характер лингвистического знака, заключается в передаче отношения говорящего к его высказыванию. Стилистическая окраска — дополнительная, но обязательная функция языковых элементов, она обогащает контекст дополнительной информацией. Автор отмечает источники стилистической окраски и подчеркивает связь стилистической функции с номинативной (так *Aas* «падал» стилистически нейтрально при отношении слова к трупам животного и стилистически окрашено при соотнесении с лицом).

В синонимии автор видит основной путь к систематизации лексических единиц языка. Для определения и разграничения синонимов он предлагает использовать анализ семем в типах контекстов. Если данная семема заменяется иной при сохранении значения контекстного типа или его репрезентанта, то эти две семемы синонимичны (стр. 112). По мнению автора, такой подход позволяет избежать как чисто понятийной трактовки синонимов (близость выражаемых словами понятий вне контекстов), так и чисто контекстуальной синонимии, которая строится на взаимозамещимости семем в единичных контекстах, а не в типах контекстов. В заключение автор дает теоретическое обоснование типа синонимического словаря, объединяющего алфавитный и семантический способы подачи лексики (такая организация свойственна большинству синонимических словарей).

Как видно из изложения содержания книги, многие затрагиваемые в ней проблемы обсуждались в советском языковедении (использование синтаксических моделей для разграничения значений слова, регулярная полисемия, десемантизация, разграничение синонимов и многие другие). Несомненный интерес рецензируемого труда состоит в следующих

трех аспектах: 1) проблемы семантики рассматриваются в свете единой теории и контекста, с точки зрения функционирования слова в контексте, во взаимосвязи речевого и языкового аспектов, а не только в плане языка-системы. Автор делает заслуживающую внимания попытку проникнуть в диалектику отношений части и целого: слова и высказывания; 2) проблемы рассматриваются в лексикографическом аспекте. Книга Г. Нады показывает, как исследователь-лексикограф переходит от анализа лексических единиц в их текстуально-речевых употреблениях к анализу их существования в качестве элементов языковой системы. Ее ценность следует видеть в теоретическом осмыслении и максимальном эксплицировании того пути, который реально проделывают составители словарей; 3) интересный аспект предлагаемой Г. Надем стратификации контекстов, при которой постоянно учитывается взаимодействие и взаимозависимость лексического и синтаксического в организации высказывания, состоит в том, что она позволяет уточнить понимание глубинных структур и процессы порождения речевых высказываний в конкретных ситуациях. Ставя вопрос о том, каким образом человек, говорящий на данном языке, приобретает способность строить бесконечное число правильных высказываний, Хомский не обратил внимания на другую сторону творческого характера языковой деятельности: каким образом человек получает способность строить эти правильные высказывания быстро, почти не задумываясь (речь идет, разумеется, о повседневном общении, а не о литературном творчестве с его муками слова). Между тем ни базовые синтаксические структуры Хомского, лишённые первоначально лексического наполнения (причем Хомский так и не объяснил, каким образом лексика сплетается с грамматикой в его глубинных структурах), ни семантическая репрезентация семантиков-генеративистов (Лаккофф и др.), выводящая глубинную структуру за пределы языковых форм — в логику и физику объективного мира, не способны адекватно отразить тот реальный операционный материал, который находится в сознании говорящего в момент порождения высказывания и на базе которого это высказывание строится. По-видимому, таким материалом являются лексико-синтаксические цепочки, аналогичные контекстным типам Г. Нады. Виртуальным лексическим наполнением синтаксических позиций в этих цепочках являются не отдельные слова, но упоминаемые Надем координированные словесные ряды, из которых избирается необходимое слово. Наличие в сознании говорящих словесных рядов и контекстных типов (последние и представляют собой, по-

видимому, реальные «глубинные структуры») позволяет почти автоматически подбирать к данному типу контекста нужное слово из координированного ряда и быстро формировать правильное высказывание в условиях конкретной си-

туации. В этом плане некоторые мысли, высказанные в рецензируемой книге, заслуживают дальнейшего развития.

В. Г. Гак

А. Т. Базисев, М. И. Исаев. Язык и нация. — М., «Наука», 1973. 247 стр.

Среди важнейших проблем социальной лингвистики особое место занимает проблема «язык и нация». Разработка этого вопроса находится на стыке целого ряда общественных наук и требует широкого привлечения не только лингвистического, но и социологического, исторического, философского материала. Этим следует объяснить, в частности, явно недостаточную разработанность указанной проблемы: опубликовано буквально несколько специальных исследований, что отнюдь не соответствует огромной значимости самой проблемы.

Значимость проблемы объясняется в основном двумя ее аспектами — внутренним и внешним.

Коммунистическая партия Советского Союза проводит последовательную политику равноправия всех национальных языков и их свободного развития. Советский Союз являет наиболее яркий и рельефный пример того, как осуществляется при социализме связь и взаимодействие языка и общества, языка и нации. Этот опыт убеждает нас в том, что указанные связь и взаимодействие отнюдь не просты и не прямолинейны: если политика равноправия и свободного развития языков ведет к обогащению их выразительных возможностей и их укреплению как систем, то достижение дружбы и единения всех народов многонационального Советского Союза, наоборот, вызывают к жизни тенденцию к выдвиганию и все большему распространению единого общепонятного межнационального языка. Одновременное существование этих двух процессов в итоге дает исключительное разнообразие форм и проявлений двуязычия, многоязычия, сотрудничества и взаимодействия языков в СССР. В связи с этим возникает большое количество вопросов как теоретического, так и практического плана, требующих неотложного рассмотрения и научного освещения, ибо эти вопросы теснейшим образом перелетаются с важнейшими направлениями исследований языковедческой науки и с делом коммунистического строительства в нашей стране. Уместно здесь вспомнить слова Л. И. Брежнева: «Подобно тому как в промышленности и сельском хозяйстве мы не можем теперь делать буквально ни шагу вперед без помощи во-

вейших достижений науки, так и в нашей общественной жизни развитие науки — необходимая база для принятия решений, для повседневной практики»¹.

Переживаемая нами эпоха характеризуется невиданным ростом национально-освободительных движений, окончательным распадом колониальной системы империализма, появлением десятков развивающихся государств. В процессе строительства нового общества руководящие политические партии и правительства этих стран сталкиваются с целым комплексом национально-языковых проблем, оставшихся в наследство от колониального прошлого. В поисках путей решения этих проблем прогрессивные силы, естественно, обращаются к опыту Советского Союза, где решен национальный вопрос и его составная часть — проблема языков. Это обстоятельство делает чрезвычайно актуальным изучение богатейшего советского опыта языкового строительства и языкового развития. Выполнение этой важной исследовательской работы, убедительный показ советского опыта решения языковой проблемы, претворения в жизнь принципов свободного развития национальных языков на основе равноправия и взаимобогащения, их сотрудничества, превращения одного из равноправных языков (русского языка) в общий межнациональный язык, — все это является интернациональным долгом советских ученых, представителей всех гуманитарных наук.

Глубокое исследование проблемы «Язык и нация» за последнее десятилетие осуществляется, в частности, благодаря целенаправленной деятельности Научного совета по комплексной проблеме «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций». В трудах членов совета (И. К. Белодеда, В. А. Аврорина, Ф. П. Филипа, В. Н. Ярцевой, Н. А. Вaskaкова, Ю. Д. Дешериева, М. И. Исаева, В. Г. Костомарова, И. Ф. Протченко и других видных социолингвистов) получили освещение многие вопросы развития национальных языков СССР. Наряду с этим имеется немало работ философов

¹ Л. И. Брежнев, О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик, М., 1972, стр. 58.

(М. Д. Каммари, А. Г. Агаева, Э. А. Баграмова, М. С. Джузусова, М. И. Куличенко, П. М. Рогачева, М. А. Свердина, И. М. Цамеряна и др.), в которых затрагиваются проблемы языкового развития.

Книга А. Т. Базиева и М. И. Исаева «Язык и нация» представляет собой одну из первых попыток постановки и обоснования ряда основных вопросов данной проблемы. Она опирается на изучение большого количества не только языковедческих исследований, но и публикаций по философской, социологической и исторической наукам.

Книга начинается с предисловия, написанного Ф. П. Филиным. В нем отмечается ценность книги А. Т. Базиева и М. И. Исаева, в которой в доступной форме освещен большой круг вопросов теории и практики языкового строительства.

Монография состоит из шести основных глав: I. «Общество и язык», II. «Национальное развитие народов и язык», III. «Культурная революция и языковое строительство в СССР», IV. «Сближение социалистических наций и взаимодоступные языки народов Советского Союза», V. «Расцвет социалистических наций и национальных языков», VI. «Многонациональное государство и проблема второго языка». По содержанию главы книги содержат материалы тройного характера: познавательный — по языковедению и социолингвистике; обобщающий — об опыте языкового строительства в СССР; проблемно-теоретический — по перспективам языкового развития народов СССР.

Первая глава (стр. 7—75) носит информативно-познавательный характер и знакомит читателя в обобщенном виде с такими вопросами, как происхождение языка, исторические причины появления множества языков на земле, социальная обусловленность языка, этнический состав населения и языки мира, народы и языки Советского Союза, соотношение языков и классов.

Вопросы, рассмотренные авторами в первой главе и носящие общий познавательный характер, заслуживают особого внимания в силу одного немаловажного обстоятельства. Дело в том, что все еще публикуется мало работ, просто, доходчиво и обобщенно излагающих основные теоретические аспекты развития языка, сущность языковых процессов, соотношение языка и общества. Можно с уверенностью сказать, что рецензируемая книга является одной из удачных попыток восполнить этот пробел. Например, такие вопросы, как соотношение языка и надстройки, языка и социальных классов, связь истории данного народа и его языка, соотношение расового, религиозного, этнического и языкового в диалектико-материалистическом языковедении давно выяснены и перестали быть

темой дискуссий. Однако эти очевидные для языковедов истины в достаточной степени усвоены далеко не всеми представителями других общественных наук. Они не всегда представляют во всей сложности жизнь и историю языка, высказывают суждения, перекликающиеся с вульгарно-социологическими воззрениями на сущность языка. Во-первых, изменения в языке в результате социальных сдвигов ограничиваются у подобных исследователей, как правило, пределами лексики. Объективно остаются в тени многосторонние и сложные изменения в морфологии, фонетике, синтаксисе языка. Во-вторых, сам словарный состав, если верить этим исследователям, легко отбрасывает сотни и тысячи «устаревших» слов только потому, что в связи с ломкой прежней политической надстройки перестали существовать обозначаемые ими реалии. При этом не учитывается, что слова общенационального языка при переходе нации на социалистические рельсы развития и ломке капиталистической политической надстройки отнюдь не «отбрасываются», а продолжают активно жить для обозначения реалий исторического прошлого, а в пересмысленном виде, в переносных значениях — и для характеристики реалий современности. В-третьих, недостаточно ясно и четко обозначаются этими исследователями пределы и рамки сближения национальных языков, неизбежного при происходящей интернационализации производства, духовной жизни и быта всех народов, при растущем сотрудничестве и дружбе наций и народностей СССР. Книга А. Т. Базиева и М. И. Исаева пропагандирует установившуюся точку зрения о том, что если сближение национальных экономики и культуры постепенно завершится в далекой исторической перспективе их слиянием, то сближение национальных языков касается их так называемых периферийных элементов, фактически не затрагивает их основу, в силу чего их сближение не ведет к слиянию национальных языков в один общий язык. Вопрос о едином средстве общения решается, как показывает опыт СССР, путем выдвигания одного из распространенных языков в качестве международного.

Много интересного лингво-социологического материала, полезнаго прежде всего для представителей неязыковедческих направлений общественных наук, содержит II глава. В ней внимание читателя привлекает прежде всего вопрос о соотношении различных признаков нации и роли языка в их совокупности. Авторы пытаются показать исключительное значение языка в складывании и развитии нации и солидаризируются с исследователями, рассматривающими общность языка как основной признак нации (стр. 90). Авторы пишут о разное,

существующем в попытках рассмотреть этот вопрос. Это видно хотя бы из следующих примеров. М. О. Мнацаканян, анализируя сущность нации, языковой признак ставит на первое место³, И. П. Чамерян — на второе место⁴, П. М. Рогачев и М. А. Свердлов — на третье⁵, М. И. Куличенко — на четвертое⁶, а А. Г. Агаев допускает в одной из своих статей возможность реального существования отдельных этнических общностей, в том числе наций и народностей, без общности языка⁶. Такая же картина наблюдается в различных справочных изданиях, энциклопедических словарях и т. п., опубликованных за последние годы. Общей тенденцией здесь является как бы постепенное «отодвижение» языка назад как признака нации. Это, по-видимому, не случайно и объясняется разными причинами. Во-первых, желанием большинства авторов подчеркнуть решающее значение экономики, развития хозяйственных связей в становлении и развитии нации. Во-вторых, стремлением учесть реальные процессы национальной консолидации на современном этапе общественного развития.

События последних десятилетий, распад колониальной системы империализма, выход десятков народов на дорогу самостоятельного, независимого развития, развертывание и усиление процессов национальной консолидации на различных континентах расширили наши представления о характере и сущности национальных процессов. Для периода складывания капиталистических и социалистических наций было характерно в целом стремление к объединению населения областей, говорящего на одном языке. Ныне же новые нации формируются на месте бывших колониальных владений, населенных народностями и племенами, зачастую весьма далекими друг от друга по языку и этнической принадлежности. Здесь оформление и сплочение нации происходят при решающей роли политического фактора — государства.

Чтение книги А. Т. Базиева и М. И. Исаева наталкивает еще на одну мысль. Изыскания последних лет показали, что вопрос о месте и роли языка в формировании и развитии нации остается слабо исследованным и по другой причине. Речь идет, в частности, о том, как понимать общность языка нации. Наблюдаются попытки свести ее к общности литературного языка нации. Эта мысль неоднократно высказывалась, в

частности, участниками дискуссии на страницах журнала «Вопросы истории»⁷. Внешне может показаться, что действительно именно литературный язык нации олицетворяет общность языка нации, ибо он создается и совершенствуется на основе норм, общих для всей нации. Не при этом не учитывается, что литературный язык нации не всегда является общепонятным средством общения для всех представителей нации. Это особенно очевидно у капиталистических наций и наций, сформировавшихся на развалинах колониальной системы империализма. Для первых — классовый антагонизм, нищета народных масс и малодоступность просвещения, для вторых — пагубное влияние недавней колониальной отсталости не позволяют овладеть значительной части населения национальным литературным языком.

При освещении данного вопроса следует исходить, на наш взгляд, из того положения, что язык любой нации ныне выступает как совокупность трех составных элементов: литературного языка, народно-разговорного языка и местных диалектов. Литературный язык — идеальный, нормированный язык нации, который тем шире распространяется среди представителей нации, чем выше уровень ее культуры, социального единения и сплоченности. В ряде работ недостаточно подчеркивается, что это распространение происходит крайне сложными путями и замедленно по сравнению с общественно-политическим, культурным и экономическим развитием общества. В результате даже у передовых социалистических наций известная часть населения сохраняет диалектные элементы в своей письменной и устной речи. Между этими двумя разновидностями языка нации — литературным языком и местными диалектами — путем их смешения возникает и существует так называемый народно-разговорный язык, который фактически является наиболее распространенной среди населения формой языка нации. Диалектика языковой жизни нации такова, что ни одна из трех разновидностей его форм не является общенационально-распространенной. История языкового строительства в СССР, подробно рассмотренная в рецензируемой книге, убеждает нас в том, что развитие нации в языковом аспекте происходит, в частности, путем постепенного вытеснения литературным языком нации двух других форм — народно-разговорного языка и местных диалектов. Однако пока нет наций, в том числе в СССР, для которых литературный язык выступал бы единственной формой его языка. Представители не-языковедческих общественных наук в своих работах должны шире проводить мысль о том, что именно сово-

³ См.: ВИ, 1966, 9, стр. 35.

⁴ См.: «Коммунист», 1973, 12, стр. 115.

⁵ См.: ВИ, 1966, 1, стр. 45.

⁶ См.: М. И. Куличенко. Национальные отношения в СССР и тенденции их развития, М., 1972, стр. 29.

⁶ См.: ВФ, 1965, 11, стр. 27.

⁷ См.: ВИ, 1970, 8, стр. 91 и др.

кушность этих трех составных частей, их постоянная взаимосвязь и взаимодействие и дают в своей динамике то, что мы называем общностью языка нации.

Большого внимания заслуживает разбираемая А. Г. Базиным и М. И. Исаевым проблема государственного языка. Критика В. И. Лениным и Коммунистической партией идеи государственного языка дала гениальное решение одного из труднейших аспектов национального вопроса. Политика насильственного навязывания языка господствующей нации всем угнетенным и неравноправным народам выступает как составная часть национальной политики современных капиталистических государств. Такая политика проводилась также царским правительством. Необходимость и историческая потребность иметь общеобязательный и общенациональный для трудящихся всех народов России язык, орудие их сплочения в борьбе и средство их скорейшего приближения к передовой культуре натолкнули некоторых российских марксистов на мысль о сохранении государственного языка и при социализме. В. И. Ленин обстоятельно разъяснил ошибочность такой позиции. «За государственный язык стоять позорно. Это полицейщина. Но проповедовать мелким нациям русский язык — тут нет ни тени полицейщины», — пишет В. И. Ленин⁸.

Несмотря на всю ясность проблемы государственного языка, опирающуюся на ленинское положение, А. Г. Базин и М. И. Исаев сочли целесообразным обратить внимание исследователей на недопустимость отступлений от него в наши дни. Эти отступления заключаются в том, что имеющее место в жизни свободное развитие национальных языков коренного населения союзных и автономных республик, расширение их функций и сфер применения некоторые исследователи истолковывают как перерастание этих языков в государственные. Не

говоря о более ранних утверждениях подобного рода, можно было бы здесь сослаться на многотомное издание «Языки народов СССР» (М., 1966), в I т. которого литовский и латышский, а во II т. — якутский языки названы государственными языками соответственно Литовской ССР, Латвийской ССР и Якутской АССР. Такое же утверждение содержится в книге Н. К. Кийбаева «Торжество ленинской национальной политики в Казахстане (1917—1967)» (Алма-Ата, 1968, стр. 263) в отношении казахского языка.

Как показано в книге А. Т. Базинова и М. И. Исаева, последовательная борьба В. И. Ленина и Коммунистической партии против обязательного государственного языка, за равноправие и свободное развитие всех национальных языков привели не к языковому полицентризму и хаосу, а, наоборот, к невиданному языковому единению народов страны на базе огромного роста выразительных возможностей всех национальных языков, добровольного выделения одного из равноправных языков, — русского языка, — в качестве межнационального.

Большую ценность представляет данная в конце книги «Основная литература», являющаяся по существу первой обширной библиографией (свыше 500 названий) по национально-языковой проблематике и социолингвистике.

Книга А. Т. Базинова и М. И. Исаева, написанная доступным для широких читательских кругов языком, служит полезному делу постановки и пропаганды социолингвистических проблем, ленинской национальной, в том числе языковой, политики Коммунистической партии, широкому разъяснению лингво-социологических знаний.

Разумеется, не все положения авторов встретят одинаковое одобрение специалистов. Это и понятно, так как авторы не уходили от обсуждения сложных вопросов, научная разработка которых зачастую только намечается.

К. Х. Ханазаров

⁸ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 48, стр. 302.

Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. — М., изд-во МГУ, 1973. 234 стр.

Заглавие книги — «Язык и культура». Эта многоаспектная проблема ограничена подзаголовком — во взаимосвязях языка и культуры выделяется один аспект, важный в методике преподавания одного конкретного языка, в данном случае русского. Аспект этот назван лингвострановедением.

«Лингвистика» и «страноведение» — термины давно известные, хотя и не всегда они понимаются однозначно (стр. 11—45). Авторы предлагают еще один новый термин — «лингвострановедение» и при этом уточняют объем значения терминов «культуроведение» и «страноведение». Культуроведение — это изучение

культуры. Здесь сама культура — и «отправная точка, и цель познания». Страноведение же предполагает изучение культуры в связи с изучением языка, «цель познания» — язык, его функционирование в естественной национально-специфической среде (стр. 45, 51). Лингвистический аспект в преподавании языка охватывает план языкового выражения и, на мой взгляд, определенного языкового содержания (значения слов, морфем, грамматических категорий и т. п.). Лингвострановедческий аспект — это и план языкового выражения, и план содержания — языковое значение плюс культурно-историческое отражение жизни народа в языке.

Такой подход к преподаванию языка позволяет истолковать языковую специфику в неразрывной связи с жизнью, бытом и культурой народа. Чтобы создать «языковую картину», достаточно полно и глубоко отражающую жизнь народа, нужно столь же полно и глубоко изучить язык на всех его уровнях — лексическом, грамматическом, фонетическом и стилистическом. Изучение языка как бы протекает на фоне повседневной жизни и сложившихся культурно-социальных традиций. Такое изучение языка хотя и является до сих пор идеальным, ставит перед педагогом и его учениками грандиозные и трудно разрешимые задачи, если не дифференцировать языковой и культуроведческий материал, не отобрать необходимые культурно-исторические сведения. Именно это считают авторы основной задачей лингвострановедения: не исследование культуры вообще, а поиски и отбор культуроведческого материала, «а также определение наиболее эффективных путей его презентации, закрепления и дальнейшей активизации» (стр. 45). При таких поисках и отборе учебного материала на первый план выдвигается проблема «язык — человечество — нация — индивидуум», без теоретического уяснения которой невозможны практические рекомендации.

Авторы предлагают в сопоставлении двух культур и двух языков выделить прежде всего общечеловеческое, совпадающее. Тем самым как бы отделяется общечеловеческое от национального. Авторы тут же оговариваются, что они имеют в виду «только план содержания двух языков, потому что в плане выражения два языка практически никогда не совпадают» (стр. 49). Нет необходимости толковать такие слова, как *мать, нос, стол, республика, ночь, вода...* Здесь действительно достаточно прибегнуть к переводу, найти иноязычный эквивалент. Но даже в предложенном авторами ряду «эквивалентных слов» можно выделить слова, которые воспринимаются по-разному носителем русского языка, советским человеком, и представителем другой страны, другой идеологии, с иным

языком и иной культурой (ср., например, осмысление таких слов и словосочетаний, как *социалистическая республика, буржуазная республика*).

Интересные наблюдения в социолингвистическом и лингвострановедческом плане мы найдем, в частности, в книге О. Есперсена «Человечество, нация и индивидуум с позиции лингвиста», вышедшей еще в 1925 г.: «...где бы ни возникло словесное общение, одни слова не могут передать все — подтекст, детали, ситуацию, характер отношений между собеседниками — здесь помогает знание традиций, сложившегося жизненного фона»¹. Взаимосвязь «язык — общество» очень давно привлекает внимание ученых. Если не считать наблюдений над соотношением «слова — вещи, реалии», подготовивших почву для рождения собственно социологических идей в лингвистике, то одним из первых должно быть названо исследование Поля Лафарга «Язык и революция» (1894). В русской науке прослеживается уже с начала века социологическое направление. Вторая половина 20-х годов и 30-е годы были временем расцвета русской социологической лингвистики. Нельзя не назвать хотя бы некоторые имена основоположников социологического направления в нашей науке. Это Л. П. Якубинский, Б. А. Ларин, В. В. Виноградов, В. М. Жирмуновский, В. И. Абаев, Р. О. Шор, Ф. П. Филин, Р. А. Будагов, К. Н. Державин и др.²

Гораздо позднее, только в 50-е годы, родился американский термин «социолингвистика». К сожалению, американские ученые не ссылаются на своих советских предшественников. Термин «социолингвистика» получил широкое распространение. Лингвострановедение — это частное ответвление многоаспектной науки о языке и обществе — социолингвистики. Теперь и в методике преподавания языка наблюдается преемственность социологических идей, столь характерных для социалистического общества. Для социолингвистики предмет исследования — язык во всем его многообразии, дифференциации, вариативности, обусловленной социальной неоднородностью языкового общества (от диалекта, городского просторечья до литературного языка). Лингвострановедение опирается на единый нормативный язык, норма и система которого определялись в процессе формирования национального коллектива. Вариативность языка для лингвостранове-

¹ O. Jespersen, *Mankind, nation and individual from a linguistic point of view*, Oslo, 1925, стр. 10.

² См. обзор социолингвистических работ, хотя и не полный, в статье: В. М. Ж и р м у н о в с к и й, Марксизм и социальная лингвистика, сб. «Вопросы социальной лингвистики», Л., 1969.

дения ограничена функционально-стилистическими особенностями, которые в свою очередь обусловлены потребностями языкового общения в разных ситуациях (разговорная речь, научно-деловая речь и т. п.).

Социальная основа языка обычно складывается исторически. Но для лингвострановедения важен прежде всего синхронный срез. Синхронно, однако, нельзя изолировать от диахронии. Динамический процесс развития языка ощущается в самой его статике. Синхронный срез языка как бы пронизывается диахронными отношениями³. Так, например, советскими *красный командир, красный уголок, красная суббота, красная яранга* могут быть осмыслены только на фоне более широкого семантического движения от смысловой кальки *красный* «революционный», известной многим языкам мира, до «несущий знания, просвещение, передовые идеи». Эти значения обусловлены советским строем, новым укладом жизни в нашей стране.

Углубляясь в диахронию, конечно, надо соблюдать и чувство меры. В лингвострановедении исторические экскурсы ограничиваются требованием — не исследовать специально историю слов, а обеспечить так называемую коммуникативность, понятийную открытость в языковой «картине» данного общества, ввести ученика в живую языковую среду.

Лингвострановедение должно охватывать все уровни языка — лексический, грамматический, фонетический, стилистический. Но характер отражения жизни общества на каждом уровне специфичен: непосредственный в лексике, опосредствованный в морфологии и фонетике, в синтаксисе и стилистике (ср.: речь разговорная и письменная, нормативная коррекция, просторечные отступления и явления суперкоррекции в орфографии). Бесспорно, что социальные мотивы передаются ярче, четче и непосредственнее в лексике. Именно лексика стала предметом исследования первой нашей лингвострановедческой работы. Авторы предлагают классификацию национально окрашенной лексики. Это прежде всего безэквивалентная лексика, которая в свою очередь разделена на семь групп: 1) советизмы (*Верховный Совет, агитпункт, бригада*); 2) слова нового быта (*ЖЭК, вузовец, сосед*); 3) наименования из традиционного быта (*борщ, каша, ушанка*); 4) историзмы (*аршин, золотник, уезд*); 5) фразеологические единицы (*Юрьев день, подковать блоху, всем миром*); 6) слова из фольклора (*добрый молодец, красная девица, мед-пиво пил...*); 7) безэквивалентные слова нерусского происхождения — тюркизмы, украин-

низмы, монголизмы и т. д. (*сарафан, парубок, тибетейка*) (стр. 53—66).

Принцип этимолого-исторической классификации лексики безусловно имеет свои преимущества, позволяет представить, раскрыть в лексике историю страны, ее быт, международные и межязыковые контакты. Однако предложенная авторами классификация вызывает и некоторые критические замечания. Насколько этимолого-историческая классификация понятна и целесообразна для иностранца, изучающего неродной язык? Такая классификация безусловно интересна с филологической точки зрения. Но с точки зрения коммуникативности она не облегчает уяснение лексических значений, так как лишена тематических ассоциаций. Группу наименований из традиционного быта (*коса, косарь, шаба, сени*) трудно отделить, например, от историзмов (*кушак, кафтан*), фольклорных слов (*кудесник, русалка*) или безэквивалентных слов нерусского происхождения (*сарафан, халат*). Кстати, многие слова, отнесенные в разные группы, — наименования из традиционного быта, историзмы, безэквивалентные слова нерусского происхождения, — этимологически представляют одну группу безэквивалентных слов нерусского происхождения (*аршин, кафтан, кушак, сарафан, халат*). Тем самым складывается перекрещивающаяся классификация. Быть может, в учебных целях практически удобнее была бы классификация, в основе которой лежал бы принцип построения, принятый в идеографических словарях — тематическая ассоциативность, открытая понятийность (слово → понятие → тематическое гнездо).

Отмечая в своей классификации лексики ее исторические контакты с языками народов Востока, авторы почему-то исключают подобные языковые контакты с западными народами. В седьмую группу авторы «включили безэквивалентные слова нерусского (но не иностранного!) происхождения, так называемые тюркизмы, монголизмы, украинизмы и т. д.» (стр. 65). Однако слова, указанные авторами как «характерные для национальных культур ряда народов нашей страны» (*тайга, баяр, бурач, тибетейка, брынага, мечеть, караван, арык, бай, калым, чадра, орда* и т. д.), были заимствованы у разных народов в тот период, когда территориальное распространение языков было иным, чем сейчас. Поэтому разделение заимствованных слов на нерусские и иностранные по происхождению едва ли целесообразно, оно не отражает сложных исторических контактов во взаимоотношениях народов и вряд ли оправдано в страноведческих целях.

В группу фольклорных слов введены пары полигласных и непוליгласных (собственно русских и старославянских) соответствий, но стилистическая и исто-

³ Р. А. Б у д а г о в, Язык, история и современность, М., 1971, стр. 25—41.

рическая роль книжных старославянских лексических проникновений в народное творчество в книге не отмечена. В современном же языке старославянизмы (*око, чело, глаз*), как известно, связаны с высоким стилем или стали нейтральными словами (ср.: *глаза государства — глава романа*).

Авторы исключают из своего поля зрения «сложных друзей переводчика» — заимствования, подвергшиеся ассимиляции и адаптации в системе русского языка. Однако подобные заимствования как нельзя лучше раскрывают активную роль заимствующего языка, демонстрируют его фонетические, лексико-семантические, грамматические и стилистические особенности, неразрывную связь языковых явлений с потребностями общества (ср. хотя бы функционирование слова *революция* в русском и английском языках). На фоне «сложных друзей переводчика» легче очертить и частичную интернационализацию лексики, возникновение интернационализмов — этих истинных добрых друзей переводчика.

Вероятно, следовало бы выделить фразеологизмы, возникшие в народной речи (*косая сажень, Юрьев день, бабьи биты*), и крылатые слова, пришедшие из письменных источников. Вживание крылатых слов в общенародный язык демонстрирует влияние нашей литературы на русский язык, роль писателей, роль просвещения, всеобщего образования, приобщения широких масс к письменным источникам культуры.

В классификации национально окрашенных слов авторы называют второй группу коннотативных слов. Вместе с безэквивалентной лексикой иностранец должен усвоить и новые понятия. Хотя коннотативные слова означают знакомые понятия, специфические «оттенки значения», новые для иностранцев ассоциации, нюансы делают их как бы неизвестными, неизвестными (стр. 78): Ср.: *невеста, жених — суженая, суженый*. Изучение такой лексики представляет большие трудности. В комментариях не всегда возможно определить тонкие, едва уловимые в описании оттенки. Художественный текст, как правило, требует в подобных случаях комментирования, дополнительных объяснений. Коннотативная лексика нуждается в выработке особого типа толкования — демонстрации значений на очень выразительных примерах.

Третьей группой национально окрашенной лексики авторы называют фоновую лексику (стр. 123—171). Понимание в этом случае связано не с отдельным словом, а с текстом, обусловлено так называемыми фоновыми знаниями — знаниями, необходимыми для участников коммуникативного акта, обязательными для всех членов определенной языковой общности. Авторы тщательно разрабатывают и предлагают методику определения

и преподнесения фоновых знаний, необходимых не только для понимания народного творчества и художественной литературы, но и для массовой информации (подтекст, аналогия, иносказание, метафора, сравнение, переносные окказиональные значения и т. п.).

В плане лингвострановедческих наблюдений, проведенных авторами, представляется значительной проблема ключевых слов, не попавших, однако, в их поле зрения. Ключевые слова (*культура, машина, революция, спутник, ЭВМ*) хотя и не являются безэквивалентными, но характеризуют уровень развития страны и тем самым имеют прямое отношение к лингвострановедению⁴.

Объем национально окрашенной лексики, вероятно, должен варьироваться в зависимости от учебных целей. Если вспомнить дифференциацию учебных задач, предложенную Л. В. Щербой⁵, то для «туристского» языка достаточно овладение ядром национально окрашенной лексики, не имеющей или почти не имеющей эквивалентов в других языках. Для филолога, для будущего преподавателя русского языка необходимо тщательное изучение всех трех лексических групп, намеченных авторами. Изучение этой лексики, как они сами подчеркивают в своих исходных теоретических обоснованиях (стр. 47—49), должно проходить в сопоставлении двух конкретных языков — русского и языка, родного для иностранца.

Еще один очень важный вопрос связан с процессом обучения языку и сферой будущего общения. Обычно различают три сферы общения: повседневную, научно-техническую и литературно-художественную. Полагают, что страноведческий аспект особенно важен в первом случае, менее необходим во втором и получает специфическое преломление в третьем, поскольку степень связанности творчества писателя с окружающей действительностью может быть различной⁶.

Совершенно бесспорно, что в зависимости от сферы общения меняется характер и роль страноведческих знаний. Уже тогда, когда были приняты плодотворными рекомендации Соссюра (опыты Пальмера в преподавании английского языка в Японии), было уделено внима-

⁴ Ср.: «Europäische Schlüsselwörter, Wortvergleichende und Wortgeschichtliche Studien», I—IV, München, 1963—1967.

⁵ Л. В. Щербой, Преподавание иностранных языков в средней школе, М.—Л., 1947, стр. 28.

⁶ В. Г. Гака, [реп. на кн.]: Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, Язык и культура..., «Р. яз. в шк.», 1974, 1, стр. 102. См. также: Б. И. Матвеев, [реп. на кн.]: Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, Язык и культура..., «Р. яз. в шк.», 1974, 1, стр. 92—95.

ние различиям между устным общением и литературными текстами. О. Есперсен в упомянутой книге «Человечество, нация, индивидуум с позиции лингвиста» приводит интересные наблюдения в этой области польского этнографа В. Малиновского. Но тут же О. Есперсен делает важное замечание о том, что, несмотря на языковую специфику, нет непреходящей границы между разными языковыми сферами. В. Малиновский допустил ошибку, полагая, что филологи изучают тексты, ограничиваясь чисто языковыми размышлениями, и не привлекают знаний о внешнем мире, т. е. экстралингвистические знания. Может быть, это и справедливо по отношению к филологам, занимавшимся мертвыми языками, но современная филология противопоставляет старой школе⁷. В социологическом, страноведческом плане очень поучительны словарные записи Ф. Энгельса к пушкинским «Евгению Онегину» и «Медному всаднику»⁸. Следовательно, и на этом настаивают авторы, культурно-исторические, страноведческие знания необходимы для чтения и понимания литературного текста. Это с одной стороны. С другой — изучение языка, прояснение в его семантику идет «через» литературные тексты. Разыскания, посвященные литературе, «представляют лишь часть того трудного пути, которым шел лингвист, принужденный внутренним развитием своей науки обратиться к истории литературы за новым материалом для исследования вопросов слова». Это писал В. В. Виноградов в 1929 г.⁹ Обратим особое внимание на слова о том, что развитие науки о языке требует обращаться к истории литературы, к текстам, запечатлевающим языковую «картину» эпохи.

Конечно, культурно-исторический, страноведческий фоч претупает в разной степени в зависимости от сферы общения. В повседневном бытовом общении необходимы в первую очередь те страноведческие знания, которые передаются изустно, живут в семье, социальной группе, коллективе. Слово соединено с традиционной формой поведения, жестом и другими так называемыми *body idioms*¹⁰, или невербальными

средствами коммуникации (стр. 103—122). В научно-деловой сфере общения как бы стирается страноведческий план, интернациональное «отодвигает» национальное. Но и здесь, говоря об интернациональном, надо быть предусмотрительным. Даже интернациональные термины внутри каждого языка осложняются их же функциональными особенностями. Что же касается литературно-художественной сферы, то здесь общенациональные, общезыковые явления нередко преломляются в индивидуальном восприятии большого писателя. Проблема «человечество — нация — индивидуум» приобретает особое значение. План страноведческий должен и освещаться и пониматься как бы с двух точек зрения — общенациональной и индивидуальной, при этом с позиций современного читателя, но с учетом эпохи автора. Во взаимосвязи «общечеловеческого — национального — индивидуального» и заключается специфика страноведческого плана. Великие национальные литературные произведения — это, как известно, общечеловеческое достояние (ср.: Шекспир, Бальзак, Лев Толстой, Достоевский, Чехов).

Книга Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова «Язык и культура» представляет собою «руководство к действию» для преподавателей русского языка иностранцам и источник страноведческих знаний.

Русская наука всегда отличалась умением соединять теорию и практику. Почти все выдающиеся языковеды были и педагогами — Буслаев, Шахматов, Фортунатов, Щерба. В русском языкознании родилась социальная лингвистика. Теперь социологическая традиция нашла естественное продолжение в лингвострановедении. «Народ выражает себя всего полнее и вернее в языке своем»¹¹. Вот почему таким важным и нужным предметом представляется лингвострановедение. Книга Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова «Язык и культура» положила начало интересному и важному направлению в методике преподавания русского языка иностранцам. Она сослужит добрую службу нашим многочисленным кадрам и зарубежным специалистам, которые занимаются изучением и пропагандой русского языка в самых разных странах мира.

| А. А. Брагина

⁷ О. Есперсен, указ. соч., стр. 10—11.

⁸ М. П. Алексеев, Словарные записки Фридриха Энгельса к «Евгению Онегину» и «Медному всаднику», сб. «Пушкин. Исследования и материалы», М.—Л., 1953.

⁹ В. В. Виноградов, Эволюция русского натурализма, Л., 1929, стр. 5.

¹⁰ Н. В. Глаголев, Экстралингвистическая основа конструирования пред-

ложения в речи, ФН, 1974, 2, стр. 49—59. Здесь же см. и библиографию вопроса.

¹¹ И. И. Срезневский, Мысли об истории русского языка, М., 1959, стр. 16.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

11—13 декабря 1973 г. на заседаниях филологической секции Ученого совета Института востоковедения АН СССР состоялась научная дискуссия на тему «Генетические и ареальные связи языков Азии и Африки»¹.

Общие задачи дискуссии были сформулированы во вступительном слове председателя Филологической секции Ученого совета В. М. Солицева, который указал на необходимость и актуальность сосредоточения сил специалистов по восточным и африканским языкам, а также представителей различных отраслей лингвистики для проникновения в существо многих спорных и сложных аспектов исторических связей языков Азии и Африки.

На пленарном заседании были рассмотрены наиболее общие проблемы генетических и ареальных связей языков Азии и Африки, в частности, вопросы методов исследования этих связей, а также состояние изученности проблем, вынесенных на повестку дня дискуссии.

Г. А. Климов (Москва), обобщая современное состояние вопроса о взаимоотношениях кавказских языков, подчеркнул, что предпосылкой дальнейшего прогресса кавказского языкознания является строгое разграничение перспектив генетического, типологического и ареального исследования.

В. М. Солицев в своем анализе взаимоотношений языков Китая и Юго-Восточной Азии отметил ряд спорных и нерешенных вопросов этой области, связанных с наличием высокой степени структурного сходства между этими языками, а также ряда общих тенденций в их развитии. Причины указанных сходств могут изучаться в рамках как ареальных, так и генетических исследований. Докладчик подчеркнул, что для последних особый интерес представляют остаточные морфологические явления, обнаруживаемые в некоторых современных изолирующих языках, в сравнении с реконструируемыми фактами древних состояний языков этого ареала.

Т. С. Шарадзеидзе (Тбилиси) указала на необходимость развития теории языковой конвергенции, а также разработки строго научных методов изучения языковых контактов. В этой связи попытки группировки языков по принципу языковых союзов, выдвигавшиеся в противовес генеалогическим классификациям, докладчик охарактеризовала как реинтерпретацию, в конечном итоге, результатов сравнительно-исторического исследования дивергенции языков.

В докладе С. Е. Яхонтова (Ленинград) говорилось о необходимости установления регулярных фонетических соответствий между словами или морфемами сравниваемых языков при решении вопроса об их родстве. По мнению докладчика, структурное типологическое сходство языков может быть результатом языкового родства, контактов или случайного совпадения. Исходя из этих принципов, докладчик охарактеризовал состояние изученности взаимосвязей языков Юго-Восточной Азии и предложил генетическую группировку этих языков.

На секционных заседаниях были прослушаны доклады, в которых был затронут широкий круг проблем, возникающих при изучении материальных элементов и структурных черт языков как возможных свидетельств генетических и/или ареальных отношений между конкретными языками и языковыми объединениями.

Ряд участников дискуссии сосредоточил свое внимание на методике разграничения тех языковых сходств, которые обусловлены общим происхождением языков, и тех, которые возводимы к древним ареальным связям. Г. А. Зограф (Ленинград) на материале новых индоарийских языков показал различие между общностью генетически связанных языков и выделяемыми в ней ареалами, обнаруживающими свидетельство контактов с неродственными языками. Ю. Л. Благодярова (Москва), говоря о проблемах изучения родства и сродства тайских языков, в качестве возможного критерия разграничения контактных явлений и явлений, восходящих к праязыковому состоянию, назвала, в частности, мозаичность распространения первых в противовес наличию последних во всех родственных языках.

В. И. Цициус (Ленинград) на материале вивского и тунгусо-маньчжурских языков показала, что лексические

¹ См. «Генетические и ареальные связи языков Азии и Африки. Тезисы докладов (Дискуссия на расширенном заседании Филологической Секции Ученого совета Института востоковедения [АН СССР]. Декабрь 1973 г.)», М., 1973.

и структурные параллелизмы между этими языками допускают предварительное толкование их как свидетельств либо ареальных, но при этом довольно поверхностных, связей, либо генетических, но глубинных, восходящих к уровню общепалеоазиатского праязыкового состояния.

В некоторых докладах обсуждались методы исследования генетических отношений между языками в применении к различным типам и категориям языков. А. Л. Грюнберг (Ленинград) и И. М. Стеблин-Каменский (Ленинград) указали на необходимость соблюдения ряда методических требований при полевом обследовании бесписьменных языков как на предпосылку успеха сравнительно-исторического исследования таких языков. С. Е. Яхонтов привел результаты своеобразного лексико-статистического эксперимента на материале некоторых языков Юго-Восточной Азии (мяо, яо, дуншуйских, тайских и др.), подтверждающие, по мысли докладчика, применимость к ним метода глоттохронологического датирования. На трудности применения метода Сводеша к картвельским языкам указал К. Б. Лернер (Тбилиси).

Ю. Я. Плавин (Москва) изложил методику выявления родственных корней, разработанную Ю. А. Горгошиным на материале древнекитайского и моп-кхмерских языков и заключающуюся в обнаружении в сравниваемых языках «гнезд» семантически близких однокорней со сходной или тождественной финалью. Ю. Х. Сярк (Москва), обобщая проблематику сравнительно-исторического исследования австронезийских языков, подчеркнул, что трудности, возникшие на данном этапе исследований, могут быть преодолены путем переноса центра внимания с семьи как целого на отдельные группы языков.

Возможность применения принципов системной лингвистики, в частности представления о языке как об адаптивной эволюционирующей системе с заданной детерминантой (условиями функционирования), в целях реконструкции праязыкового состояния бесписьменных языков обсуждалась в докладе Г. П. Мельникова (Москва). Квазитативные методы определения генетической принадлежности дешифруемого языка, а также опыт применения этих методов к морфологии атрусского языка были охарактеризованы А. М. Коидратовым (Ленинград) и Е. Д. Савенковой (Ленинград).

Результаты использования различных методик выявления и классификации родственных связей между языками обсуждались в докладах М. А. Членова (Москва) (лексико-статистическая методика в применении к языкам Юго-Восточной Индонезии), Е. А. Хелимского (Москва) (лексико-статистические

данные и их глоттохронологическая интерпретация при группировке самодийских языков), Ю. Х. Сярка (опыт выделения группы родственных языков — южносулавесийской — как единицы генетической классификации), Н. В. Гурова (Ленинград) (опыт классификации дравидийских языков).

Темой ряда докладов были конкретные вопросы фонологической реконструкции, исторической грамматики и лексикологии. С. А. Старостин (Москва) представил результаты реконструкции губных финалей в древнекитайском языке, А. Н. Годоватики (Москва) — пратибхо-бирманских аффрикат и одной из финалей, И. А. Муравьева (Москва) — некоторых аспектов чукотско-корякской системы гласных (в связи с историей гармонии гласных в чукотско-камчатских языках). Р. Р. Юсипова (Москва) рассмотрела вопрос о происхождении аффикса каузативности *-t* в тюркских языках. В докладе Л. Онг Сеама (Москва) был дан анализ антропонимов в надписях Камбоджи VI—XIII вв.

Доклады значительного числа участников были посвящены характеристике ареальных связей между конкретными языками и языковыми группами. Д. И. Эдельман (Москва) проанализировала те типологические черты языков восточноиракского ареала, которые позволяют предположить, что субстратом этого ареала были языки активной типологии. На папто-дардских контактах в Кунаре (Афганистан) останавливался Н. А. Дворянков (Москва). Н. А. Сыромятников (Москва) рассматривал общие явления в лексике, фонологии и грамматике японского, алтайских и индонезийских языков, возводя эти явления к различным эпохам языкового контактирования на Японских островах и за их пределами. Г. Ф. Благовой (Москва) сложные соотношения разных типов падежных парадигм в среднеазиатско-тюркских языках интерпретировались в свете разнонаправленных ареальных взаимодействий соседящих языков и диалектов. И. Ш. Козинским (Москва) было высказано предположение о возможном русско-тюркском или русско-монгольском происхождении кяхтинского (русско-китайского) пиджинизированного языка. Анализируя контактные явления в яванском ареале, А. К. Оглобин (Ленинград) подчеркнул различие между «литературным» и «бытовым» контактом, которым могут соответствовать разные виды языковых изменений. В. Б. Касевич (Ленинград) и Д. И. Еловков (Ленинград) обнаружили в строении кхмерского слога и в его соотношении с морфемой явления, указывающие на движение кхмерского языка от неслогового к слоговому типу, что объясняется

как результат ареальных влияний. Л. А. Гиндин (Москва), выявив среди фрако-хетто-лувийских лексико-омомастических изоглосс пласт индоевропейских корней, высказал предположение о возможных контактах фракийского с хетто-лувийскими языками в Центральной Европе в преанатолийский период.

Наконец, объектом внимания ряда докладчиков были структурно-типологические характеристики языков, объединяемых по генетическому, ареальному или географическому принципу. Темой доклада Н. Ф. Алиевой (Москва) были повторы в языковых семьях Юго-Восточной Азии, сравнение последних с точки зрения преобладающих в них моделей удвоения, а также по степени целостности корневой морфемы при удвоении. В. Д. Аракин (Москва) охарактеризовал модели атрибутивных словосочетаний в группах родственных австронезийских языков. На принципиальной важности изучения структуры сложных слов при сравнительном исследовании языков Китая и Юго-Восточной Азии остановилась Н. В. Омельянович (Москва). В. И. Печуров (Москва) рассмотрел принцип аддитивности, характерный для индонезийского типа агглютинации. Ю. К. Лекомцевым (Москва) был предложен список синтаксических различительных признаков для оценки расстояния между структурами предложений языков различных типов. В докладе Л. И. Шкаרבана (Москва) было высказано предположение, что особенности функционирования корневых слов в глагольных системах индонезийских языков могут отражать черты исторического процесса развития категорий глагола и имени в этих языках. О структурных сходствах хеттского и абхазо-адыгских языков как возможных свидетельствах их родства говорил в своем докладе В. Г. Ардзинба (Москва). К структурным и статистическим параметрам морфологического и фонемного уровней при сравнительном изучении языков и языковых групп обратились в своих докладах Л. Г. Зубкова (Москва) и И. Г. Меликишвили (Тбилиси).

На дискуссии были прослушаны доклады Г. П. Щедровицкого (Москва) (один — в соавторстве с Н. И. Кузнецовой, Москва) о методологических аспектах сравнительно-исторического языкознания и ареальной лингвистики.

На заключительном пленарном заседании А. Б. Долгопольский (Москва) остановился на общих вопросах применимости к языкам различных типов и ареалов методов сравнительно-исторического языкознания, которое он предложил называть более точно историко-реконструктивным или генетическим.

Было указано, что отсутствие длительной письменной традиции, отличие строя изучаемых языков от строя индоевропейских языков и состояние далекого родства между ними — не препятствие для осуществления задач историко-реконструктивного языкознания. Докладчик отметил, что доказательство родства между языками должно базироваться на выявлении генетически общих элементов материального характера.

Оценивая результаты дискуссии в целом, В. М. Солдатов справедливо отметил, что широкий круг ее участников и обилие выступлений на ней свидетельствует о том, что дискуссия была своевременной и актуальной. Она показала, что в востоковедной лингвистике в целом усилилось внимание как к общим, так и к частным проблемам генетических связей языков. В то же время в области изучения языков Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии обращение к этой проблематике равнозначно, по существу, возникновению нового направления лингвистических исследований. Нет сомнения, что дальнейшему развитию этих исследований будет способствовать состоявшийся на дискуссии обмен мнениями между учеными.

Л. И. Шкарган (Москва)

С 19 по 21 ноября 1973 г. в Институте языкознания АН СССР в Москве состоялся очередной организованный сектором тюркских языков симпозиум¹ по сравнительно-исторической фонетике тюркских языков. Симпозиум был проведен в честь 75-летия со дня рождения чл.-корр. АН СССР Н. К. Дмитриева, характеристике многогранного научного творчества и педагогической деятельности которого были отведены утреннее и вечернее заседания 19 ноября.

Во вступительном слове зав. сектором Э. Р. Тенишев отметил, что становление Н. К. Дмитриева как ученого совпало с началом той огромной работы по

¹ Симпозиумы проводятся с 1967 г., первый — июнь 1967 г. (см.: «Симпозиум по сравнительно-исторической грамматике тюркских языков. 13—15 июня 1967 г. Тезисы сообщений», М., 1967), второй — 11—13 декабря 1970 г. (см.: М. Ш. Рагимов, В. И. Аславов, Сравнительно-историческое изучение тюркских языков, «Советская тюркология», 1970, 5, а также: ВЯ, 1971, 2, стр. 155—158), третий — 19—21 октября 1971 г. (см.: «Советская тюркология», 1971, 5, стр. 133—138), четвертый — 15—17 октября 1972 г.

изучению языков народов СССР, которая развернулась с первых лет Советской власти. Н. К. Дмитриев явился основателем грамматической школы в советской тюркологии, синтезировавшей достижения дореволюционной отечественной тюркологии и лингвистической теории. С докладом «Н. К. Дмитриев и историческая тюркология» выступил Э. В. Севортян (Москва).²

Э. Р. Тенишев в докладе «Н. К. Дмитриев и сравнительно-историческая грамматика тюркских языков» отметил, что обобщающие труды, созданные под руководством и при участии Н. К. Дмитриева — «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков» в четырех томах и «Историческое развитие лексики тюркских языков» — мыслились в качестве первого этапа в создании этой грамматики. На переход к следующему этапу в настоящее время надеется работа сектора тюркских языков ИЯ АН СССР. В докладе кратко охарактеризованы основные методические принципы и предполагаемая структура «Сравнительно-исторической фонетики» (I том коллективного исследования, 1972—1975 гг.). Основная задача исследования — разработка строго аргументированной праязыковой схемы, которая явится точкой отсчета для интерпретации накопленного материала. В комплекс методических приемов входит внешняя и внутренняя реконструкция, приемы ареальной лингвистики, учет относительной хронологии, стратификация праязыковых уровней. Особо отмечена необходимость локализации в этих построениях древних языков, что исключит их отождествление с праязыком.

В ряде докладов был охарактеризован вклад Н. К. Дмитриева в изучение отдельных тюркских языков и создание по ряду из них первых научных грамматик. Эти вопросы были рассмотрены в докладах Э. Б. Мухамедовой (Анхабад) «Н. К. Дмитриев — исследователь туркменского языка», Л. С. Левитской (Москва) «Н. К. Дмитриев и кумыкское языкознание», Т. М. Гарипова (Уфа) «Неопубликованные рукописи Н. К. Дмитриева по башкироведению», И. В. Боролипой (Москва) «Н. К. Дмитриев и тюркский фольклор».

В. Д. Аракил (Москва) в докладе «Н. К. Дмитриев и исследование тюрнизмов в славянских языках» остановился, в частности, на методе определения языка — источника тюркизма, строящейся на документированном изучении времени и места заимствования с учетом историко-культурного ландшафта. Ф. Д. Ашнин (Москва), подчеркивая интерес Н. К. Дмитриева к истории отечественной тюркологии, остановился в

связи с этим на проблеме авторства одного из первых ярких грамматических трудов — «Грамматики алтайского языка, составленной членами Алтайской миссии» (Казань, 1869). С воспоминаниями о Н. К. Дмитриеве выступил блиско знавший его на протяжении долгих лет С. Б. Бернштейн (Москва).

С заключительным словом в конце мемориального дня выступил А. Н. Кононов (Ленинград). Впервые свои взгляды на грамматический строй тюркских языков Н. К. Дмитриев изложил в примечаниях к учебному пособию С. К. Церуниана «Курс османских разговоров» (стеклография, М., 1924), большого знатока турецкого языка и его первого учителя в этой области. В качестве темы исследования А. Н. Кононов предложил проследить развитие взглядов ученого от этих примечаний к его грамматикам турецкого и кумыкского языков.

Симпозиум по сравнительно-исторической фонетике был посвящен проблеме анлаута. Наиболее дискуссионными в тюркологии являются по существу две стороны этой проблемы: 1) было ли в анлауте фонологическое противопоставление глухих и звонких (или сильных и слабых), и если да, то каково было начало слова в пратюркском — глухое или звонкое (resp. сильное или слабое); 2) какой архетип необходимо реконструировать для группы среднеязычных, известных чередованием $j \sim \zeta \sim l' \sim d' \sim s \sim \varepsilon$.

Первой теме были посвящены доклады Н. З. Гаджиевой (Москва) «Три этапа в развитии анлаутных согласных в истории тюркских языков» и Г. П. Мельникова (Москва) «Связь эволюции авлаутных тюркских согласных с изменением на других ярусах языкового строя». По мнению Н. З. Гаджиевой, в пратюркском не было различия глухих и звонких в анлауте — в этой позиции были только глухие³. В дальнейшем происходило озвончение глухих авлаутных, а позднее — вторичное оглушение звонких, как в чувашском и в сибирских тюркских. Исконность иррелевантности глухих — звонких в анлауте и глухость начальных согласных автор связывает с экспираторным ударением на первом слоге, сдвиг ударения приводил к озвончению, а вторичное оглушение происходило под влиянием иноязычных субстратов. Исходя из этих общих соображений, докладчик склоняется к исконности авлаутного j , так как ζ отражает общую тенденцию второго этапа — озвончение авлаута.

Г. П. Мельников считает необходимым увязывать вопросы реконструкции анлаута с общими представлениями о соответственности всех ярусов языковой струк-

³ См.: Н. З. Гаджиева, Глухое начало слова в тюркском праязыке, «Советская тюркология», 1973, 4.

² См. ВЯ, 1974, 6, стр. 129—136.

туры по степени настроенности языка на определенный способ функционирования. Особенности синтаксиса и морфологии налагают определенные ограничения и придают своеобразие организации фонетического яруса. Эти взаимообусловленные черты языкового механизма по-разному проявляются в тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языках, что (если принимать гипотезу об их генетической общности), возможно, свидетельствует о «продвинутости» тюркских языков в направлении эволюции от общеалтайского состояния. С учетом этого некоторые характерные для современных и древних тюркских языков черты (например, глухость анлаутного консонантизма), возможно, не следует приписывать пратюркскому.

Проблеме реконструкции архетипа для среднеязычных было посвящено несколько докладов, и довольно часто этот вопрос поднимался в выступлениях по докладам А. М. Щербак (Ленинград) в докладе «Еще раз к вопросу о реконструкции общетюркского архетипа $j - j - \check{z} - \check{c} - s...$ » отметил, что известно по крайней мере пять вариантов восстановления архетипа указанной группы согласных (* \check{z} , * \check{j} , * d' , * d , * θ), которые, по мнению докладчика, «равновероятны» и каждый из которых имеет свои обоснования. А. М. Щербак настаивал на предпочтительности предлагаемой им реконструкции в виде глухого интердентального * θ , исходя из концепции глухого анлаута вообще в пратюркском и его последующего ослабления, а также из соображений фонетического характера. Согласно этому исторически, j не может быть архетипом, но представляет собой «дальний рефлекс * θ ».

В других докладах рассматривались вопросы реализации и конкретной истории среднеязычных в отдельных тюркских языках. В докладе Н. Н. Широбоквой (Новосибирск) «Об отражении в якутском языке древнетюркского $j \rightarrow$ » была изложена опирающаяся на концепцию В. М. Наделяева гипотеза о периодизации якутских переходов среднеязычных. Согласно этим представлениям, сначала общетюрк. $s > \emptyset$ (до X в.) и только затем анлаутный j , бывший, по мнению В. М. Наделяева, глухим (j или ϵ — типа нем. *ich-Laut'a*), мог перейти в s (X—XI вв.), который в якутском представляет еще и рефлекс общетюрк. \check{c} . Такой переход среднеязычного в переднеязычный определялся, вероятно, субстратом. Поскольку подавляющее большинство монгольских заимствований сохраняют \check{c} - и \check{z} -, то период монголо-якутских контактов (начиная с XII в.) служит хронологической границей окончания якутских переходов общетюркских $j \rightarrow s$ и $\check{c} \rightarrow s$.

А. Т. Кайдаров (Алма-Ата) в док-

ладе «О тенденциях развития начального согласного j - в уйгурском языке и его диалектах» указал на хронологическое и междиалектное соотношение слов с начальным j -, \check{j} - и \check{z} -. Преобладающие для современного языка анлаутных \check{z} и j он связывает с переориентацией литературной нормы в середине XVIII в. на илийскую группу говоров⁴.

И. Г. Дობромов (Москва) в докладе «Отражении тюркского начального j - в булгаризмах славянских языков», исходя из тюркских заимствований в древнерусском, попытался выдвинуть по крайней мере две разновидности отражения общетюркского анлаутного j либо как $j \sim \check{j} \sim d'$, либо как $s < \check{c}$.

Помимо проблемы анлаутного среднеязычного, на симпозиуме были затронуты вопросы, касающиеся некоторых других звуков начала слова.

Б. А. Серебренников (Москва) в своем докладе высказал предположение, что m - в пратюркском не было, он мог развиваться только из b -, но этот переход был далеко не регулярным и непоследовательным в разных языках, поэтому не может иметь объяснения как фонетический закон. В таком случае чередование b/m - автор предлагает объяснять изоляцией сандхьяльных форм. Наличие m - в хакасском, шорском и чувашском, по мнению Б. А. Серебренникова, свидетельствует о том, что некогда эти языки имели звонкий анлаут, поэтому нынешнее глухое начало является не сохранением пратюркского состояния, а вторичным оглушением.

Т. М. Гарипов в докладе «К судьбе инициальных лабиодентальных в кыпчакских языках Урало-Поволжья» остановился на возможном фонологическом механизме утверждения в башкирском языке f как самостоятельной фонемы, реализующейся в двух аллофонах — губно-зубном и губно-губном. Последний способен возникать аналогично «исконному» w как его глухой коррелят.

Н. А. Баскаков (Москва), исходя из концепции структуры пратюркского корня, которая, по его мнению, обязательно должна была быть типа СГС, развивал идею, что тюркские анлаутные протезы могут рассматриваться либо как рефлексы исконных согласных, либо как действительно вторичное образование, возникшее, однако, в соответствии с прежней слоговой структурой.

В сообщении З. Б. Мухамедовой «Туркменские слова с анлаутным h » на многочисленных диалектных примерах был показан неустойчивый характер этого звука.

⁴ Подробнее см.: А. Т. Кайдаров, Развитие современного уйгурского литературного языка. 1, Алма-Ата, 1969, стр. 178—181.

В выступлениях ленинградских алтаистов тюркские реконструкции рассматривались на фоне внешнего сравнения с данными тунгусо-маньчжурских и монгольских языков как членов алтайской семьи. В. И. Ципиус с принимает алтайский анлаутный консонантизм состоящим из четырех рядов (губные, переднеязычные, среднеязычные, заднеязычные) с тройчным противопоставлением: сильный глухой придыхательный — сильный глухой непродыхательный — слабый звонкий (вместо более традиционного двойного: глухой — звонкий) плюс звонкий носовой внутри каждого ряда: $p' - p - b - m$, $t' - t - d - n$, $\xi' - \xi - \zeta - n'$, $k' - k - g - \gamma$. Реконструкция тройчного противопоставления идет еще от З. Гомбоца и получила дальнейшее развитие в трудах В. М. Иллита-Святыха; материал тунгусо-маньчжурских языков позволил В. И. Ципиусу расширить праалтайский анлаут четвертым членом — носовым.

Алтайские корреспонденции в ряду переднеязычных были проиллюстрированы в докладе В. Д. Колесникова «Тунгусо-маньчжурские и монгольские соответствия тюркскому анлаутному t/d ». Согласно концепции многопланового противопоставления в праалтайском анлауте, в пратюркском анлауте вряд ли могло отсутствовать какое бы то ни было противопоставление, как к этому склоняются тюркологи (Шербак, Гаджиева и др.) на основе внутренней реконструкции. По поводу более частной проблемы j -с точки зрения алтаистов указывалось на необходимость учитывать гетерогенность пратюркского анлаутного j : часть его восходит к алтайским среднеязычным, а часть — к переднеязычному $*d$.

В докладе Л. В. Дмитриевой «Анлаутные $*s$ и $*t$ в алтайских языках» указывалось на одинаковость рефлексации этих звуков в каждой из трех групп алтайской семьи (например, $*s > h$ в башкирском, бурятском и эвенском при сохранении исконого s в остальных языках).

В докладе Л. С. Левитской «К генезису соответствия чувашского \bar{i} общетюркскому a » были привлечены данные якутского, тофаларского, тувинского и некоторых других языков с аналогичным перебоем $\bar{i} \sim a$. На основе анализа фонетических условий, при которых в одвосложных и неодносложных основах происходит переход $a > a > \bar{i}$, сделан вывод о генетической и хронологической неоднородности примеров $a \sim \bar{i}$ и о невозможности реконструкции на их основе особой пратюркской фонемы.

Л. А. Покровская (Москва) в своем докладе высказала мысль о том, что в ряде общетюркских корней e (отличный от \bar{e}) является, возможно наследием более древней системы вокализма, пре-

образовавшейся затем в систему, подчиняющуюся небному сингармонизму, в которой для e не нашлось своего коррелята среди гласных заднего ряда. В ряде других слов e , по мнению докладчика, вторичного происхождения (из \bar{e} и i).

В докладе Р. Х. Халиковой и Ф. Г. Хисамитдиновой (Уфа) приводились примеры из среднего диалекта башкирского языка, в которых отмечаются реликтовые сочетания сонанта с глухим смычным $-lt-$, $-nt-$, $-\eta k-$, $-mk-$ вместо авонкого смычного в литературном.

Ф. А. Ганиев (Казань) в своем сообщении остановился на явлении просодического различия омонимичных основ, принадлежащих разным частям речи, увязав это с гипотезой о первичности ударения на первом слоге⁵.

Более общей проблеме компаративистики — соотношению фонетической и морфологической реконструкции — был посвящен доклад Э. В. Севортяна «Всегда ли при реконструкциях требуется фонетический архетип всего слова». Докладчик убедительно показал необходимость фономорфологического анализа восстанавливаемых основ, поскольку одна лишь фонетическая реконструкция оказывается часто недостаточной.

М. Ш. Рагимов (Баку) остановился на методике извлечения фонетических данных из арабоязычных тюркских памятников.

Е. И. Убрятова (Новосибирск), указав в своем выступлении, что часто языковые данные являются решающими для выяснения истории того или иного народа, остановилась в частности, на проблеме соотношения киргизского и некоторых сибирских тюркских языков с языком енисейских надписей.

И. В. Кормушин, Д. М. Насилов
(Ленинград)

18—21 сентября 1973 г. по инициативе Института этнографии АН СССР им. Н. Н. Миклухо-Маклая в Мордовском гос. университете им. Н. П. Огарева (Саранск) состоялась IV конференция по ономастике Поволжья.

Открывая пленарное заседание, ректор Мордовского университета А. И. Сухарев подчеркнул общетеоретическую и практическую важность разработки ономастического материала.

Как и на трех предыдущих Поволжских конференциях, на IV конференции были представлены, хотя и неравномерно, все основные направления современной

⁵ См.: Ф. А. Ганиев, Фонетическое словообразование в татарском языке, Казань, 1973, стр. 29—38.

ономастики — теоретическая ономастика, антропонимика, топонимика, этнонимика, космонимика, зоонимика, ктематонимика (названия учреждений, пароходов, поездов и т. п.).

Р. Ш. Джарылгасинова (Москва) в докладе «Основная проблематика исследований группы ономастики Института этнографии АН СССР», прочитанном на пленарном заседании, показала широкую тематику ономастических исследований, проводимых как сотрудниками группы, так и внештатными ономастологами, работающими в различных республиках Советского Союза. Много внимания уделяется этнонимии, в частности названиям народов нашей страны и народов мира. Результатом этой работы явился сборник «Этнонимы» (М., 1970) — первый значительный труд по этнонимии мира. Вопросы этнонимии получили отражение в сборнике «Этнография имен» (М., 1971).

Результаты исследований по антропонимике нашли отражение в книгах «Личное имя в прошлом, настоящем, будущем» (М., 1970) и «Антропонимика» (М., 1970). В настоящее время готовится к печати справочник «Система личных имен у народов мира», где описаны имена 100 различных народов, в том числе татар, алтайцев, ханты, манси, удэгейцев и др.

Топонимическая тематика группы и руководимых ею авторов нашла отражение в топонимическом разделе книги «Этнография имен» и в подготовленном к печати сб. «Ономастика Востока». Члены ономастической группы Института этнографии принимали участие в XI Международном конгрессе по ономастике (София, 1972). Руководитель группы В. А. Никонов, являющийся членом Международного Комитета ономастических наук при ЮНЕСКО, ориентирует исследователя на разработку не только традиционных разделов ономастики, но и новых, пока слабо изученных — космонимики, зоонимики.

Перечисленные направления работы группы этнографии получают развитие и конкретную реализацию на богатом русском, финно-угорском и тюркском материалах на Поволжских конференциях, также в исследованиях ономастологов Средней Азии, Кавказа и других регионов страны.

На топонимических заседаниях конференции обсуждались проблемы: топонимия и история, региональные и глобальные исследования топонимии, отражение местных географических терминов в топонимии, топонимические пласты на территориях с нерусским населением (Мордовская АССР, Марийская АССР, Коми АССР, Башкирская АССР и др.), а также топонимическая стратификация территорий, занятых русским населением; словообразование топонимов, их этимология; связь топонимии с этнонимией,

антропонимией и другими ономастическими рядами, отражение в топонимах и микротопонимах названий птиц, животных и другой апеллятивной лексики; вопросы топонимической лексикографии; топонимия в художественной литературе, публицистике и фольклоре.

Гидронимии тюркского, финно-угорского, русского (славянского), монгольского происхождения были посвящены доклады И. К. Инжеватова (Саранск), П. В. Зимиана (Пенза), М. В. Лабзиной (Магнитогорск), В. Э. Очир-Гариева (Москва) и др.

И. К. Инжеватов в докладе о гидронимах с компонентом *сар* высказал предположение, что название рек в Присурье *Сара, Сарлей, Инсар, Инва, Сарма* восходят к общефинноугорскому *сара* «большие болота» и что гидронимы с этим корнем дали начало ойконимам *Саранск, Инсар, Засарье* и др.

В. Э. Очир-Гариев, анализируя калмыцкую гидронимию, пришел к выводу о том, что в названиях колодезь отражается природа края (почва, растительный покров) и специфика хозяйственной деятельности калмыков. Чаще всего такие слова выступают в качестве оофорных компонентов (номенклатурных терминов) составных топонимов.

М. В. Лабзина, проанализировав бытовую семантику названий озер на территории Южного Урала, замечает, что основным принципом номинации озер региона является закрепление в названии их свойств (цвет и вкус воды, размер, очертания берегов, своеобразие растительного и животного мира). Аналогичные наблюдения сделаны А. С. Крюковой (Уральск) по отражению в топонимии Приуралья диалектных названий воды (*Зарастённый Ильмень, Зарослая Старица* и др.).

Ряд докладов был посвящен названиям населенных пунктов Поволжья, их структуре, языковой принадлежности, их связи с историей заселения Поволжья. Н. Д. Русинов (Горький) в докладе «О роли русских топонимов в датировании этногенеза и в изучении исчезнувших языков Восточной Европы», рассмотрев факты необычного фонетического варьирования названий населенных мест типа *Аргуново — Варгуново, Патонино — Вагоново, Ланкино — Ванкино* и др., высказал гипотезу о том, что в них отражается язык мерян — предшественников славян в Угличском Верхневолжье.

Е. В. Ухмылина (Горький) в докладе о повторяющихся (омонимичных?) названиях населенных мест Горьковской области обратила внимание на частотность таких названий, как *Александровка* (23 села), *Малиновка* (29), *Сосновка* (18), *Высокое* (15). Подобные наименования обычно концентрируются в местах наи-

более раннего славянского заселения края; важную роль они играют в создании сложных ойконимов (*Новая Александровка, Гремячая Поляна*).

И. Г. Долгачев и Г. Н. Несина (Волгоград) в докладе о словообразовательной структуре составных топонимов анализировали типы отношений между компонентами составных топонимов типа *Крайняя Балта, Путь Ильича, Новый Путь Труда*.

Сравнительной характеристике словообразовательных типов топонимов различных территорий Поволжья посвятила выступление Н. А. Кузнецова (Пенза).

Г. В. Еремин (Пенза), изучив историю наименований населенных пунктов Пензенской области, полагает, что переименования должны производиться компетентными комиссиями лишь при наличии серьезных оснований.

В докладе С. Я. Макаровой (Пенза) поставлен вопрос о наличии синонимов для обозначения топонимических объектов. Так, в публицистике вместо официальных названий городов, рек и т. п. используются их заменители — перифразы: *Волга — мать русских рек, Волгоград — город-герой на Волге*. Перифразы классифицируются с учетом признаков, положенных в основу перифразирования (географическое положение, историческая роль топонимической реалии и др.).

О происхождении топонимов на территории Башкирии доложили Ф. Х. Хисаметдинова (Уфа), на территории Удмуртии — Н. С. Качалина и М. В. Вахрушева (Ижевск), о гидронимах финно-угорского происхождения на территории Пензенской области — П. В. Зимин. Почти не затронутыми на конференции оказались такие аспекты топонимии, как названия форм рельефа, названия дорог, мелких земельных угодий, урочищ и т. п.

Большая группа докладов была посвящена вопросам антропонимии. Рассматривались антропонимические категории (псевдонимы, типы неофициальных имен), методика историко-сопоставительного и синхронно-типологического изучения антропонимов и антропонимических формантов, состав имен в дохристианский и домусульманский периоды, процессы заимствования и адаптации иноязычных имен, этимология антропонимов, вопросы качественной и количественной характеристики современных имен у русских, татар, башкир, мордвы, а также именников в национально смешанных семьях.

С докладом «География фамилий Поволжья» выступил В. А. Никонов (Москва), наметивший программу лингвогеографического изучения антропонимов и их формантов. В качестве предварительной группировки предложено деление фамилий на повсеместные, зональ-

ные и региональные. Исследования такого рода откроют новые факты, интересные историкам, социологам, этнографам.

В докладе Т. И. Сурковой (Пенза) «Псевдонимы как особый тип антропонимов» было проведено сопоставление псевдонимов с другими псевдоименованиями: псевдотопонимами, псевдозоонимами, а также с разрядами реальной антропонимии фамилиями, именами, отчествами. Выяснялись функциональный статус псевдонимов, их языковые признаки и место в ономастической системе.

О. И. Александрова (Куйбышев) предложила выделять в особую группу «контактоустанавливающие» (фатические) неофициальные личные имена типа Алпатыч от фамилии Алпатов, Никонич от Никонов и не смешивать их с прозвищами и др. видами личных имен.

Методу сравнения именников разных хронологических срезов был посвящен доклад В. Д. Бондалетова (Пенза) «Личные имена в городе Пензе 100 лет назад и теперь». Предложенный им количественно-качественный метод (нахождения удельного веса частых имен и установление их конкретного состава в том или ином регионе) позволяет анализировать антропонимию не только в диахроническом, но и в синхронном планах и, следовательно, дает возможность начать сравнительно-типологическое изучение функционирования имен разных народов.

Ряд докладов был посвящен истории различных типов антропонимов и их функционированию в наше время, а также выбору имен в национально смешанных семьях.

Одно из заседаний было посвящено обсуждению принципов построения и содержания «Вопросника для собирания космоимов». Изучение народных названий Млечного пути (*Батмьева дорога, Птичий путь*), Большой Медведицы (*Лось, Кош, Воз*), Ориона (*Жичига, Перевясло*), Плеяд (*Вабы, Кучки, Птичье гнездо*), Полярной звезды (*Прикол, Стожар*), Венеры, Луны и других космических объектов в разных языках мира, помимо лингвистической ценности, может представлять интерес для выявления былых контактов разноразличных народов.

Подводя итоги конференции, В. А. Никонов призвал смелее приступать к решению практических задач ономастики (составлению ономастических справочников и словарей, участию в работе комиссий по наименованиям и переименованиям населенных мест), обращать внимание на разработку новых отраслей науки, начать работу по историографии ономастики, подвергнуть серьезному анализу ономастическую продукцию в нашей стране и за рубежом.

В. Д. Бондалетов, Е. К. Данилина
(Пенза)

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
«ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 1974 г. (№№ 1—6)

СТАТЬИ

Бондарко А. В.— Формообразование, словоизменение и классификация морфологических категорий	2
Будагов Р. А.— Категория значения в разных направлениях современного языкознания	4
Климов Г. А.— К происхождению эргативной конструкции предложения	1
Климов Г. А.— Фридрих Энгельс о критериях языковой идентификации диалекта	4
Панфилов В. З.— Языковые универсалии и типология предложения . . .	5
Филин Ф. П.— О словаре языка В. И. Ленина	6

К 250-ЛЕТИЮ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Березин Ф. М.— Русское теоретическое языкознание в Академии наук	3
Макаев Э. А., Гаджиева Н. З.— Сравнительное языкознание в истории Академии наук	5
Мордовина С. П., Романова Г. Я.— Об источниках словаря русского языка XI—XVII вв.	3
Кодухов В. И.— Развитие лингвистической теории в Академии наук СССР	3
Коновалов А. Н.— Тюркское языкознание в Академии наук	3
Севертян Э. В.— Послеоктябрьская тюркология в Академии наук СССР	5
Сороколетов Ф. П.— Русская лексикография в Академии наук	6
Успенский Б. А.— Доломоновский период отечественной русистики: Адодуров и Третьяковский	2
Филин Ф. П.— Об истоках русского литературного языка	3
Шведова Н. Ю.— Русская научная описательная грамматика в русской Академии наук	6

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Арбатский Д. И.— О сущности тавтологии в семантических определениях	2
Ахманова О. С., Краснова И. Е.— О методологии языкознания	6
Бондарко Л. В., Вербицкая Л. А., Гордина М. В., Зицдер Л. Р., Касевич В. Б.— Стили произношения и типы произнесения	2
Верпер Г. К.— Реликтовые признаки активного строя в кетском языке . .	1
Володин А. П.— К вопросу об эргативной конструкции предложения . .	1
Гальперин И. Р.— О понятии «текст»	6
Герценберг Л. Г.— Об исследовании родства алтайских языков	2
Живов В. М.— Проблемы синтагматической фонологии в свете фонетической типологии языков	4
Журавлев В. К.— Генезис аканья с точки зрения теории нейтрализации	4

Львов А. С.— Варьирование средств выражения в памятниках старославянской письменности	6
Караулов Ю. Н.— О некоторых лексикографических закономерностях	4
Касевич В. Б.— О восприятии речи	4
Котелова Н. З.— Искусственный семантический язык (теоретические предпосылки)	5
Краус И.— К общим проблемам социолингвистики	4
Кубрякова Е. С.— Деривация, транспозиция, конверсия	5
Лопатин В. В.— Несколько спорных вопросов русской словообразовательной морфологии	3
Меновщиков Г. А.— Эскимосско-алеутские языки и их отношение к другим языковым семьям	1
Никольский Л. Б.— О предмете социолингвистики	1
Перельмутер И. А.— Об оппозиции «переходность — непереходность» в системе индоевропейского глагола	3
Почхуа В. А.— Грузинская лексика в «Ностратическом словаре»	6
Рона-Таш А.— Общее наследие или заимствования?	2
Сильман Т. И. — Лирический текст и вопросы актуального членения	6
Трубачев О. Н.— Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян	6
Улуханов И. С.— Компоненты значения членимых слов	2
Эдельман Д. И.— О конструкциях предложения в иранских языках	1

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Андрианова И. В.— Взаимоотношение имен действия на -ние (-тие) с однокоренными именами других суффиксальных типов в древнерусском языке	2
Базелл С. Э.— Маргинальные звуковые законы	4
Благова Г. Ф.— Из истории развития тюркских этнонимов в русском языке	1
Боголюбов М. Н.— Арамейская версия лидийско-арамейской билингвы	6
Гард П.— К истории восточнославянских гласных среднего подъема	3
Горбачевич К. С.— Зоны вариантности слов и нормы русского литературного языка	5
Дементьев А. А.— О так называемых «интерфиксах» в русском языке	4
Добродомов И. Г.— Отражение двух разновидностей ротацизма в болгарских заимствованиях славянских языков	4
Жосан В. Н.— О возможности систематизации фонемного инвентаря корякских согласных методом дистрибутивного анализа	6
Ибрагимов Г. X.— О многоформатности множественного числа имен существительных в восточнокавказских языках	3
Колесов В. В.— Просодические диалектные признаки в истории русского языка	1
Коростовцев М. А.— Основные элементы новоегипетского синтаксиса	2
Лебедева Е. П.— Редуцированные и парные слова в маньчжурском языке	2
Максимов В. И.— О методе словообразовательного анализа	1
Мамсурова Е. Н.— Некоторые особенности каталанского языка во Франции в свете лингвогеографии и статистики	5
Меликишвили И. Г.— К изучению иерархических отношений единиц фонологического уровня	3
Михайловская Н. Г.— О реализации значения слова в древнерусском тексте	5
Мурясов Р. З.— Некоторые вопросы словообразовательной структуры	4
Петрова З. М.— Страдательно-возвратные причастные формы в русском языке XVIII века	2
Степанов Ю. С.— О зависимости понятия фонемы от понятия слога при синхронном описании и исторической реконструкции	5
Тенишев Э. Р.— Принципы выделения диалектов уйгурского языка	5
Ушакова Е. М.— Синтаксические функции несклоняемых прилагательных в древнерусском языке	6
Федосов И. А.— Вариативность и функционально-стилистическая синонимия фразеологических единиц	6
Фенрих X.— К иберийско-кавказской гипотезе	2

Царенко Е. И.— К вопросу о фонологической системе протоичуа	4
Шевякова В. Е.— Актуальное членение вопросительного предложения	5
Широкое О. С.— Фонематическая система чукотского вокализма	1

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Севертрян Э. В.— Н. К. Дмитриев и историческая тюркология	6
---	---

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Гринбаум Н. С.— Древнегреческая диалектология и проблема «микенского»	3
Иванов В. С.— О некоторых направлениях в развитии количественных методов в венгерском языкознании	2
Нгуен Ким Тхан — Языковая ситуация во Вьетнаме и языковедческая работа в ДРВ	2
Софронюв М. В.— Дешифровка и исследование тангутского языка	1
Фурашов В. И.— Проблема второстепенных членов предложения и синтаксическая парадигматика	3

РЕЦЕНЗИИ

Абаев В. И., Додыхудоев Р. Х.— Л. Г. Герценберг. Морфологическая структура слова в древних индоиранских языках	5
Акуленко В. В.— «Проблемы двуязычия и многоязычия»	3
Бейлина Д. А.— Новые издания	5
Благова Г. Ф.— «О. Н. Бетлингк и его труд „О языке якутов“»	5
Брагина А. А.— Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. Язык и культура	6
Будагов Р. А.— В. А. Звегинцев. Язык и лингвистическая теория	1
Гак В. Г.— <i>Gabor O. Nagy. Abriss einer funktionellen Semantik</i>	6
Гарипов Т. М.— «Тюркологический сборник. 1972»	5
Дерягин В. Я.— «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка. Словарь-справочник»	2
Карпенко Ю. А.— «Сучасна українська літературна мова»	6
Карпович А. Е.— А. Mielczarek. Z zagadnień leksykografii encyklopedycznej	4
Коновалов А. Н.— G. Hazai. Das Osmanisch-Türkische im XVII. Jahrhundert	2
Копыленко М. М.— Новые труды о переводах Кирилла и Мефодия	2
Медникова Э. М.— М. М. Маковский. Теория лексической аттракции	3
Монсеев А. И.— A. Bartoszewicz. История суффиксальной отсубстантивной деривации существительных в русском языке	4
Мокленко В. М.— Л. Г. Скрипник. Фразеология украинської мови	4
Моллова М.— «Тюркологический сборник. 1971»	2
Николаева Т. М.— G. Neweklowsky. Slowenische Akzentstudien; T. Magner, Z. Matejka. Word accent in modern Serbo-Croatian	5
Панфилов В. З.— А. И. Жукова. Грамматика корякского языка. Фонетика и морфология	4
Петрова З. М., Попов И. А.— «Вести-курунты 1600—1639 гг.»	1
Рогава Г. В.— М. А. Кужалов. Словоизменение адыгских языков	1
Сабалюскас Ю. А.— Chr. S. Stang. Lexikalische Sonderübereinstimmungen zwischen dem Slawischen, Baltischen und Germanischen	3
Скрелина Л. М.— Е. А. Реферовская. Французский язык в Канаде	1
Слюсарова Н. А.— Е. F. Koerner. Bibliographia Saussureana 1870—1970; ego же, Contribution au débat post saussurien sur le signe linguistique	3
Слюсарова Н. А., Марчук Ю. Н.— «Общее и прикладное языкознание. Указатель литературы, изданной в СССР с 1963 по 1967 г.»	5
Стеблин-Каменский И. М.— А. Л. Грюнберг. Языки Восточного Гиндукуша. Мунджанский язык	3
Степанов Г. В.— Revista española de lingüística	4

1. Рукотисом докожне предостављатељство в двух экземплярах, одного одобренного редакцией и одного одобренного автором. И текст и подписание должны быть написаны на машинке. После подписания рукописи автор должен представить в редакцию два экземпляра. После подписания рукописи автор должен представить в редакцию два экземпляра. После подписания рукописи автор должен представить в редакцию два экземпляра.

CONTENTS

Articles: F. P. Filin (Moscow). On the vocabulary of V. I. Lenin's language; Towards the 250-th anniversary of the Academy of Sciences of the USSR: N. Yu. Svedova (Moscow). Scientific descriptive grammar of the Russian language in the Russian Academy of Sciences; F. P. Sorokoletov (Leningrad). Russian lexicography in the Academy of Sciences; Discussions: O. S. Akhmanova, I. E. Krasnova (Moscow). On the methodology of linguistics; O. N. Trubačev (Moscow). Early Slavonic ethnonyms—witnesses of migration of the Slavs; I. R. Galperin (Moscow). On the notion of the «text»; A. S. Lvov (Moscow). Variation of expressive means in the written monuments of Old Slavonic; T. I. Silman. The lyric text and problems of functional perspective B. A. Počkhua (Tbilisi). Georgian words in the «Nostratic dictionary»; Materials and notes: M. N. Bogoliubov (Leningrad). The Aramaic version of the Lydian-Aramaic bilingual text; V. N. Žossan (Leningrad). Systematisation of Koryak consonantal phonemes by means of distributive analysis; I. A. Fedosov (Rostov-on-the-Don). Variability and functional-stylistic synonymy of phraseological units; E. M. Ušakova (Stavropol). Syntactic functions of indeclinable adjectives in Old Russian; From the history of science: E. V. Sevortian (Moscow). N. K. Dmitriev and historical turcology; Reviews; Scientific life.

SOMMAIRE

Articles: F. P. Filin (Moscou). Sur le vocabulaire de la langue de V. I. Lénine; A l'occasion de 250-me anniversaire de l'Académie des Sciences de l'URSS; N. Yu. Svedova (Moscou). La grammaire descriptive du russe dans l'Académie des Sciences russe; F. P. Sorokoletov (Léningrad). La lexicographie russe dans l'Académie des Sciences; Discussions: O. S. Akhmanova, I. E. Krasnova (Moscou). Sur la méthodologie de la linguistique; O. N. Trubačev (Moscow). D'anciens ethnonymes slaves, témoins de la migration des Slaves; I. R. Galperine (Moscou). Sur la notion du «texte»; A. S. Lvov (Moscou). Variation des moyens d'expression dans les monuments écrits du vieux-slave; T. I. Silman. Texte lyrique et problèmes de la division actuelle; B. A. Počkhua (Tbilisi). Mots géorgiens dans le «Dictionnaire nostratique»; M. N. Bogoliubov (Léningrad). Version araméenne du texte bilingue lydian-araméen; V. N. Žossane (Léningrad). Systématisation de l'inventaire phonémique des consonnes koriaques au moyen de l'analyse distributive; I. A. Fedosov (Rostov-sur-le Don). Variabilité et synonymie fonctionnelle et stylistique des unités phraséologiques; E. M. Ušakova (Stavropol). Fonctions syntaxiques des adjectifs indeclinables en vieux-russe; De l'histoire de la science: E. V. Sévortiane (Moscou). N. K. Dmitriev et turcologie historique; Comptes-rendus; Vie scientifique.

Технический редактор Т. Н. Шелехова

Сдано в набор 20/VIII-1974 г. Г-10786 Подписано к печати 28/XIII г. Тираж 200 экз.
 Формат бумаги 10х16 см. Усл. печ. л. 147. Бум. л. 24. Уд.-вкл. л. 102.

2-я типография издательства «Наука», Москва, Шибинский пер. 10

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах, хорошо обработанные литературно и подписанные автором. И текст, и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе, фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 24 стр., объем рецензии — 10 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

6. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

7. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два—три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

8. Непринятые рукописи не возвращаются.

9. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

10. Хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни. Объем хроникальной заметки — 3—5 стр.

Технический редактор *Т. И. Шеленкова*

Сдано в набор 29/VIII-1974 г. Т-16766 Подписано к печати 28/X 1974 г. Тираж 7200 экз.
Зак. 1045 Формат бумаги 70×108^{1/16} Усл. печ. л. 14,7 Бум. л. 5^{1/2} Уч.-изд. л. 16,2

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10